

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

№ 356 / 4 4·2014

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение

Общероссийской общественной организации

«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи

Министерства культуры и архивов Иркутской области

и Администрации города Иркутска

Основан в 1930 году.

Выходит 6 раз в год

Содержание

Проза

Валерий Дмитриевский. Санрейс. Повесть	3
Николай Зарубин. Несмыслёныши. Рассказы	59
Анатолий Лисица. Блокадник. Рассказы	86
Александр Лаптев. Если завтра война... Фантастический рассказ	111
Валерий Хайрюзов. Яблочный Спас. Рассказ	133
Виктор Калинин. Буран и Вовка. Рассказы	141
Василий Забелло. Белолапый. Рассказы	159
Лидия Сычёва. Из жизни Любарева. Рассказ	186
Игорь Михайлов. Прилезь! Рассказ	204

Поэзия

Михаил Лермонтов. К 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Сквозь туман кремнистый путь блестит	44
Светлана Кузнецова. К 80-летию со дня рождения выдающейся русской поэтессы. На окраине русской надежды	77
Светлана Сырнева. Таинственным гулом весь мир населён	103
Владимир Губин. Отражённый свет луны	126
Анатолий Горбунов. Сладкий рай лесного края	137
Михаил Шепель. Темны листы, но светел Горний Дождь	152

Под культурой. Литературные свидания

Светлана Шегебаева. «В них слёзы разлуки, в них трепет свиданья...»	54
---	----

Литературоведческая летопись Сибири

Владимир Ходий. Их подхватил ветер шестидесятых... 168

Год Виктора Астафьева

Александр Щербаков. Сопричастный всему живому 195

Исторические чтения

Александр Дулов. Лютеранское кладбище XVIII века.

К 250-летию образования Иркутской губернии 208

Жизнь литературы и жизнь в литературе

Владимир Скиф. Байкальское Переделкино. Главы из книги 213

Год культуры. «Сияние России» - 2014

Валентина Семёнова. Жив дух, жива культура — выстоит держава 231

Поздравления 240

Главный редактор **АЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ**

Заведующий отделом поэзии **ВЛАДИМИР СКИФ**

Заведующий отделом прозы **АЛЬБЕРТ ГУРУЛЁВ**

Заведующий отделом критики и публицистики **АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ**

Ответственный секретарь редакции **СВЕТЛАНА ЗУБАКОВА**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

А.Г. Байбородин, Ю.И. Баранов, В.В. Барышников, В.К. Забелло, В.П. Комлев, И.И. Козлов,
Р.Г. Михеева, Н.А. Озерникова, В.Г. Распутин, Т.Н. Суровцева, В.Н. Хайрюзов, М.И. Яковенко

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки С. Бурчевская. Комп. верстка А. Гордиевских. Корректор Л. Заступова

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.**

Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600.

Адрес редакции: 664025. г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Тел.: 20-37-86. Рукописи принимаются в распечатанном виде.

E-mail: sve-t-lana@mail.ru. Справки по тел.: 34-20-77 (ответств. секретарь).

(Рукописи по e-mail не принимаются, за исключением особо оговоренных случаев).

Подписано в печать 21.01.2015.

Формат 70х108/16. Усл.-печ. л. 22. Тираж 1500. Цена свободная.



ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВСКИЙ



Санрейс

ПОВЕСТЬ

1

Сколько уж раз я выходил из самолёта на таких вот самодельных аэродромчиках, где привольно пасутся козы да коровы, бегают по своим делам собаки и лысеют под вьюгой от винтов седые одуванчики, и всегда всё было нормально. Едва сойдя на землю, все мужчины (и я в том числе, конечно) доставали свой табачок — кто папироску, кто сигаретку, а кто и заранее набитую трубочку — и закуривали, соскучившись без дымка за час-полтора полёта. А уж если лёту было около двух часов, как сегодня, то и сам бог велел, как говорится, и не только велел, но и не отказался бы вместе с нами затануться разок-другой. Многие несправедливо называют это вредной привычкой, однако таким способом снимается накопившийся за время полёта стресс, потому что не каждый признается даже сам себе, что летать боится. И на таких лётных полях (вот уж название прямо в точку!) мы никогда не обращали внимания на грозные плакаты, сулившие за курение немислимые штрафы. Да и на нас, впрочем, тоже никто внимания не обращал. А то, что написано, — ну не всем же надписям нужно верить. Я вон тоже могу понаписать везде всякого.

ДМИТРИЕВСКИЙ Валерий Викторович, прозаик, поэт. Родился в 1952 г. в Нижнем Новгороде. Окончил Иркутский политехнический институт. Служил в пограничных войсках командиром взвода. Работает начальником геологического отряда в ОАО «Сосновгео». Автор книг стихотворений *«Вечерний этюд»*, *«Воспоминание о настоящем»*, *«Слепой дождь»*. Член Союза писателей России. Живёт в Ангарске.

Вот и сейчас, впервые прилетев в этот посёлок, я по привычке закурил на ходу, направляясь к небольшому бревенчатому сооружению, которое, судя по редкой паутине антенн и еле трепыхавшейся на слабом ветерке полосатой чёрно-белой «колбасе», было местным аэровокзалом. Недалеко от него прогуливался милицкий сержант, на вид мой ровесник или даже чуть моложе, лет двадцати двух. Занятый своими заботами — встретит ли меня кто-нибудь, а если нет, то как найти в незнакомом посёлке нужный мне адрес, — я и внимания на него не обратил, просто отметил для себя: посёлок-то с претензией, раз уж милиция на прилёте дежурит. И тут этот сержантик направляется ко мне, козыряет и говорит:

— Так-с, гражданин, не успели прилететь, сразу нарушаете. Платите штраф.

— И что же это я успел нарушить? — интересуюсь. Действительно, что? Минуту назад ещё был на борту.

— А курите на аэродроме, — объясняет сержант и показывает на соответствующий текст на заборе.

— Так все же курят, — отбиваюсь я.

— Кроме вас, никто, — и он делает широкий взмах рукой, обводя окрестности. Как Ленин на постаменте.

Я оглядываюсь — народ разбрёлся от самолёта в разные стороны. Все почти местные, к антеннам я да ещё одна дамочка следуем. Каждый знает свою дырку в заборе — там, где этот забор есть. А по большей части граница между посёлком и полем (лётным, разумеется!) довольно условная. Но никто и правда не курит — знают здешние порядки, и ни один гад не предупредил, когда я папироску вытаскивал.

— Я больше не буду, — неуклюже оправдываюсь я, гася папироску об каблук. — Первый раз тут у вас. Теперь буду знать.

Но зря, что ли, сержантик это место себе прикормил. Нет бы преступников ловить, а он, шустряк, пристроился тут стричь купоны.

— Все так говорят, — возражает он, — а потом снова нарушают. Платите пять рублей.

Ничего себе у него такса! Да я долетел сюда за семнадцать. Выходит, одна «беломорина» стоит как полчаса полёта. Но не станешь ведь прейскурант просить. Жалко, но достаю пятёрку.

— Получите, — и он протягивает мне уже заполненную квитанцию. Заранее всё приготавил, шельмец. Впрочем, квитанция наверняка липовая. Иначе какой ему смысл здесь околачиваться — для статистики, что ли?

— У меня бухгалтерия её не примет, — отвечаю я, отчаливая от него, и бросаю квиток на землю.

— Вот и опять нарушаете, — довольным голосом говорит он мне вслед. — Поднимите и бросьте в урну.

— И за это тоже пять рублей? — осведомляюсь я и решаю, что буду требовать: пусть всё-таки покажет, откуда он эти расценки берёт.

— Нет, это нарушение несерьёзное. Достаточно моего замечания, — сержант так и светится, впечатлившись собственным снисхождением к злостному несоблюдателю правил общественного порядка.

Ну и чёрт с ним! У каждого свои загогулины, к тому же у нас разные весовые категории: он при исполнении, а я кто такой? Было у отца три сына: два умных, а третий — геолог. Я как раз из третьих...

Вслед за мной сержант выходит через калитку на поселковую улицу. За пределами подотчётной территории он становится совершенно другим, просто душа-человек! И первый спрашивает меня, легко перейдя на «ты»:

— Так ты в первый раз здесь? А к кому прилетел?

Я лишь секунду раздумываю, как ответить. У калитки пусто, никто меня не встречает. Глупо продолжать конфронтацию, ведь адрес всё равно спросить больше не у кого.

— Мне нужна Гоуджекитская партия, — отвечаю.

— Геолог, да? — спрашивает сержант и тут же представляется, протягивая руку: — Олег. Пойдём, покажу. Сейчас у меня обед, я там рядом живу.

— Федя, — называюсь я.

— Зря ты обиделся, — он мотнул головой. — В прошлом году один сопляк так же вот закурил и сразу выбросил, затошнило его. Загорелась трава сухая, прямо под самолётом. А к нему уже заправщик подъехал. Каплю керосина пролил бы — и всё.

— Да меня и в самом деле Фёдором зовут! А траву косить надо вовремя.

— Надо, — соглашается он. — Теперь вот косят. Но всего не предусмотритишь. Так что лучше возле самолёта не курить.

Город уже давно завоевала весна, а тут, в посёлке, снег растаял только на открытых пригорках. Было довольно прохладно, на небе косматились мрачные тучи. Север, однако. База партии располагалась через две улицы от аэродрома. Собственно, это была наша будущая база, которую ещё надо обустроить. А сейчас здесь на пустыре, огороженном забором, стоял лишь один домишко. Из трубы курился дымок. Над крышей висела антенна, только поскромнее, чем на аэродроме. Я потянул скрипучую дверь и вошёл.

— А-а, появился... — из-за стола поднялся Стас, наш радист, парень с причёской под битлов и редкой бородкой, шагнул навстречу, протягивая руку: — Ну, привет! Как долетел?

— Нормально, — отвечаю. Необязательно ему знать, что у меня возникли проблемы с правопорядком.

— Когда будешь залетать — завтра? А то я утром связывался с участком — Андрей сказал, что продуктов надо привезти. Тушёнка кончается, ещё там что-то. Я записал.

— Ну, конечно, завтра, если погода будет. Сколько тут бортов?

— «Восьмёрка» и «двойка». Но оба с утра улетают и мотаются туда-сюда без передыху, видно, заказчики в очередь стоят. Ты сходи сегодня в аэропорт, узнай. Хотя Ми-8 тебе не подойдёт, ты же один. Вадим Семёныч скажет — слишком дорого.

— Да уж ясное дело. А где Матвеич? Я думал, он меня встретит.

— Поехал с плотниками на «трумэне» в Новый Уоян. Двое плотников устроились, местные. Есть возможность купить у бамовцев старые щитовые домики. Пока в них перекантуемся, а за лето что-нибудь посерьёзнее построим... Ну что, отметим прилёт на новое место?

— Давай-ка, Стас, без этого. Просто поесть у тебя имеется?

— Да вон каша с утра осталась. Чай горячий на плите. А к вечеру супчик какой-нибудь сварим.

Было видно, что он немного разочарован. Ничего, переживёт. Да и другие тоже. Иван Матвеевич — прораб-строитель, неделю всего у нас работает, ну и робеет, наверное, в незнакомой обстановке. И, видимо, позволяет им тут... Нет, пусть сразу почувствуют, что прибыл геолог. Инженер-геолог, если точнее. Уже третий год. Какое-ни-какое, а начальство. По крайней мере, для Стаса, потому что водителем и плотниками руководит Матвеич. Конечно, недолго я тут пробуду. Если повезёт, завтра уже улечу на участок. Но всё равно я должен сразу поставить себя, как надо. Никакого панибратства!

Отобедав, я плюхнулся на спальные, расстеленные прямо на полу, и стал обдумывать свои дальнейшие действия. Стас прав: надо бы уже сегодня сходить в... аэропорт, узнать обстановку. Не хотелось называть это поле и убогое сооружение рядом с ним громким словом «аэропорт». Скорее, это аэропирс какой-нибудь или аэропристань. Но нет таких слов, к сожалению, поэтому, ладно, пусть будет аэропорт. Схожу, отдам заявку на полёт, должны же меня на очередь поставить, если, как Стас говорит, там полно заказчиков. Пусть даже не завтра, но через день-другой улечу, наверное. Андрей там уже второй месяц дежурит, пора его сменить.

Андрей — старый мой друг и однокашник, он и позвал меня сюда работать. Нужны, мол, такие молодые и энергичные, как ты да я, будем изучать новый перспективный район. А я только из армии вернулся — рекрутировали на два года после военной кафедры, лейтенантом. Одному из группы мне так повезло, остальные разъехались по местам распределения. И писали потом сочувствующие письма, и желали, стервецы, успехов в боевой и политической подготовке... Но дембель неизбежен, как крах капитализма, гласит армейская мудрость. И вот теперь я должен буду вспоминать всё, чему меня учили пять лет в институте и что основательно улетучилось из головы в сур-ровых условиях пограничной службы. Посидел месяца три в городской конторе, почитал материалы по району, начал кое-что к проекту работ писать. Но сейчас предстоит простое дежурство на поисковом участке в горах. Там в прошлом году построили пару домиков и вертолётную площадку. В домиках разное полевое имущество и снаряжение: палатки, печки железные, запчасти к вездеходу, спецодежда, посуда, молотки, топоры и прочее, без чего невозможны нормальные геологические поиски. И чтобы всё осталось в целости, решили это зимой охранять по очереди. Дабы не сдуреть от одиночества да исключить всякие неприятные ситуации, дежурили вдвоём: кто-то из геологов и радист. Геологи раз в месяц менялись. Правда, те, кто уже отдежурил, говорили, что никто из чужих не приходил, да и откуда им взяться: туда ходу от ближайшего посёлка несколько часов — высоко в горы да по глубокому снегу. И если кто и позарится на наше имущество, просто не сможет его далеко утащить. Даже охотники там вряд ли появятся. Леса на такой высоте почти уже нет, соболей не добудешь, а изюбрь и сохатый в двухметровый снег не сунутся. А делать на участке целыми днями нечего. Лежи, читай, слушай радио, печку топи да поешь чего-нибудь готовь. Тоска... Может, и руководство наше уже сообразило, что никто там ничего без нас не тронет за зиму, но ведь почти все начальники исповедуют принцип: не отменяй принятых решений. С целью не уронить своего авторитета в глазах подчинённых. И вот теперь настала моя очередь нести вахту вместе с Альбертом, молодым радистом, которого забросили туда на всю зиму. Парень холостой, в городе ему делать особенно нечего. А так хоть денег заработает, на полевых работах зарплата ощутимо выше.

Немного переварив обед, я вытащил из пистона свой спальник и расстелил его на свободном месте на полу. Потом развязал рюкзак и достал полевую сумку, где лежали бланки заявок на полёт. Одевшись, я сообщил Стасу, с грустным видом наблюдавшему за мной:

— Ну, пошёл на разведку.

— Давай, — сказал он без энтузиазма и удалился в свою каморку, где на самодельном столике стояла рация.

2

По дороге в аэропорт я приглядывался к посёлку, который занимал узкую полосу земли между берегом Байкала и невысоким горным хребтом, и он меня сразу очаровал. Была в нём какая-то суровая, сдержанная северная красота. На кривоватых улочках старые аккуратные кондовые избы, рубленные, наверное, лет сто назад, перемежались с длинными двух- и трёхквартирными сооружениями, очевидно, советской постройки, а в конце посёлка сменялись ещё более длинными сборно-щитовыми домами — там жили бамовцы, как я потом узнал. Вдали виднелись два портовых крана на капитальном бетонном пирсе, возле него стояли вмёрзшие в лёд катера. Чуть дальше у пирса поменьше застыли сейнеры рыбозавода. На льду озера видны были скопления небольших будочек — Стас успел рассказать, что местные рыбаки выта-

скивают эти будки на всю зиму на лёд, ставят там железные печки и вот так, в тепле и уюте, сверлят лунки во льду и ловят омуля. Будку можно легко перетащить на другое место в поисках хорошего клёва. По гравийной трассе вдоль берега то и дело проносились большие оранжевые немецкие самосвалы — «Магирусы». Стройка века приближалась к посёлку, и через год ожидалось прибытие первого поезда.

Да, здесь жить можно. Вот выстроим свою базу и начнём осваивать эти края... Байкал, горы, БАМ, вертолёт. А то на практике в Читинском управлении пришлось работать совсем в другой обстановке. Идёшь по сопке, а внизу трактора землю пахут, мимо разведочных канав коровы бродят, а по осени в лес за ягодой толпы горожан наезжают. Это сильно гасило во мне всякий энтузиазм. А тут совсем другое дело.

Поднявшись на крылечко и войдя в хибару «аэропорта», я отыскал справа по коридору дверь с табличкой «Диспетчерская». За ней в тесной комнатке стояли два стола буквой «Т», вокруг — несколько стульев. На длинном столе лежала большая карта, а за коротким сидел крупный усатый мужчина лет тридцати в синей аэрофлотовской форме и держал возле уха телефонную трубку. Сбоку от него на ещё одном столе стояла большая, не чета нашей, радиостанция, которая помаргивала зелёным глазом и стрекотала разными атмосферными помехами. Выслушав то, что говорилось, и сказав пару слов в ответ, диспетчер положил трубку и повернулся к рации.

— Здравствуйте, — как можно твёрже сказал я.

Усатый развернулся обратно и посмотрел на меня так, будто только что заметил.

— Здравствуйте, — сухо ответил он.

— Мне лететь надо. На вертолёте... — я немного оробел от его неприветливости. А ещё от того, что не знал, как делается заказ вертолёта. Что сначала: вынуть заявку и положить её на стол, или рассказать на словах, куда мне надо лететь и зачем, а потом уже доставать бумаги? Чёрт его знает, какие тут порядки.

— Вы откуда? — спросил усатый.

— Я из города, сегодня прилетел.

— Да нет, организация какая? — немного досадуя, переспросил диспетчер.

— Гоуджекитская партия, — отвечаю. А какая ему разница вообще-то?

— Гоуджекитская... В прошлом году работали?

— Летом работали. Начальник Вадим Семёнович. Но он сейчас в городе. А мне надо на участок, геолога сменить. Да груз небольшой забросить. Продукты там и прочее...

— Понятно, — промычал диспетчер. — Только сейчас бортов свободных нет.

— Да мне всего час полёта нужен. Туда и обратно. На Ми-2... — я чувствовал, что мой голос становится просительным, нет в нём твёрдости, но другой интонации не получалось.

— Ми-2 надолго занят. ПОХ летает.

— Это что?

— Промыслово-охотничье хозяйство. Сейчас старший охотовед должен подойти. С ним договаривайтесь...

Я сел на один из стульев. Минут через пять дверь открылась, и в диспетчерскую вошёл невысокий мужчина в дублённом полушубке.

— Ну что, Петя, — спросил он, — когда мои прилетают?

— Хитренко полчаса назад передал — расчётное прибытие в девять ноль пять, Павел Сергееч.

Павел Сергеевич взглянул на часы.

— Минут через двадцать. Хорошо. Ну что, ещё раз на Чаю, а завтра начнём возить с Томпы.

— Сколько рейсов туда планируешь? — спросил Петя.

— Там у меня двое в разных точках. А потом останутся самые дальние — Абчада, Котера, Левая Мама.

— Погода портится, — изрёк Петя. — По прогнозу с запада фронт идёт.
— Плохо. Надолго это?
— Дня на два, а то и на три.
— Может, по фактической получится?
— Если будут просветы, то возможно, — диспетчер повернулся к рации, потому что оттуда прозвучал искажённый аппаратурой и помехами голос:
— «Ланита», я двадцать три триста сорок.
Петя ответил, потом, как я понял, пилот вертолётá запросил погоду в аэропорту. Петя стал передавать погоду, а я подошёл к Павлу Сергеевичу.
— Это вы сейчас летаете?
Он посмотрел на меня, прищурившись.
— Да. Охотников вывозим.
— А может, по пути меня забросите? Мне надо на участок продукты доставить.
— А ты откуда?
— Да геологи мы. В прошлом году работать здесь начали. Вот базу строим на Рабочей.
— И куда тебе надо?
— В район Гоуджекита.
— Покажи на карте.
Я показал. Он посоображал немного, потом ответил:
— Нет, по пути не получается. Крюк надо делать. А у меня люди уже почти пять месяцев в тайге сидят. Сезон закончен, мясо, шкурки вывозить надо. А тут погода меняется, сам же слышал. Не могу.
Тогда я сказал, как на всякий случай научил в городе Вадим Семёнович:
— Ну тогда рейс за наш счёт. Вам же выгодно будет...
Но Павел Сергеевич даже не дослушал.
— Не могу. У меня каждый час на счету. А тебя завозить — на час крюк и получится.
Я посмотрел на диспетчера: может, замолвит словечко? Но Петя выпятил губу и развёл ладони в стороны.
— И когда же вы закончите? — спросил я.
— Ну, дня четыре ещё, может, пять, — отвечал Павел Сергеевич. — И то если погода будет.
— Ничего себе, — пробормотал я. — А там продукты на исходе. Голод скоро начнётся.
— Так уж и голод, — засомневался Павел Сергеевич. — В тайге всегда можно мясо добыть.
— Это в тайге. А они в горах сидят. Там мясо не ходит.
В диспетчерской повисло молчание.
— Ты вот что, — помягчил Павел Сергеевич. — Приходи завтра с утра. Может, в нашу сторону не будет погоды, а к тебе, наоборот, прояснение. Лови момент, короче. А так никак не могу. У меня тоже люди там, домой хотят.
Я направился к двери. Петя-диспетчер крикнул вслед:
— Телефон запиши! Чтобы пешком сюда не мотаться.
— Да нет у нас ещё телефона. Сам приду, — пообещал я и вышел.

3

На пустыре возле нашего домика стоял древний, как мамонт, ЗИЛ-157 неопределённого цвета — что-то серое с бурым и зеленоватым. Матвеич и плотники, молодые

парни моих лет, разгружали большие деревянные щиты. Водитель сидел в кабине с открытой дверцей и курил. Махнув прорабу рукой, я поднялся на крыльцо и вошёл в избушку.

Стас в своей каморке монотонно бубнил в гарнитуру: «Ень-сорок восемь, я Ень-полста пять, как слышишь, приём». Потом покрутил что-то в аппаратуре, пощёлкал тумблерами и снова начал: «Ень-сорок восемь, а сейчас слышишь?» Из наушников доносилось: «Полста пятый, ответь, я тебя не слышу». Минут через десять Стас обернулся ко мне и сказал:

— Вот сволочь, приём есть, а передача пропала!

— Ты же говорил, что утром с участком связывался.

— Утром Альберт прекрасно меня слышал. А сейчас нет.

— А что могло случиться?

— Да чёрт его знает! — Стас озабоченно глядел на рацию. — Может, чего перегорело.

— Ну ты разбирайся быстрее. Без связи — труба.

— Да сам знаю, — он выключил рацию, потом достал отвёртку. — У тебя-то как дела?

— Да никаких дел. Охотники вылетают, ещё несколько дней будут летать. И по-года скоро закроется. Всё глухо.

— Ну надо же, кругом непруха, — посочувствовал Стас, откручивая винты, и засмеялся: — Смотри-ка, в рифму получилось.

В дверь ввалились Матвеич и остальные, отряхивая снег с валенок.

— Ну как там в городе? — спросил Матвеич, протирая очки.

— Да так, всё нормально. Дела идут. Проект пишется...

— А мы сегодня, видал, домики привезли, пару штук. Четыре на четыре метра. На днях ещё рейс сгоняем. А потом начнём ставить. Вот только на рыбалку сбегает. Ребята говорят, омуль подошёл, большой косяк. Сейчас вот сяду, настрой приготовлю.

— Ладно, — говорю, — только сперва давайте продукты на участок отложим. Вдруг завтра полечу. Вон у Стаса список, Альберт передал.

Матвеич нацелил очки в бумажку, потом сказал:

— За ними ехать надо, покупать. А магазин до шести.

— Так время ещё есть.

— Может, завтра? С утра... — Матвеичу не терпелось взяться за подготовку к рыбалке. Эти рыбаки — больные люди, не раз замечал. Маньяки какие-то.

— Нет уж, давайте, Иван Матвеич, сегодня.

Матвеич ещё поворчал, но надел шапку и сказал водителю:

— Ладно, Николай, поехали. Ну а вы, — обернулся он к плотникам, — завтра приходите. Ледобур-то есть у кого?

— Я возьму, — отозвался один из парней. — Только бормаш ещё нужен. Не подкормишь — не поймаете ничего.

— А это что такое?

— Бормаш-то? Креветки такие маленькие. Без него за омулем не ходят.

— Где ж его брать?

— Люди ловят. Я знаю, у кого можно купить.

— Тогда со мной поехали. Эх, ещё бы будочку сколотить... Ладно, потом сколотим.

Не понравились что-то мне эти рыбацкие разговоры. Нет, я тоже люблю рыбу ловить, но без фанатизма, и мне даже везёт иногда. Вот в прошлом году строил я со своим взводом дорогу к заставе на берегу Амура. Шёл как-то утром к недостроенному мостику через ручей и услышал: среди обрезков досок кто-то плещется. Пошарил рукой — вроде рыба какая-то. Я перегородил ручей досками и вверх и вниз по течению, чтобы она не смогла никуда уйти, потом долго ловил её руками и наконец изловчился выкинуть на берег. Это оказался здоровенный язь, килограмма на два. Рыбина долго

лежала на берегу, пока мы мостик достраивали, и даже через несколько часов всё ещё иногда разевала рот. А в обед мы на заставе всем офицерским корпусом её с большим удовольствием слопали, зажаренную. Да к тому же она икрёной оказалась, мы из неё полный стакан икры выдавили. Начальник заставы капитан Гнедой всё не верил, что я её руками поймал. А замполит Лёня Таран сказал, что язь (или уж сазан это был, не помню) как раз в тёплое время года нерестится и любит заходить в такие вот маленькие притоки... Но у меня и мыслей не было, чтобы бросить всё и начать обшаривать ближние ручьи в надежде поймать ещё что-нибудь подобное. А что, свободно. Офицеры с заставы мне не указ, а командир моей инженерно-дорожной роты — на соседней заставе, километров за пятьдесят вверх по течению. Сюда он не ездил, я держал перед ним отчёт по телефону вечером. И дня на два можно было взвод оставить на сержанта Пономарёва, а самому заняться чем-то для души — вот рыбалкой той же.

Но что делать — я Матвеичу не начальник. У меня задача — залететь на участок с продуктами. А за строительство базы он сам отвечает. Вот пусть и строит.

Стас сидел в своей каморке и ковырялся во внутренностях рации.

— Схема-то есть? — спросил я у него.

— Да ну, какая схема... — фыркнул он. — Данному телефонкёну триста лет в обед. Музейный раритет... Ого, снова в рифму! Сейчас уже везде аппаратура на транзисторах, а эта ещё ламповая. Видал, какая громоздкая. Отдельно передатчик, отдельно приёмник. А что я могу — только контакты проверить. Вроде всё цело...

Он включил рацию и подул в микрофон, потом проговорил:

— Раз, раз, раз... Ну нет индикации на выход, и всё.

— Ладно, сиди думай, — напутствовал его я, а сам вышел на крылечко покурить.

В открытые ворота въехал наш «трюмэн». Матвеич вылез из кабины и доложил:

— Вот, всё по списку купил, чего они заказывали.

— Хорошо, давайте в дом перетащим.

— Главное, бормаша я достал! — похвалился Матвеич. — Эх, завтра как начнём таскать!..

— Не говорите «гоп»... — остановил я его. — И вообще вы сюда не рыбачить приехали.

— Ну, Фёдор, не понимаешь ты... Когда ещё будет возможность со льда омуля половить? А домики никуда не денутся, через пару дней начнём.

Нет, с рыбаками говорить хуже, чем с инопланетянами.

4

Назавтра я не улетел. И ещё через день аналогично. И на третий. Просвета в мою сторону не было, над посёлком висела низкая облачность. Охотники тоже не летали. И самолёты не садились, но Олега я встречал каждый день и соболезнавал, что некого ему штрафовать. Он только посмеивался. Диспетчеры менялись: после Пети появился Евгений Степанович, бывший лётчик, его сменила Людмила, женщина лет тридцати пяти. Узнав, что прогноза хорошего нет и вряд ли будет, я возвращался в наш домик и тосковал от безделья и от того, что время идёт, а я никак не могу сменить Андрея.

Стас так и не смог наладить передачу, к тому же у него ещё и аккумулятор сел, и теперь не было ни передачи, ни приёма. Матвеич с плотниками всё таскался на рыбалку. Тем более что связь не работала и ему не надо было отчитываться перед руководством, как идут дела. Но у него ловилось так себе, а плотники улов уносили

домой. Стас, убедившись, что рацию отремонтировать не сможет, влился в рыбацкую компанию. Водитель Гуреев с утра стал куда-то уезжать на весь день.

От нечего делать я обошёл весь посёлок, разузнал, где почта, где магазины и прочие нужные учреждения. Между прочим, выяснил, что здесь и геологи, кроме нас, есть: разведочная экспедиция и наука из Академгородка. Но просто гулять по улицам скоро наскучило, это ведь не в городе. Посмотреть абсолютно не на что. А валяться на спальнике и читать журнальчики я уже не мог. Всё думал, какой же ещё ход предпринять, чтобы хоть на час завладеть вертолётom. И не находящая реализации кипучая мозговая деятельность стала трансформироваться в нарастающую неприязнь к Матвеичу. Щиты уже который день лежали на снегу, их понемногу заметало, а он, как пацан радуясь, приносил к вечеру пару хвостов и долго рассказывал, как и в каком месте он дырявил лёд, как сидел и мёрз на ветру, как вытаскивал каждую из рыбёшек, и обещал уж завтра-то обязательно поймать столько, что хватит нам и на жарёху, и на уху. Стас был ненамного успешнее его, но хоть ничего не обещал.

Поскольку связи по радио не было, я решил заказать телефонные переговоры с нашей конторой, чтобы как-то проявиться, а то из города улетел, а на участок не прибыл. Номер я взял у Матвеича, при этом будто бы случайно назвал его Ипполитом Матвеевичем, на что он, как мальчишка, обиделся. Сам он записал телефон на всякий случай, но ни разу ещё не звонил, видимо, держа в уме, что чем меньше о тебе начальство знает, тем крепче будешь спать.

В небольшом зальчике междугородней связи было всего две кабинки, а единственная телефонистка сидела тут же, за барьером, и даже стекла никакого не было. Перед ней стоял громоздкий пульт, куда она то и дело втыкала наконечники проводов. От пульта через барьер доносилось:

— Алё!.. Алё-о!.. Дежурненькая, дай мне Кумору... Ну, дежурненькая, он уже второй раз приходит, и никого...

— Да! Да, межгород. Обождите минутку... Тонкошкурова вызываю... Иркутск, говорите...

— Алё! Да, слышу... Ну так чё сделаешь, если у них тям нету. Ну ещё раз вызову, ждите...

Минут через сорок подошла моя очередь. Я объяснил Вадиму Семёновичу, что у нас сломалась рация, Стас починить не может, поэтому нужно прислать опытного радиста для ремонта. И ещё аккумулятор. Обрисовал ему ситуацию с вертолётami. Начальник партии сказал, чтобы я был понастойчивее в аэропорту, потому что Андрей очень нужен в городе. Конечно, я пообещал, хотя и не знал, как этого добиться. Голодовку им там объявить? Напоследок он спросил, как дела у Матвеича. Я начал отвечать что-то вроде «дела идут», и тут закончились мои три минуты. С облегчением я подумал, что соврал не сильно, потому что часть домиков он же всё-таки привёз, а всю правду я просто сказать не успел. Хотя, честно говоря, и не собирался. Пусть Матвеич сам про свои дела говорит. А ябедничать на него я не буду.

Но в тот же вечер, движимый жаждой хоть какой-нибудь полезной деятельности, я решил организовать производственное совещание. Матвеич, неискушённый в геологической субординации, слава богу, не собирался выяснять, кто из нас тут главнее, и молча признал за мной право такое совещание проводить. Первым делом я спросил у него, сколько он ещё собирается рыбачить.

— Толку с вашей рыбалки, Иван Матвеич, всё равно мизер. Да мы и без рыбы проживём, на консервах. Или вон налимов можно в магазине купить. А жильё не строится. Через полтора месяца люди из города станут приезжать, к сезону готовиться. Где им жить?

— Да я уже все хитрости у местных разузнал, — обиделся Матвеич. — Просто не

везёт мне. Косяк, может, через день-два уйдёт. Надо ещё попробовать. А дома собрать из щитов за пару дней можно.

— Ну, за пару вряд ли, — отозвался один из плотников, Сергей. — Пара дней только на сборку одного домика нужна. А потом стыки утеплить ещё надо, окна вставить да печки сложить. А стекла-то пока нету. Да и кирпича тоже.

Матвеич, не ожидавший, что в бригаде созрела оппозиция, что-то невнятно буркнул и замолчал.

Ободрённый поддержкой, я повысил голос.

— А куда машина каждый день уезжает? Видите, тут и кирпич, и стекло надо привезти, да и ещё, наверное, много чего.

— Пакли тоже нет, — добавил Сергей.

Гуреев молчал, будто это его не касалось. Матвеич, помявшись, сказал:

— Тут такое дело... Мы позавчера с Николаем выпили немного и поехали в посёлок. За куревом. Нас гаишники засекли. Права отобрали. Теперь вот Николай к ним ездит, обрабатывает.

— Учти, Матвеич, я ехать не хотел, — подал звук Гуреев. — Пусть геолог знает. А то пойдут разговоры — Гуреев алкаш, то да сё...

— Ну, Матвеич, ты прямо как ребёнок, — я незаметно для себя назвал его на «ты». А как ещё, если он, действительно, хуже маленького. А ведь мужику уже за сорок. — За куревом мог бы и пешком сходить. Самому-то не смешно?

— Да ладно, Фёдор, завтра начнём, — сдался Матвеич. — Поедем за остальными домиками. Всё будет нормально.

— Куда я без прав поеду? — вскинулся Гуреев. — Не раньше чем через неделю. Тут или штраф мне платить, да ещё в контору сообщат. Или уж батрачить, пока всё не сделаю.

— А чего им надо-то? — спросил я.

— Да они же вечно побираются! То бензину им дай, то дров привези. А тут придумали брус да доски с пиломатериалами возить, собираются пристрой себе делать, расширяются. Как вывезу всё, так и отдадут права, обещали.

Тогда я переключился на Стаса.

— А ты, Стас, чем на рыбалку бегать, попробовал бы в посёлке радистов найти. В том же аэропорту. Или в ПОХе, у них же должна быть связь с охотниками. Может, там и аккумулятор можно зарядить.

— А где этот ПОХ?

Я начал закипать.

— Тебя за ручку отвести? Сам найдёшь, не маленький. Связи нет, а ты развлекаешься тут...

Когда всё обговорили и высыпали на двор покурить, ко мне подошёл Сергей.

— Фёдор...

— Можно без отчества, — разрешил я.

— Я давно вижу, что хреновиной он занимается, — начал он про Матвеича. — Но как я ему об этом скажу? У нас всё равно повременка, мы своё получим. А он с этой рыбалкой... А ловить не умеет, тут же крючки без засечек, самодельные. Из иголок швейных мы делаем, сами гнём над свечкой. Я ему показывал...

— Ладно, Серёга, давайте завтра домики начинайте строить.

— Да я думаю, что он и не знает, как их собирать. Вот и оттягивает. А я их уже ставил, где сейчас мехколонна сто тридцать седьмая. В конце посёлка.

— Ну вот пусть и поучится. Вдвоём-то справитесь?

— Ну конечно. Мы с Витюхой вместе у бамовцев и работали. Только иногда надо, чтобы третий помогал. Вы уж ему скажите.

До армии я думал, что два года из моей жизни будут бесполезно вычеркнуты. По складу характера человек я вовсе не военный, командовать не умел да и стеснялся, а огороженная со всех сторон уставами армейская жизнь, усугублённая самодурством некоторых тупых начальников, претила мне по самое горло. И во время службы, мотаясь по льду Аргуни между заставами с колоннами машин на зимнем завозе или строя мосты и дороги в тайге летом, я постоянно считал дни, оставшиеся до увольнения в запас, вычислял, сколько процентов срока прошло и сколько осталось. Но к концу службы мне удалось более-менее освоиться в этой специфической среде. Выработал у себя командирский голос, научился добиваться подчинения «дедов», даже водку привык пить часто и помногу — без этого, оказывается, невозможен быт офицера. По крайней мере, на уровне от прапорщика до капитана, на более высший уровень мне заглянуть не удалось. В общем, перед самым дембелем мне даже добавили на погоны по звёздочке, и я щеголял по части старлеем, с видом бывалого вояки просвещая молодых лейтенантов, только что прибывших из училищ. А начальник штаба майор Паламарчук предлагал мне остаться служить и дальше, обещая дать в подчинение роту.

Но всё, что ни делается, к лучшему, сказал кто-то, и это действительно так. По крайней мере, мне пригодился благоприобретённый командирский голос. Видимо, во время устроенного мной совещания он произвёл впечатление и на плотников, и на радиста, и даже на Матвеича. Во всяком случае, когда я установил распорядок дня и расписал очерёдность дежурств по приготовлению еды, никто не пикнул против. До этого, вернувшись из аэропорта где-то около десяти часов, я заставал Стаса и Матвеича ещё в спальниках. Продрав глаза, они начинали соображать что-нибудь насчёт покушать. Гуреев уезжал на барщину к гаишникам голодный, перекусив что-нибудь всухую. Плотники, видя такое дело, являлись из посёлка ближе к обеду.

Теперь же, с неожиданной лёгкостью наладив трудовую дисциплину, я понял, что сам на этом бурлящем деятельностью фоне выгляжу как-то нехорошо. Все с утра были при делах, даже Стас. В том же ПОХе, как я и говорил ему, он познакомился с радистом, за бутылку тот ему исправил рацию (там чепуха была — западала тангента), за вторую бутылку зарядил аккумулятор, и мы через оживший эфир отменили приезд радиста из города. А я так и не мог дожждаться своей очереди на вертолёт. Придя утром домой после визита в аэропорт, я не знал, чем заняться. Помогать плотникам? Они и сами справлялись, Матвеич только изредка выходил что-то поддержать или подпереть. А больше придумать было нечего. Хотя Стас бездельничал от сеанса до сеанса, а Матвеич большую часть дня тоже был не при делах, оба держали себя так, будто работали не покладая рук. И я начинал страдать от собственной бесполезности.

Надеясь на какое-нибудь чудо, я стал навещать аэропорт и днём. Попытался поговорить напрямую с пилотом «двойки» Хитренко, он посмотрел, где это на карте, но сказал, что пока не выполнит заявку ПОХа, к другим заказчикам не полетит. Я никогда бы не подумал, что в тайге всю зиму живёт столько охотников. И когда погода наконец наладилась, они всё летели и летели в посёлок, а Павел Сергеевич, встречая с машиной садившийся вертолёт, на меня уже и внимание обращать перестал. Иногда, правда, вертолёт мог неожиданно улететь в какую-нибудь дальнюю деревушку за больным. Рейсы по санзаданию выполняются без очереди. Конечно, какая там очередь, если человеку врач нужен. А летом, оказывается, так же без очереди летает авиалесоохрана. Чтобы патрулировать с воздуха тайгу, засекать, где горит, а потом забрасывать людей тушить пожары. Хорошо, что ещё не лето...

Как-то раз Евгений Степанович посоветовал мне поговорить с Мухиным, командиром Ми-8, большого вертолёта.

— Он на Даван за опорами ЛЭП летает, потом несёт их на подвесе в сторону Ки-

черы. Вот пока на Даван идёт, может к тебе завернуть. Сейчас взлетать будет, — добавил он.

И я подумал — почему бы и нет? Конечно, час его полёта по стоимости раза в три дороже, но главное для меня всё-таки добиться, наконец, результата, а там... Победителей, как говорится, не судят. А если по пути, то, может, и платить за рейс не придётся.

Но я сделал большую тактическую ошибку. Вместо того чтобы дожидаться, когда «восьмёрка» вернётся из очередного рейса, и не спеша поговорить с командиром, я тут же выскочил из диспетчерской и побежал к вертолёту, уже запустившему двигатель. Пилот отодвинул стекло кабины, и я совершил вторую ошибку, ляпнув:

— Вы на кого сейчас работаете?

— А вам-то какое дело? — сурово спросил Мухин.

Ну неправильно я задал вопрос! Конечно, чего это он будет передо мной отчитываться. Поняв, что дело моё пропавшее, я всё-таки прокричал:

— Мне продукты надо на участок завезти...

— Некогда, — ответил командир и задвинул стекло. Стрекозиные лопасти винта слились в один полупрозрачный круг, потом вообще исчезли, машина поднялась прямо надо мной и, накренившись прозрачным носом пилотской кабины вперёд, ушла в небо.

После такого фиаско обращаться к Мухину ещё раз не было смысла. Да и вряд ли бы он вообще согласился. Тут стройка века, ЛЭП надо тянуть, и чего ради он будет отклоняться от маршрута, чтобы садиться с подбором площадки где-то в снегах из-за одного паренька и полусотни килограммов груза.

Потом опять пришла непогода. Серые тучи залепили весь окоём, не оставив ни малейшего просвета, и то и дело сплёвывали на посёлок мокрый снег. Лёд на озере потемнел, от некогда обширной «камчатки» сохранилось всего с десяток фанерных сооружений, в которых ещё надеялись на фарт самые упёртые рыбаки. Прочие растащили свои будки по дворам до следующей зимы. Гуреев выручил наконец свои права, и Матвеич за три рейса привёз ещё несколько домиков. Два дома были полностью собраны, плотники расчищали снег под третий. Сделать остекление и сложить печки решили после, когда все домики будут поставлены.

Днём я ещё мог найти себе занятие. Колол дрова, топил печку и часто, нарушая собственноручно составленный график дежурств по кухне, варил обеды и ужины. А вечерами ничего общественно-полезного совершить было нельзя. И мы с Матвеичем и Стасом играли в карты. Сначала в «дурака», потом я обучил их игре в «храп», которую узнал на практике в Забайкалье. Играют в неё на деньги, причём первая ставка совсем безобидная: по копейке. Но банк растёт в геометрической, или какие ещё там бывают, прогрессии, да ещё случаются обязаловки без возможности паса, поэтому быстро можно проиграть десятки рублей. Или выиграть. Очень щекочет нервы. В армии я однажды за один вечер выиграл у своего ротного, капитана Киреева, сто двадцать рублей. А он сказал, что это солдатское довольствие, и я ему эти деньги вернул. Хотя капитан, конечно, меня обманул, просто ему жалко было столько проигрывать. Это раньше карточный долг был долгом чести, люди даже стрелялись из-за него...

Потом карты наскучили, и мы разобрали упавший с подоконника будильник, который всё равно уже не ходил, вытащили какую-то шестерёнку и крутили её на столе, как волчок, засекая время: у кого дольше? Сначала рекорд был пятьдесят семь секунд, потом дошли до восьмидесяти одной. Гуреев только головой качал.

В непогожие дни я в аэропорт не ходил, а придя в ясный день, узнавал, что охотники ещё не все вылетели. Павел Сергевич и сам начал нервничать, потому что ко всем прочим помехам — нелётной погоде и санзаданиям — добавилось известие, что кончается керосин для вертолётов. Наливники застряли в снегах где-то на Даванском перевале, и когда они доберутся до посёлка, было неизвестно.

Однажды я посчитал, сколько дней уже прошло с момента моей первой попытки улететь. Оказалось, кончается одиннадцатый. Вадим Семёнович сам на связь приходил редко, но я подозревал, что он очень недоволен. Составление проекта работ сильно застопорилось, ведь и я уехал, и Андрей не появился. И я уже начал подумывать о том, чтобы попробовать обойтись без вертолѐта. До бамовского посѐлка Гоуджекит можно доехать с Гуреевым, а оттуда, судя по карте в диспетчерской, до участка всего четыре километра. Правда, это по воздуху, а на местности надо было ещё и подняться метров на четыреста в горы, по глубоким снегам. Если бы с кем посоветоваться...

Но на следующее утро Андрей сообщил по рации, что он решил выйти завтра с участка в Гоуджекит на лыжах, если уж с вертолѐтом ничего не получается. А мы должны отправить туда машину и встретить его. И я подумал: ну он словно мысли мои прочитал.

— Сорок восьмой, я полста пятый! Андрей, а может, я тоже приеду? Лыжи у тебя возьму и по твоему следу поднимусь на участок. Продуктов, правда, много не смогу взять, но хоть что-то. А потом Матвейч остальное отправит.

— Ну, правильно решил. Только давай тогда встретимся пораньше, а то не успеешь засветло дойти. Приезжайте часам к десяти. А я выйду ещё до связи. Встретимся у почты, это прямо на трассе.

— Всё, договорились.

— Спальник можешь не брать, я тебе свой... — успел сказать Андрей, и эфир стал трещать и завывать от какой-то налетевшей помехи. Стас пытался подстроиться, но не мог.

— Да не надо, Стас, всё и так понятно, — я передал ему наушники и прямо-таки возликовал от того, что наконец намечился хоть какой-то сдвиг в моем беспросветном существовании. И тут же начал собираться — отложил из коробок, стоявших в углу, с десяток банок тушёнки, скумбрию в томате, чай, сахар, макароны, сигареты для Альберта и папиросы для себя, ещё что-то по мелочи, упаковал всё в рюкзак, взвесил на руке — килограммов десять-двенадцать. «Ладно, дотащу, — подумал я, — поменьше курить буду, почаще отдыхать».

— Дорогу-то знаете? Бывали там? — спросил я Гуреева, озвучив за ужином наше с Андреем решение.

Гуреев усмехнулся.

— В прошлом году. Так вдоль БАМа одна дорога. Не заблудились бы, поди, — он допил чай и сказал: — Поеду заправлюсь, а то Эльвира в восемь уже домой уходит. А утром у неё очереди большие — время потеряем.

6

Утром Гуреев задолго до рассвета разогрел машину, я тоже встал пораньше, мы с ним попили чайку с бутербродами и тронулись. За пределами посѐлка я ещё не был и теперь в бледном утреннем свете с любопытством поглядывал то вперѐд, то в боковое окошко. Сначала, виляя в обе стороны, долго тянулась поселковая улица, потом мы переехали по длинному деревянному мосту через какую-то речку и скоро спустились по пологому съезду на лёд Байкала. У берега лёд был очень неровный, бугристый, а кое-где и с торосами, машина тряслась, Гуреев только успевал руль крутить туда-сюда. Но на гладкий лёд, простиравшийся мористее, дорожная колея не выходила. Я спросил Гуреева, почему не ездят там.

— Опасно. Можно в щели станковые попасть. Они вдоль всего берега тянутся. А в щелях этих могут быть пропадины. Лёд на них тонкий. Так что туда лучше не соваться.

Справа высились скальные утёсы, отвесно обрывавшиеся прямо в Байкал.

— Как же тут рельсы-то будут класть? — недоумевал я. — Неужели под скалами насыпь сделают?

— Я слышал, здесь собираются тоннели пробивать мысовые, — отозвался Гуреев. — Сквозь утёсы. А между тоннелями будут склоны взрывать и выравнивать. Внизу насыпь под рельсы тоже сделают, только временную, пока тоннели не построят.

Проехав километров двадцать пять, мы выбрались со льда снова на берег. Дорога шла по просеке среди тайги. Но скоро машина выехала на длинную прямую улицу, образованную двумя рядами сборно-щитовых домов.

— Здесь город будут строить, — сказал Гуреев. — Только название ещё не придумали.

Он остановил машину, вышел и попинал скаты, потом присел на корточки, заглянул под передок.

— В прошлом году здесь только три дома стояло, — сообщил он мне, залезая обратно в кабину, и завёл мотор. — Ну что, двинем?

— Давайте. Сколько отсюда ехать?

— Километров сорок.

— Уже почти девять. А нам к десяти надо. Успеем?

— Дорога длинная, — уклончиво ответил Гуреев.

Было видно, что ему не понравился мой вопрос. Шофёры — люди суеверные. Как, впрочем, большинство из нас. Но чёрная кошка, пустые вёдра, число «тринадцать» — это понятно. Тёмное наследие прошлого. А вот почему, например, космонавты, люди вроде отважные и без предрассудков, перед полётом тоже всякие ритуалы соблюдают? По понедельникам не стартуют. В полёт берут бутылку водки, на которой всем экипажем расписываются, и после удачного приземления выпивают её. И все пишут на колесо автобуса, который везёт их к месту старта. А то, мол, полёт будет неудачным. И ведь все прекрасно понимают, что тут никакой связи нет, но вот поди ж ты. Что уж говорить о Гурееве, у которого, как только мы отъехали от будущего города, вдруг заглох мотор.

— И надо было вам про время спросить! — в сердцах сказал он, несколько раз безуспешно повключав стартёр.

— А что такое?

— А то... — он вышел из кабины и откинул крышку капота сначала с одной, потом с другой стороны.

Я тоже вылез.

— Искра есть? — спросил я и тут же замолк. Потому что в армии в подобных ситуациях какой-нибудь майор-политработник, ехавший в моей колонне пассажиром читать лекции на заставах, обязательно задавал водителю этот же вопрос, хотя сам ничего не понимал в двигателях. Но ему вот непременно надо было, как старшему по званию, возглавить процесс поиска неисправности. Со стороны это выглядело смешно.

Гуреев молча копался в моторе. Потом выругался и сказал:

— Бензонасос крякнул.

Он вытер руки ветошью, походил около машины и сказал, глядя в сторону:

— Дорога — она дорога и есть. Куда надо, туда и приведёт.

Я молчал. Гуреев тоже помолчал и закончил:

— И чего спрашивать? Это же дорога!

Я чувствовал себя виноватым, вот только не знал, в чём. Ну ладно, не надо было спрашивать. Чёрт бы побрал все эти приметы... Но разве сам Гуреев не мог вовремя заметить, что бензонасос у него скоро выйдет из строя? А если даже и не мог, то при чём здесь я? Это же техника, она имеет обыкновение ломаться иногда. И потом, у хорошего шофёра всегда должен быть запас под рукой.

И я спросил:

— Запасного-то нет?

— Да откуда! — Гуреев закурил. — Ремкомплекта и то нет... Я в прошлом году ещё говорил, дайте хоть немного запчастей! А то ни трамблёра, ни карбюратора... Две свечки всего на запас. Ключи и то не все... Хотя если запчастей нет, зачем тогда и ключи...

— Ну это вообще бардак, — сказал я. — И что теперь делать?

— Снять штаны да бегать, — ответил Гуреев. Он докурил папироску и посмотрел на меня. — Здесь на БАМе я ещё ни одной «ступы» не видел. Сплошные «Магирусы», ну КрАЗы ещё.

— Что это за «ступа»?

— Так вот она и есть, — хлопнул Гуреев по двери кабины, — «трумэн», «ступа», а ещё «бабай», «колун», «крокодил»... Хорошая машина. Руль только тяжёлый, без гидравлики.

Он закрыл капот и укутал его стёганным утеплителем. Потом снова закурил.

На дороге из «города» показался легковой «уазик». Гуреев, махнув рукой, тормознул его и поговорил с водителем. Вернулся ко мне.

— Тут сейчас вроде есть один, — сказал он, — лесхозовский. Деляну там лесники отводят, вырубать под следующую улицу. Вдруг у него запасной найдётся.

— Так он же не даст. Сам-то с чем останется?

— Ну, может не дать, конечно. Если только хорошо попросить... — он пристально взглянул на меня, потом под ноги и сдвинул шапку на затылок. — Да нет, самому мне надо. У вас деньги какие-нибудь имеются?

— Сколько?

— Без бутылки не обойдёшься. У меня рубля два с собой. «Трёшку» дадите? Потом Матвеич отдаст, оформит как-нибудь.

Я полез в карман.

— Только вы, Николай, не очень там, а то снова без прав останетесь.

Гуреев возмутился:

— Да я вообще за руль выпивши не сажусь. Это с Матвеичем тогда бес попутал. Вот пристал он ко мне: поехали да поехали...

Он взял в кабине рукавицы, потом достал из кузова топор и бросил на дорогу. Спросил меня:

— Спички есть? Костёр разводите и ждите меня. Машина-то остынет скоро.

— Так воду же надо слить, наверное.

— Не надо. Часа три она простоит, а я уж всяко рано за это время вернусь. Да и где потом воду-то брать? Снег топить?

Он остановил проезжавший мимо «Магирус» и скрылся в его большой кабине. Самосвал пыхнул в меня чёрным соляровым дымом и покатил в сторону «города».

Я подобрал топор и шагнул с дороги в снег по колено. Да, стыковка с Андреем, кажется, сорвалась. Даже если часа через три Гуреев вернётся «со щитом», надо будет ещё снять старый бензонасос и поставить новый. Сколько на это нужно времени, я понятия не имел, но наверняка не пять минут. А потом ещё ехать до Гоуджекита. И выходило, что до условленной почты мы сможем добраться только к вечеру. Не будет же Андрей околачиваться там всё это время. Тогда где его искать?

Ладно, сначала костёр зажгу. Нашёл тонкую сухую лиственницу, недалеко ещё одну. Парочки штук мне пока хватит. Размахнулся, рубанул раз, другой и посмотрел на лезвие. Типичный шофёрский топор: тупой, зазубренный, с топорича слетает, а само оно чёрное, как головёшка, всё в мазуте. Кое-как свалил один ствол, обкорнал ветки, разрубил дерево на метровые поленья. Содрал кусок бересты и через пять минут грел руки над разгорающимся пламенем. Простое дело — разжечь костёр, но я, городской

человек, долго не мог это освоить. Однажды на практике вообще опозорился. Выпало нам с одной девчонкой из Томского универа по кухне дежурить. Встали мы пораньше, я принёс воды, она начала рис промывать или там гречку, а я стал огонь добывать. Вернее, добыть я его добыл, со спичками-то, а вот костёр не загорался. Чего я только не делал! И стружки строгал, и лучинки тонкие щепал, и крафт-бумаги для обёртки образцов с полкило извёл, и дул в появившиеся угольки — только в саже испачкался да дыму наглотался. Стал глаза протирать — засорил чем-то, смотреть не могу. Побежал на ручей промывать. А возвращаясь, издалека увидел, что костёр горит, ведра над ним висят, а моя напарница смотрит в мою сторону с нехорошей усмешкой. Я пролепетал ей что-то про свои глаза, она издевательски покивала и склонилась над ведрами. Но хорошо, что никому она не рассказала, какой у меня вышел конфуз. Я же с тех пор стал уходить один в лес и там тренироваться. Не сразу, но стало получаться, только долго я ещё заранее переживал, когда выпадало мне костёр разводить: загорится или нет?

Пару раз возле меня останавливались машины, и водители спрашивали, не надо ли помочь. Я отвечал, что всё нормально. День стоял пасмурный, мороза большого не было. Интересно, летают ли сегодня вертолёты? Хотя зачем теперь мне это. По земле доберусь.

Если всё ещё сложится... Ну, добудет Гуреев эту железяку, приедем мы в Гоуджекит. Хорошо, если найдём Андрея, тогда вместе переночуем где-нибудь, и он покажет, где начинается его лыжный след. А вдруг мы где-то разминёмся? Лыж у меня нет, а без них идти в горы бесполезно. Значит, надо будет возвращаться обратно. Скорее всего Андрей, не дождавшись нашей машины, будет искать попутку, чтобы добраться до базы... А если у Гуреева ничего не выйдет и он вернётся ни с чем? Тогда придётся отбуксировать машину хотя бы до «города», там просить кого-то присмотреть за ней, а самим ехать к себе в посёлок, заказывать бензонасос по рации и ждать, когда привезут... В общем, по-любому большая предстояла морока. И кто знает, может, быстрее мне будет всё-таки вертолёт дождаться.

А там ещё Альберт в одиночестве остался. Это вон охотники могут в тайге всю зиму сами по себе жить. Да и скучать им некогда. Надо каждый день путики обходить, проверять капканы, потом вечером в зимовье ужин варить себе и собакам, шкурки снимать, на правилки натягивать. И ещё много у них всяких забот. А тут городской паренёк, один в горах зимой. Одному вообще плохо быть... На той же практике начальник нашей партии взял на работу старшеклассников, которые хотели в каникулы подзаработать — помогать геологам в маршрутах, пробы на канавах отбирать, всякие хозработы в лагере делать. И был среди них такой Лёха Данилов. Однажды вся партия уехала километров за десять от лагеря «на выброс» — картировать отдалённую часть площади. Лёху оставили сторожить. Дня через четыре возвращаемся — где Лёха? Покричали. Молчание. Ещё покричали — отозвался. Оказывается, спал на дереве, привязанный. Кто тебя привязал? Сам. Что ты там делал? От медведя прятался. А что, медведь приходил? Нет, но я подумал, что если придёт, лучше я буду на дереве сидеть... И ведь так и просидел он там с первого дня, спускаясь только в туалет сходить. Ничего себе не варил, ел тушёнку, сухарики грыз да чай холодный пил. А Альберт-то года на три всего старше...

День перевалил далеко за половину, а я так и подкладывал дровишки в свой костерок и провожал взглядами машины, идущие со стороны «города». Но Гуреева всё

не было. Я уже начал думать — загулял-таки мужик. Полез под «ступу», чтобы поискать краник да слить воду, а то кончим двигатель — совсем плохо будет. И тут рядом остановилась какая-то машина, и голос Гуреева спросил:

— Там теплее, что ли?

Я вылез.

— А я собрался уже воду сливать. Краник вот только не знаю, где.

— Сколько времени прошло? — спросил Гуреев.

— Да три часа уже... и десять минут.

— Ничего, сейчас поедем.

— Достали? — обрадовался я.

Гуреев кивнул:

— Уговорил. За бутылку. Но пришлось хоть пива с ним выпить. Иначе не хотел давать. Нормальный мужик.

Он откинул створку капота и начал отвинчивать старый насос. Я стоял рядом и смотрел. Оказывается, это быстро делается. Не прошло и пятнадцати минут, а Гуреев уже поставил новый, покачал пальцем какой-то рычажок — и коротко сматерился. Я спросил, в чём дело. Гуреев показал:

— Видите, — и ещё немного покачал. На корпусе насоса сбоку показались капли. — Вот запчасти делают! Пропускает... — и он снова ругнулся. — И в поддоне теперь наверняка бензин, масло придётся менять.

— Да, дела.

Гуреев снял насос, развинтил его на две половинки и свистнул:

— Ну диверсанты, как ещё сказать! Смотрите, литьё с кавернами. Тут никакая прокладка не поможет. Притирать как-то надо... — Он положил половинки на подножку и молча полез под машину. Повозился там, и в снег полилась струйка воды. — Ведь новый вроде, нехоженный... в смазке...

— А как же ОТК? — подал я голос.

Гуреев хмыкнул.

— Наверняка в конце месяца делали. План гнали. Тут и ОТК что хочешь пропустит, лишь бы без премии не остаться, — он повертел в руках только что снятый старый насос. — Или попробовать из двух один собрать...

— Давайте перекусим сначала. Уже обед прошёл.

— Ладно.

Уже начало смеркаться, дневное тепло сменилось явственным вечерним морозцем, а Гуреев из двух агрегатов всё ещё мастерил один. Он позвякивал ключами, зачищал детали напильником и шкуркой, ронял на снег и искал, ругаясь вполголоса, какие-то «шаёбочки», изредка закуривал и подходил к костру погреться. Наконец всё собрал, поставил на место, попробовал покачать вручную, остался доволен, потом начал масло в двигателе менять, а я стал снег топить. Хорошо, что в кузове два ведра оказалось. Одно, правда, сильно помятое было и протекало сквозь пару дырок, так что доверху не наполнялось. Но воду мы довольно быстро залили, и Гуреев стал заводить мотор. «Ступа» сперва затарахтела, чихая, потом, набрав обороты, заудела ровнее.

— Ну что, куда поедем? — спросил Гуреев. — Туда или обратно?

Я только собирался рассказать ему свои соображения, как вдруг пронесившийся мимо ГАЗ-66 мигнул фарами и посигналил. Я открыл дверь кабины и посмотрел назад. Метрах в тридцати машина остановилась, и из кабины кто-то прыгнул. В сумерках я узнал-таки фигуру Андрея. Он махнул мне рукой, залез в кузов и сбросил на дорогу рюкзак и связанные лыжи с палками. «Шишига» тронулась дальше, а мы с Андреем обнялись.

— Я так и подумал, что у вас, наверное, машина сломалась, — сказал Андрей, ког-

да я сообщил ему, почему мы до сих пор здесь торчим. — Потом решил, что самому надо как-то добираться. И чуть мимо вас не проскочил.

По темноте ехать в Гоуджекит не было смысла, и мы развернулись. Андрей надеялся утром попасть на самолёт до города, а нам с Гуреевым завтра надо было начинать всё сначала.

— Ну как там, на горе? — спросил я.

— Да всё в порядке. Скучно только. Книжки я брал — все прочитал... На улицу выйдешь — тишина, даже птиц не слышно. Один раз только ворона какая-то залетела сдуру. Шарик наш её облаял, и она больше не появлялась. А так никакого разнообразия. Хорошо ещё, дрова надо готовить. Выйдем с Альбертом, свалим ствол, потом пилим и колем дня два. И снова делать нечего... Нет, надо всё-таки сказать Вадиму Семёновичу, что зря это дежурство затеяли. Кто туда пойдёт зимой? Да и дешевле было бы вывезти всё вертолётom на Даван, это же рядом.

— Почему на Даван?

— А мы год назад хотели там обосноваться. Два домика соорудили. Это потом уже решили капитальную базу в райцентре строить. Потому что и аэропорт, и корабли. Легче сообщаться. Скоро и «железка» будет. Летом оттуда всё перевезём. А пока там тоже сторож сидит, эвенк из местных.

Я сказал:

— Ну теперь-то поздно всё отменять. Я, наверное, последний буду на страже. Хотя больше пользы было бы в конторе. Альберт в одиночку там не свихнётся?

— Да он нормальный парень. Адекватный, — заверил меня Андрей.

Приехали мы к себе в посёлок уже затемно. Стас и Матвеич сидели и дулись в карты.

— Ну что, с приехали! — сказал мне Стас. — Передумал подниматься?

— Сломались мы. Завтра снова поедem. Поужинать-то осталось чего?

— На печке стоит... А из города радиogramма пришла. Надо съездить на Даван, Семёна проведать. Не звонит давно. Может, деньги кончились. Отвезти просили, а то он тоже голодать начнёт.

— Я сегодня перевод получил из конторы, — подтвердил Матвеич. — Десятку ему с Николаем отправлю. Ну, садитесь, рубайте.

После ужина Андрей сказал:

— Давай карту, покажу, где я шёл.

Карты у меня не было, потому что в городе мы имели в виду только вертолёт, других вариантов даже не обсуждали. Тогда он просто нарисовал мне на листе бумаги схему.

— От почты вот так идёт переулочек. Дойдёшь до самого конца, упрёшься в гостиницу. Обогнёшь её слева, прямо за ней ЛЭП проходит. Широкая такая просека, там лыжню мою сразу увидишь. За просекой — лесок редкий, до хребта с километр тянется, а дальше войдёшь в распадок. Вот по нему и поднимайся. Там разные отвороты будут в мелкие распадки, но ты лыжни держись.

Я спросил:

— Подъём-то крутой?

— Терпимый. Помнишь, в институте на Хамар-Дабан зимой ходили? Там покруче было. Лыжи вот только не охотничьи у меня. Взял с собой, думал, побегаю, может быть. Да где там! Кругом снежные надувы, метра по два, по три. А между ними лыжню проложу — каждый день переметает... Конечно, вниз мне легче было. А на этих подниматься — только «ёлочкой». Но попробуй. Потихоньку дойдёшь.

Я посетовал, что вот охотники застолбили вертолёт надолго и никак не уступают мне даже часа, иначе не было бы этой мороки с лыжами. Андрей пожал плечами:

— Они же местные, все друг друга знают. Диспетчеры, охотники, геологи здешние. Психология! Вот погоди, обживёмся здесь, тоже станем своими. Связи постепенно устанавливаются. Мы им поможем в чём-то, они нам потом помогут.

— Но уж на час-то могли мне разрешить слетать? Всего на час!

— А ты поставь себя на их место. Приходит кто-то, неизвестно откуда, и требует рейс без очереди. А в тайге свои в таком же положении. У них тоже наверняка продукты кончаются. Ты бы уступил?

— Ну, у них-то оружие есть. Рябчиков, по крайней мере, могут себе настрелять. Не то что мы. Сам говоришь, там только одна ворона и была.

— Да кому какое дело... Конечно, и от человека ещё зависит. Кто помягче, разрешил бы. А жёсткий начальник сначала своё сделает. И только в крайнем случае на встречу пойдёт. Заболел если кто, или несчастный случай.

— Нет, ну должна же быть взаимовыручка какая-то, — упорствовал я.

— Так она и будет. Потом, когда связи наладятся, знакомства. А так любой тебе скажет: голодают? а чем они думали, когда залетали? или чем начальство ваше думало?... Знаешь поговорку: идёшь в тайгу на день — продуктов бери на неделю. А мы, выходит, сами мало взяли. Не рассчитали. Там, между прочим, хоть и не работаешь вроде, зато аппетит ого-го!

Андрей закопался в спальник и, помолчав, сказал:

— Я бы, конечно, если бы меня попросили, подумал, чем помочь. Ну, сделал бы крюк, в конце концов. Что такое один час, когда мне этих часов нужно в двадцать раз больше. Но я, видимо, не буду жёстким руководителем...

Он засопел и через минуту уже спал, ровно похрапывая. Он ещё в институтской общаге засыпал почти моментально, чему я всегда завидовал. У меня же перед сном обычно всякие мысли в голове крутились. И часто приходилось насильно заставлять себя заснуть, а для этого я начинал считать слонов или верблюдов — то с нуля и до засыпания, то, допустим, с пятисот и обратно. Как в песенке:

*Если не спится, считайте до трёх.
Максимум — до полчетвёртого...*

Или представлял себе чёрное пустое пространство, в котором ничего нет, даже никаких моих мыслей. Или ещё чего-нибудь изобретал. Иногда помогало. А просто приказать себе: «Спи!» — не получалось. И я, наверное, тоже не смогу быть жёстким руководителем. Несмотря на имеющийся командирский голос...

8

На следующее утро мы с Гуреевым снова поднялись раньше всех. Потом подал признаки жизни Матвейч, ему надо было дежурить по кухне. Я взялся ему помогать, пока Гуреев разогревал машину. Стас, разбуженный шумом, молча глазел на нас из спальника. Проснулся Андрей и спросил:

— Ну как, погода лётная?

Вошёл Гуреев, отряхивая снег с телогрейки.

— Что, снег идёт?

Гуреев кивнул:

— Пробрасывает.

— Неужели не улечу? — сам у себя поинтересовался Андрей и вскочил. — Что за погода здесь, ёлки зелёные!

— А за окном то дождь, то снег... — неожиданно пропел Стас.

— У тебя как, связь без брака? — спросил Андрей.

Стас угукнул. Потом дошло, и он захохотал.

— Тогда передашь Альберту, что я доехал. А Фёдор сегодня поедет, вчера не мог. Может, к вечеру доберётся.

Матвейч сказал, обращаясь к Андрею:

— Вадим Семёныч пусть не беспокоится. Дома будут в срок. Как штык.

— Пуля дура, штык молодец, — снова пропел Стас.

— Настроение в коллективе бодрое, — отметил Андрей. — Так и доложу.

Мы позавтракали и погрузили шмотки в машину. Довезли Андрея до аэропорта, а сами двинулись по вчерашнему маршруту. В утреннем полусвете было видно, как по дороге мела позёмка, в стёкла кабины иногда дробно стучала снежная крупа. Проехали «город», а дальше на каждом километре встречались заснеженные палатки, жилые вагончики, разная импортная техника: японские подъёмные краны «Като», японские же бульдозеры «Комацу», американские бульдозеры «Катерпиллер», те же «Магирусы». Между ними изредка мелькали наши КраЗы и вахтовые ГАЗ-66 с будками. Где-то валили лес, где-то уже отсыпали и ровняли насыпь, сооружали мостовые опоры. Картинка впечатляющая... К половине одиннадцатого въехали в Гоуджекит. Пообедали в столовой и стали искать почту. Нашли её на первом этаже капитальной брусовой двухэтажки в центре посёлка, а на втором этаже располагалось учреждение, именуемое «строительно-монтажный поезд», вход в который был через отдельный подъезд.

Я распрощался с Гуреевым.

— Может, мне подождать немного? — предложил он. — Вдруг не найдёте лыжню. Снежок сыплет всё-таки.

— Да нет, не надо, не такой уж он густой, всю не занесёт, — возразил я. — Езжайте.

— Ну, смотрите... — ответил Гуреев. — Тогда я поехал на Даван, к Семёну. Счастливого вам...

Мы пожали друг другу руки, и он сел в кабину. А я надел поудобнее рюкзак, подхватил лыжи и пошёл искать Андрееву лыжню.

На край посёлка я вышел быстро и сразу увидел широкую просеку, на которой стояли высокие ажурные опоры, держа провода в сжатых кулаках изоляторов. Где-то здесь должен быть лыжный след. Но посмотрев в обе стороны, на ровной снеговой поверхности я не заметил ни морщинки.

«Всё-таки занесло, — понял я, — зря отпустил Гуреева». Но тут же прогнал сожаление. Ещё ничего не сделал, не попытался найти, а уже обратно захотел. Ведь где-то же Андрей пересёк ЛЭП! Значит, если я пойду вдоль по ней, обязательно встречу хоть какие-то признаки лыжни.

За снежной полосой просеки, как и говорил Андрей, был негустой лес, просвечивающий до самого подножия хребта. Прямо передо мной за лесом виднелся распадок, справа густой лесной порослью трассировались ещё несколько. Левее распадков не было, только сплошной заснеженный склон. И я, надев лыжи, специально забрал ещё на пару сотен метров влево, чтобы уж наверняка, потом шагнул на просеку и пошёл направо, от опоры к опоре.

На широких охотничьих лыжах мне передвигаться ещё не приходилось, но я сразу понял, насколько это было бы удобнее. Потому что беговые лыжи глубоко проваливались в снег, ведь на плечах был не такой уж маленький груз, и если бы не палки, на которые я всем телом опирался, мне пришлось бы уже несколько раз кувыркнуться в сугроб. Но самое неприятное заключалось в том, что нигде не угадывалось даже намёка, что вчера здесь прошёл человек. Я пробороздил по просеке, наверное, километра два, пока не понял, что след замело напрочь. Если он был, конечно... Может, я что-то неправильно понял и Андрей выходил где-то в другой стороне? Да нет же, вот

рисунок: почта, гостиница, ЛЭП. Это снежок с ветерком мне удружили, тем более что на просеке им есть где разгуляться. Вот в лесу ещё могло бы что-то сохраниться...

Надо зайти в этот редкий лесок и поискать лыжню там. И я повернул в сторону хребта, дошёл до леска и, углубившись немного, наострил лыжи в противоположном направлении. Проутюжил лесок на те же два километра, внимательно осматривая неглубокие ложбинки и участки, где деревья росли чаще. Там, конечно, могли бы остаться следы, но ведь Андрей шёл, где легче, то есть как раз огибал такие места. И я снова не нашёл никаких признаков лыжни.

Скинув рюкзак, я присел на упавший ствол перекурить и стал думать, что делать дальше. Опять несолоно хлебавши возвращаться в посёлок? И снова каждое утро без толку шляться в аэропорт? А потом ловить усмешечки Стаса и Матвеича, а то и Гуреева, и плотников, и терять завоёванный авторитет, — а в том, что он среди них у меня был, я не сомневался... Нет, возвращаться мне нельзя. До участка всего километра три осталось. В распадке, где ветра быть не должно, лыжня наверняка сохранилась... Но в каком? Я только сейчас сообразил, что распадки, в том числе и тот, куда мне нужно, Андрей на своей схемке не показал. А я и не попросил. До того мы были уверены, что с лыжнёй за ночь ничего не делается...

Ну что ж, надо выбрать один из распадков и пойти наугад. Если я попаду в тот самый, где Андрей шёл, будет совсем просто. А если нет, то неужели не обнаружу, когда поднимусь вверх, каких-нибудь признаков жилья: запаха дыма, лая собаки, звука топора?

Хлебнув из фляжки остывшего чая, я посмотрел на хребет, который был совсем рядом. Вот три распадка, наиболее близкие к Гоуджекиту. Четвёртый в отдалении, там Андрей точно не мог спускаться. Значит, выбираем из трёх. Три карты, три карты... Надо рассуждать логически. Удобнее для ходьбы, конечно, левый, самый широкий. Но Андрей шёл сверху, а вверх не поймёшь, какой потом окажется самым широким. По кривизне, по залесённости — то же самое. По близости к участку — да все они, наверное, примерно на одном расстоянии... Нет, логика тут бессильна. Если я буду продолжать, то уподоблюсь тому ослу, который сдох от голода, потому что не знал, какую выбрать охапку сена из двух ну совершенно одинаковых. А у меня этих охапок даже три.

Можно, конечно, заглянуть последовательно в каждый из распадков, чтобы наверняка найти след. Но пока я гулял по просеке, а потом сквозь лесок, давно уж прошёл полдень. Не успею до темноты. К тому же я стал подозревать, что здесь ночью был настоящий снегопад, а не просто крупу «пробрасывало». И лыжню он засыпал, наверное, напрочь. Только время потеряю, если буду соваться во все распадки. И я наудачу направился в тот, что посередине.

Снег в распадке был плотнее, чем на равнине, поэтому сначала подниматься было легко, я просто шёл, опираясь на палки. Лыжни не было. Или не угадал с распадком, или, действительно, всё закрыло снегом. Выше уклон становился круче, и лыжи стали проскальзывать. Вот тут пришлось применять «ёлочку». Забравшись метров на сто вверх, я оглянулся. Сквозь редкие лиственницы видно было и лесок, и просеку ЛЭП, и чёрные коробочки домов в посёлке. Над ними уже замерцали огоньки фонарей. Надо спешить.

Поднявшись ещё метров на семьдесят, я обнаружил, что распадок начал изгибаться, ветвиться: то влево от него ложбина утянется, то вправо. Где его основное направление, непонятно. Туда сунулся, сюда — то скалы сплошные, то бурелом. Налево пойдёшь — коня потеряешь, направо пойдёшь — ещё какая-нибудь напасть... Каждая из этих ложбин могла увести меня как далеко в сторону, так и приблизить к цели, потому что я не знал, правильно ли вообще иду. Была бы карта с собой, я бы знал, куда идти. А так опять, как тому ослу, приходилось выбирать. Но выбирать уже не хотелось. Да

и устал я, если по-честному. Не лучше ли переждать до утра, чтобы не тыкаться в наступавших сумерках неизвестно куда?

В общем, не пришлось мне себя долго уговаривать. Выбрал небольшую ровную площадку на склоне, сбросил с плеч надоевший рюкзак и стал утаптывать снег. Вытащил нож, наломал сухих веточек на лиственнице, сложил костёр, зажёл. Достал из рюкзака банку каши гречневой, разогрел на огне и съел её, потом в этой же банке растопил снег, вскипятил чай, закурил — блаженство! Стою и топчусь у огня, поворачиваясь то спиной, то боками.

Костёр начал гаснуть, и я снова наломал веток, теперь уже пришлось бросать сырые, потому что сухие поблизости все обломал. Огонь никак не разгорался. И я вдруг понял, что не зря мне байка про осла на ум пришла. Только осёл-то этот — я!.. Романтика, видишь ли, заиграла. А почему бы сразу не подумать: ночью будет совсем холодно, лес засыпан снегом, валежника сухого не найти, топора у меня нет, веток со своим ножиком я не запасу на всю ночь, а без огня замёрзну, и даже если дотерплю до утра (без сна!), то не факт, что вообще найду в горах наши домики. А внизу недалеко — Гоуджекит, там люди, там жизнь, там тепло...

И я начал спуск обратно в долину. Хорошо, что луна выскочила, и на голубоватом снежном фоне чётко и рельефно были прорисованы чёрные стволы лиственниц и мои следы. Забирался я по распадку часа два, а вниз сбежал минут за сорок, пару раз чуть лыжи не сломал, втыкаясь в сугробы. А ещё через полчаса лежал поверх одеяла в гостинице, задрав повыше уставшие ноги, и прихлёбывал из кружки горячий чай.

9

Утром мне снова надо было делать выбор: или ещё раз предпринять лыжный поход, теперь уже по другому распадку, или вернуться на базу и дожидаться своей очереди на вертолёт. Но первый вариант был настолько неопределённым по возможности достижения цели, что я склонился ко второму. Несмотря на то, что опять предстояли нудные визиты в аэропорт и скука ожидания. И угроза потери авторитета. Ну а что делать? Лыжню Андрея замело полностью, это ясно, а без неё, даже если я угадаю с распадком, вероятность найти наши домики была ничтожной. Значит, мне нужно сейчас выйти на дорогу и ловить Гуреева. Вряд ли он вечером сразу поехал обратно. А вернее будет двигаться ему навстречу. Я оставил в вестибюле гостиницы рюкзак и лыжи и пошёл на трассу.

До Давана, как мне сказали, было двенадцать километров. Сначала я решил идти пешком. Тем более что пошёл снег, теперь уже плотный и густой, а машины по трассе шли в обе стороны одна за другой, и я боялся, что если сяду в попутную, то в этом потоке нашу «ступу» могу и не заметить. Но ветер бил в лицо, он залеплял мне снегом глаза, приходилось опускать голову вниз, и я подумал, что из кабины будет видно всё-таки лучше. Проголосовал и сел в «Магирус», сказав, что мне нужно на Даван, устроился поудобнее на широком сиденье и стал отковыривать ледышки с бороды и усов. Просторная и тёплая кабина самосвала с чисто работающими «дворниками» располагала к долгому путешествию. Однако минут через пятнадцать машина повернула направо и остановилась.

— Я на карьер, — сообщил мне водитель, парень чуть постарше меня. — Тут до Давана совсем недалеко. Пройдёшь портал, а от него уже рядом.

— Какой портал? — спросил я.

— Восточный, конечно, — улыбнулся парень. — Вход в тоннель, — просветил он меня напоследок.

Ну конечно, я просто забыл, что Андрей мне уже рассказывал про тоннель на Даване. А вот слова «портал» я не знал. А это вот, оказывается, что.

Рядом так рядом. Хотя мог бы и сразу сказать, что сворачивает в сторону. Я снова шёл по обочине, поглядывая на встречные машины. Гуреева не было. Скоро показался портал — большая дыра в отвесном обрыве. Туда заходили пустые самосвалы, а возвращались нагруженные взорванной скальной породой. Отсюда я снова немного проехал на попутке, пока водитель, усатый кавказец, не сказал: «Даван здесь».

Спрыгнув с подножки, я увидел гладкую снежную равнину, где никаких строений не было. Только вдаль от дороги тянулась линия совсем уж низких столбов с проводами. Где же посёлок? Лишь подойдя ближе по натопанной в снегу тропе, я увидел, что почти все дома замечены снегом вровень с крышами, а к откопанным дверям надо спускаться вниз по снежным ступенькам. Я пошёл по тропе дальше, но людей так и не встретил. Отцы семейств, конечно, на работе, а жёны и дети в такую пургу дома сидят. Тропа вывела на пробитую бульдозером в снегу дорогу. Это была траншея с отвесными бортами высотой метра три. По ней я вышел к дальнему краю посёлка и тут немного в стороне увидел торчащую из снега железную трубу, из которой курился синеватый дымок. Труба выходила из такого же щитового домика, какие у нас на базе строил Матвейч. Спустившись к двери, я постучал. Дверь открыл мужчина с азиатским лицом, и я понял, что угадал.

— Вы Семён? — спросил я.

Он ответил утвердительно.

— А я геолог, из города. Гуреев к вам приезжал? Он должен был деньги привезти.

— Приехал он, приехал, — закивал Семён. — Вчера вечером. Деньги привёз. Со всем кончились, кушать не на что.

— А где же он?

— В тоннельный отряд поехал. Ремонтировать ему что-то надо. Сварка нужна. Скоро вернётся.

Пришлось сидеть и дожидаться. Я стал спрашивать Семёна про жизнь-бытьё, не скучно ли ему.

— Почему скучно? Дрова колоть надо, печку топить надо, покушать что-нибудь варить. Вон радио мне оставили, слушаю, — показал он на маленький транзистор на лавке.

— Снегу-то сколько. Не боитесь, что однажды совсем завалит, и не выйдете?

— Снег — хорошо, в доме тепло. Если бы не снег, дрова давно бы кончились. Кто мне привезёт? Тоннельщики электричеством греются, — Семён отвечал охотно, видно, редко ему приходится с кем-то поговорить. — А совсем не завалит. Люди же кругом. Знакомые есть. Откопают.

— А лавина не может сойти?

— Здесь не сойдёт. Здесь перевал. А дальше, в долине Кунермы, лавины бывают. Но там не живёт никто.

Семён подбросил дров в железную печку, обложенную кирпичами, и предложил:

— Чай наливайте.

Я не отказался. Семён открыл банку сгущёнки. Потом сказал, продолжая неоконченный для себя разговор:

— И здесь никто никогда не жил. Зачем посёлок построили? Дома заносит, дорогу заносит, каждый день бульдозер чистит.

Он раскурил короткую трубочку. Я предположил:

— Построили, потому что здесь тоннель рядом.

Семён, попыхивая дымком, возразил:

— Здесь только шахта. Как раз в середину тоннеля. Сюда можно было из Гоуджекита ездить, из Гранитного. Зачем здесь жить?

— Ну не знаю, — ответил я, — наверное, были какие-то причины.

— Причины такие, что думать не хотели. Почему меня не спросить, других не спросить? Здесь каждую зиму так.

Я бодро сказал:

— Народ молодой. Трудности вытерпит. Зато железная дорога будет в глухой тайге. Нам повезло, что мы рядом с такой стройкой живём.

— Железная дорога, наверно, хорошо, — проговорил Семён. — Но и плохо.

— Как это?

— Соболь уйдёт, олень уйдёт. Рыбы меньше будет. Далеко в тайгу ходить придётся, — он пососал погасшую трубочку, выбил пепел у печки и продолжил: — Город хотят строить на Байкале. Зачем город? Вся канализация в озеро потечёт. Тепло надо? Надо. Значит, уголь будут сжигать, дым, сажа на озеро полетит. Людей будет много. Обязательно в лес будут ездить. А где людей много, всегда лес горит.

— Если так рассуждать, — неуверенно возразил я, — то мы до сих пор жили бы на деревьях. Покорение природы — это путь к прогрессу...

— Пусть будет прогресс. Но не надо, чтобы лес горел, чтобы зверя и рыбы не было... Хочешь мяса — убей столько, чтобы самому поесть и других угостить. Хочешь рыбы — поймай себе и другим оставь. А эти приехали и сетками реки перегораживают. Или с вертолётки изюбрей стреляют. Иногда только голову с рогами забирают, а мясо бросают.

— Кто «эти»?

— Кто... Которым каждое утро приветы передают, — он показал на приёмник. — Герои, говорят.

— Ну не все же такие, — заступился я. — Они же вон как работают.

— Работают, да. А всё равно плохо.

Разговор стал меня тяготить. Семёну ничего не докажешь. Хотя и он тоже прав. Это вечный спор о пропорциях добра и зла, если речь заходит о вмешательстве в дела природы. У меня в голове крутилось затёртое «лес рубят — щепки летят», но тут вошёл Гуреев и очень удивился, увидев меня.

— Не нашли?

Я рассказал ему про свои приключения, умолчав только о своей попытке переночевать в распадке. Мы выпили по кружке чаю, распрощались с Семёном и поехали к себе.

10

Пока я пытался попасть на участок пешим порядком, вертолёты, оказывается, не летали — не было керосина. Поэтому Павел Сергеевич, когда я ещё раз заикнулся о своём полёте без очереди, посмотрел на меня, как лев на антилопу, и ничего не сказал. С утра часто не было погоды, стоял густой туман, который расходился только к обеду. И у поховцев всё ещё оставалось несколько человек в тайге. Хитренко, отлетав месячную саннорму, убыл в город, его сменил другой пилот — Рудницкий, который был местным и жил недалеко от аэропорта. А я так и болтался каждый день по уже надоевшему маршруту. Коробки с продуктами и мой рюкзак со шмотками мы с Гуреевым перевезли в автоматическую камеру хранения, чтобы, если вдруг откроется какая-нибудь оказия, всё было под рукой. Альберт, выходя по утрам на связь, говорил бодрым голосом, но чувствовалось, что в одиночку ему непривычно и тоскливо. Из продуктов у него остались макароны и рыбные консервы. Да ещё немного муки, из которой он чего-то стряпал вместо хлеба. Ни сахару, ни чаю уже не было, и ему при-

ходилось пробавляться голым кипятком. Сигареты он начал строго экономить, и я посоветовал ему вообще бросить курить — такой случай удобный! Но он, похоже, скорее согласился бы голодать, чем остаться без табака. И когда он успел так втянуться? Ведь пацан совсем. Наверняка ещё в школе начал баловаться. А вообще он был молодец, конечно. Не Лёха Данилов.

Чтобы чем-то заниматься, я стал помогать плотникам. Они справлялись и вдвоём, но я прямо навязался. Сергей, увидев, что я довольно умело обращаюсь с топором и молотком, стал поручать мне мелкие самостоятельные операции. Глядя на меня, Матвей, замученный совестью, большую часть времени проводил теперь с бригадой, а не в доме за книжечкой. Даже пытался распоряжаться. За ним потянулся и Стас, чтобы не скучать в одиночестве. А Гуреев, если не возился с машиной, тоже или снег отгребал, или паклю в стыки между щитами набивал. И на бывшем пустыре уже наметилась улочка из аккуратных одинаковых домиков.

Как-то утром, придя в диспетчерскую, я увидел там незнакомого парнишку чуть постарше меня. Он сидел за столом и заполнял заявку на полёт. Павла Сергеевича не было. Я поздоровался и спросил у диспетчера:

— Ну что, Евгений Степанович, как обстановка сегодня?

— Нормально. Прогноз хороший.

— А что, ПОХ уже отлетелся? — кивнул я в сторону парнишки. — Тогда моя очередь, кажется.

— Поговори с Борей сам, — сказал Евгений Степанович.

— Откуда ты взялся, Боря? — спросил я. — Павел Сергеевич тебе ничего про меня не говорил?

Парень поднял голову.

— У нас авария на буровой, срочно нужно метчики отправить. И коронки кончились. Тигран Вартанович договорился с ПОХом.

И он снова продолжил писать.

— Ну вы даёте! — только и смог сказать я. — Евгений Степанович, как это? Я уже две недели хожу, а тут раз — и на матрас!

— А я-то что? — поднял брови диспетчер.

— Но вы же должны какую-то очередность устанавливать. Ведь мне всего час нужен! А я столько дней улететь не могу.

— Да ничего мы не должны. Вы сами между собой насчёт очереди договаривайтесь. Наше дело — корабли принимать и отправлять. А если ПОХ уступил рейс геологам, это их дело.

Я вспомнил слова Андрея и понял, насколько он был прав. Мы тут — чужаки пока что, поэтому не имеем права голоса. И что толку, если я скажу Павлу Сергеевичу, что он плохо поступает. Я ему не сват и не брат. А с начальником геологической экспедиции, с этим Тиграном Вартановичем, он, наверное, не одну бутылку выпил.

Евгений Степанович ответил на вызов пилота по рации, поговорил с ним и сказал Боре:

— Рудницкий на подлёте.

Я открыл дверь и вышел на крыльцо — покурить, чтобы успокоиться. Минут через пять появился Боря и тоже закурил.

— Наглость — особое счастье, — сказал я ему. — У меня там человек последние сухари доедает. А у тебя железо какое-то.

Боря затаился и передразнил:

— «Какое-то»... Ты хоть слышал про Снежное месторождение? Ты знаешь, что оно на контроле у министерства? Уникальные руды, крупнейший объект. И если хоть одна буровая остановится дольше чем на один день, будет большой скандал.

— Слышал, представь себе. Вот только я раньше тут что-то тебя не встречал.

— Да у нас туда дорога есть. Всё снабжение по ней идёт. Вертолёт — это на крайний случай. Дорога, конечно, так себе. В состоянии «лес повален, но не убран». Но обходимся. А тут бульдозер сломался, который её от снега чистит. И авария на скважине как назло. Форс-мажор.

Я не знал, что это такое. Но спросил, будто знаю:

— И когда он кончится?

— Минут сорок туда, столько же обратно. Ну, там посидит минут десять, — сказал Боря. — Не обижайся, земля, государственное дело.

— А я, по-твоему, туризмом занимаюсь? У нас тоже месторождение намечается, — я не слишком и преувеличил, потому что в этом сезоне мы собирались начать разведку одного из наших участков бурением.

Боря прислушался:

— О, летит!.. У вас намечается, а у нас уже есть. О чём разговор...

Я цеплялся за последнее, что осталось:

— А тебе не мимо Гоуджекита? А то бы меня по пути забросил...

— Ты что, это же в другую сторону, — свистнул Боря.

— А если рейс за наш счёт? Какая тебе разница, когда твои метчики с коронками прилетят — в два или в четыре? А вы деньги сэкономите.

— Ну какая это экономия — рублей четыреста. Несерьёзно. Да и такие вещи сам Тигран Варганович решает. Но вряд ли он разрешит. А ты и не успеешь. Вон Рудницкий садится.

Боря, выкинув бычок, развернулся и скрылся за дверью. Увидев, что он исчез, я решился на авантюрный ход. Боря наверняка же сам не полетит, просто передаст пилоту груз. Чего ему мотаться туда-сюда. И я пошёл к вертолёту.

Рудницкий, коренастый мужчина с лицом, покрытым коричневой кожей в носорожьих складках, уже вылез из кабины и что-то говорил подошедшему технику. Я перехватил его, когда он направился в диспетчерскую, и коротко рассказал ему про свои проблемы. Он шёл и молча слушал. Я стал излагать суть.

— Вы сейчас на Снежное полетите. А что, если меня сначала забросите? Я потихоньку залезу, никто не увидит... Это не совсем по пути, но вы, может быть, скажете, что какой-нибудь фронт обходили, поэтому время потеряли... Ну нет у меня другой возможности попасть на участок! А груза всего килограмм сорок, он здесь, в порту.

— Ну ты придумал! — изумился Рудницкий, взглянув исподлобья своими маленькими глазками и ещё больше став похожим на носорога. — Какой фронт, по прогнозу никакого фронта нету. Погода звенит на триста километров вокруг. А как мне лишнюю посадку объяснить? Да ещё наверняка с подбором. Или пломбу ломать, барограф в ручную подкручивать?..

Он, насколько я мог сообразить, снизошёл до объяснений лишь потому, что до такого фантастического предложения мог додуматься только полнейший дилетант. И я отстал, пока он совсем не рассвирепел. Получается, что опять ляпнул не подумавши. Оказывается, есть такая штука, как барограф. Что он там показывает, я не знал, но, видимо, его не объедешь. Как говорится, факир был пьян... и дальше по тексту.

Вот почему так бывает? Делаешь вроде бы всё, что можно, и даже то, чего нельзя, придумываешь разные способы, чтобы добиться результата, и всё это оказывается совершенно бесполезно... Я стал представлять, что бы ещё мог сделать на моём месте Андрей. Или кто-то другой. Нет, кажется, я уже вроде бы всё испробовал. Может, причина в том, что я не так себя поставил? Или нет, не сумел себя поставить — здесь, в аэропорту. На нашей базе сумел, а здесь не получилось. И меня никто тут всерьёз не воспринимает, хотя общаются вроде охотно. Но что-то мешает мне подняться на ту последнюю ступеньку, на которой со мной будут разговаривать как с равным. Нет,

правильно рассуждал Андрей, дело будет двигаться туго, пока не заведутся тесные связи, личные знакомства. А для этого нужно время.

Напиться, что ли, от безысходности? Вообще-то я никогда не чувствовал влечения к выпивке. В армии с прапорами да летёхами употреблял в основном за компанию. А на «гражданке» мы только дома с отцом выпили немного за мой дембель да с Андреем за встречу хорошо посидели. Но моё положение становилось каким-то уж совсем трансцендентным. Проходили мы когда-то по философии такое понятие, которое обозначает принципиальную непознаваемость мира. Вот так и я никак не мог проявиться в аэропорту как нечто реально существующее, познаваемое. Вроде что-то где-то и есть, но ни на что оно не влияет. И чтобы прорваться сквозь эту нереальность в сущий мир, может, мне нужно совершить что-нибудь такое... чего я и придумать пока не мог. Разве только напиться...

Да-да, конечно. Уж как бы меня в этом Матвеич поддержал. И Стас подключился бы с радостью... И тогда Павел Сергеевич, собирая слёзы в кулак, сразу пришёл бы ко мне и уговаривал бы согласиться лететь сегодня же. И Рудницкий в аэропорту сторал бы от нетерпения: когда же я появлюсь...

Нет уж, господа! Поскольку Матвеич до сих пор пребывает в неведении о своём положении на иерархической лестнице относительно меня, он и занимается своим делом — строительством, а не какой-нибудь ерундой вроде рыбалки. И стоит только мне расслабиться... Если в конце концов улечу — делайте что хотите. А пока я здесь, для всех сухой закон.

11

С утра над посёлком выкатилось солнце, в распадках дотаивали клочья тумана. По установившейся привычке я сразу после завтрака пошёл наносить визит в аэропорт. Чтобы меня там не забывали — раз, чтобы Павел Сергеевич при виде меня испытывал, может быть, хоть какие-то уколы совести — два. И ещё всегда была слабая надежда на то, что ему закроется погода, а мне, наоборот, откроется. Это три.

Сегодня в диспетчерской на смене была Людмила. Но мне сразу не понравилось, что здесь же крутился и Боря. Я спросил у неё, где сейчас борт.

— Ушёл на Снежное.

— Как на Снежное? Он же вчера туда летал. Боря, что за дела опять? Совесть у вас есть?

— Тигран Варганович...

— Да моё какое дело! Я уже семнадцатый день улететь не могу, понимаешь ты? Семнадцатый! Там человек один сидит, без продуктов. А у вас то понос, то золотуха! Государственное дело, смотри-ка ты. У нас тоже государственные дела. А вы совсем оборзели!

— Ну не шуми, земля. Сегодня главный геолог партии должен в Москву лететь с отчётом. Самолёт в город через три часа.

— А чего же вы вчера его не вывезли, вашего главного геолога?

— Вчера ещё не всё было готово. Пока буровая добурила скважину после аварии, потом каротаж, то да сё... Они полночи разрезы рисовали, к утру только сделали.

— Да у вас всю дорогу эти ваши... форс-мажоры! А там человек совершенно один. Пацан ещё. Девятнадцать лет.

— А что же вы его одного-то оставили?

— Так мы думали — на день, на два. А тут вы всё время вклиниваетесь.

— Ну и ничего. Он же у вас не больной, не увечный. Девятнадцать лет — совершеннолетний уже.

— «Не больной». А заболает... его и не вывезешь. У вас же тут свои дела, а на остальных вам плевать.

— Заболает — другое дело. Но пока ведь здоров, — сказал Боря и пошёл курить. Чтобы последнее слово осталось за ним.

Я тоже было достал папироску, но понял, что даже на одном крылечке с Борей не смогу находиться. Хотя он — простой клерк, сам ничего не решает. Зато строит из себя... И вот с такими кадрами нам предстояло устанавливать знакомства и связи, как Андрей говорил. Нет уж, пусть кто-нибудь другой устанавливает. Обойдусь.

— Послушайте, а почему бы он у вас действительно не заболел? — услышал я голос Людмилы.

— Как это?

— Попробуйте сходить в райбольницу, скажите, что у вас в горах человеку плохо. Нужна срочная помощь.

— Так он же не заболел.

— Ну как будто заболел. У нас так делают иногда. Когда необходимо слетать, а прогноза нет хорошего. Обычный рейс мы в таком случае не выпустим, а по санзаданию пилот может по фактической погоде лететь. А сейчас прогноз хороший, ему даже проще будет.

— Но больного же надо в посёлок вывозить. Иначе как докажешь, что он больной. А он на самом деле здоровый. И на участке нужен.

— Да не надо никого вывозить. Татьяна Петровна в таких случаях навстречу идёт. Оформит Рудницкому заявку, и вы улетите. Ну, врач с вами слетает, может быть. Для вида... Она же понимает, что бывают случаи, когда другого выхода просто нет.

— Какая Татьяна Петровна?

— Лужина. Она санавиацией заведует.

— И что, действительно можно так?

— Я же вам говорю. Объясните ей, попросите. А то ещё долго будете ходить.

Я подумал. Что я теряю, в конце концов. Наверное, это единственное, чего я ещё не пробовал. Схожу!

— Ладно, пошёл за медицинской помощью. Но если у меня получится, вы Павлу Сергеевичу не говорите, что санздание того... фиктивное. А то у вашей Лужиной неприятности будут.

— Да Павел Сергеевич несколько раз уж сам так летал. И ещё придётся. Зачем ему Татьяну Петровну подводить, если даже и узнает... Вы поторопитесь, а то он Рудницкого на Абчаду сейчас отправит.

До больницы в центре посёлка было минут двадцать пешего ходу. Я добежал за восемь. Нашёл кабинет Лужиной, она сидела за столом и что-то писала. Чтобы моя просьба выглядела как можно убедительнее, я посчитал нужным вкратце изложить ей мои долгие бесполезные похождения в аэропорт и попытку лыжного десанта, потом рассказал про голодные муки одинокого радиста, а в довершение назвал цифру: семнадцать дней.

— Осталась одна надежда на вас, — закончил я своё выступление. — А меня, если не улечу в ближайшее время, ещё и с работы могут выгнать.

Это я, конечно, загнул. Но репутация моя и так уже висит на волоске, и Вадим Семёнович, наверное, жалеет, что зря послушал Андрея и взял меня на работу. В таком случае лучше бы он действительно меня выгнал.

Татьяна Петровна, очень похожая на Лидию Смирнову в фильме Элема Климова про пионерский лагерь, терпеливо слушала, не перебивая, потом сказала:

— Понятно. Сколько лететь до вашего участка?

— Да полчаса туда и столько же обратно. Недалеко от Гоуджекита.

— Это недолго... Может, у радиста вашего действительно есть жалобы? Зубы не болят? Радикулит не мучит?

— Да здоров, как слон, в том-то и дело. Не жалуется.

— Хорошо, напишем: высокая температура, простуда. Врача посылать не будем, у него здесь работы много. Но будто бы он слетал, осмотрел больного, эвакуировал его в стационар. Это на случай, если кто спросит.

— Не спросит. Я же там останусь.

— Хорошо. Какая организация? Как фамилия нашего больного?

Она заполнила заявку на полёт и сказала:

— Подождите, сейчас у главного врача подпишу. Только я должна вас предупредить. — Она приглушила голос: — Мария Егоровна не должна знать, что на самом деле больного нет. Понимаете?

— Мария Егоровна?

— Суханова, главный врач. Мы стараемся как-то помочь людям в таких ситуациях, как у вас. А у неё с этим строго. Так что я надеюсь.

— Да я с ней вряд ли встречу, — ответил я. — Спасибо вам огромное.

Получив заявку с подписью главврача и печатью, я так же полубегом помчался в аэропорт. Неужели это делается так просто? Почему же раньше мне никто не подсказал? Ладно, Павел Сергеевич и Боря, им неинтересно, чтобы я у них время отнял. Но диспетчеры-то знали про эту возможность и молчали! Или просто не догадались? Это сегодня зашёл разговор на эту тему, вот Людмила и вспомнила. Не могла она раньше вспомнить! Впрочем, что теперь о том. Радуйся, что рейс наконец в кармане!

Я влетел в диспетчерскую.

— Татьяна Петровна мне уже звонила, — сказала Людмила. — Рудницкий садится в шесть пятнадцать, через десять минут. Я его предупредила. Груз у вас есть?

— Да продуктов немного. И свой рюкзак. Сейчас из камеры хранения принесу.

Тут я заметил Павла Сергеевича, сидевшего сбоку за большим столом с картой. Он внимательно её рассматривал, потом поднял глаза.

— Ну что, схитрил?

— Какое схитрил, человек у меня там заболел, — возмутился я. — Люди — они такие, они иногда болеют.

— Ладно, не заливай, что я, не понимаю... Лети уж.

И он вышел из диспетчерской. Я стал благодарить Людмилу за совет.

— Что бы я без вас делал!

— С вас шампанское, — рассмеялась она.

— Это когда вернусь, — пообещал я. — Сейчас уже не успею.

Но у меня ещё оставались кое-какие сомнения. И я задал Людмиле вопрос:

— А вдруг главный врач потом спросит: где больной, которого вертолётom должны были вывезти?

— Да не спросит, у неё других забот полно. Ни разу ещё такого не было.

— Но всё равно это же надо как-то оформлять? Как-то отчитываться, какую-то историю болезни придумывать...

— Не ваша это печаль. Делали же раньше. И теперь отчитаются. Или вы уже раздумали лететь?

Чего я, в самом деле, морочу себе голову? Получается, мне хотят помочь, а я ищу способы отказать. И я побежал в зал ожидания, занимавший левую половину «аэровокзала», где у стены стояло несколько секций автоматических камер хранения. Здесь же находились касса и стойка регистрации, но они ещё пустовали. Я нашёл свою секцию и ячейку в ней под номером тринадцать — моим счастливым числом, но когда хотел набрать код, которым закрыл ячейку, оказалось, что я его забыл. Это Стас мне посоветовал придумать надёжный и легко запоминаемый номер, чтобы никто не свистнул наше добро. Не «1-2-3-4» и уж, конечно, не год рождения. Дескать, он читал где-то, что мошенники, прикинув на глаз возраст обладателя багажа, спокойно откры-

вают дверцу и опустошают ячейку, когда он уйдёт. И хотя в зале тогда никого не было, я выбрал какое-то другое число, которое хорошо помнил. Но записать не догадался, а сейчас всё начисто вылетело из головы.

Я наугад попробовал несколько сочетаний, но безуспешно. Проклятая дверца не открывалась. Без продуктов лететь я не мог, а если бы стал перебирать все возможные комбинации из четырёх цифр, ушло бы несколько дней. Надо было как-то вспоминать код, а для этого восстановить в памяти все подробности. Вот мы занесли наши коробки в зал, Гуреев пошёл за оставшимися, а я в это время ставил коробки в ячейку. Гуреев принёс остальное, мы запихали это туда же, и я стал набирать код на внутренней стороне дверцы... Потом мы кое-как её захлопнули, для чего пришлось немного утрамбовать содержимое... Но какие же цифры я поставил?

Зрительная память у меня всегда была хорошая, но как я ни старался представить дверцу и окошечки с цифрами, ничего перед глазами не возникало. Это называется — от радости в зобу дыханье спёрло. Всё из-за кошачьего восторга от того, что решилась наконец моя проблема, которая вот уже столько времени не решалась... Ну какие четыре цифры я мог хорошо помнить? Может быть, номер гуреевской машины? И передо мной тут же будто высветилась облупленная надпись белой краской на борту: 22-73 ИРГ. Пощёлкав ручками шифратора и дёрнув на себя дверцу, я убедился, что мимо. Тогда что ещё? Может быть, мой городской адрес? Улица Карла Маркса, дом 29а, квартира 37. Набрал 2937. Бесполезно. Дата моего прилёта в посёлок? Одиннадцатое апреля, значит, 1104. Тот же результат. Что ещё, важное для меня, состоит из четырёх цифр? Нынешний год?..

Хлопнула входная дверь, послышались шаги. Я выглянул из зала — это прошёл в диспетчерскую Рудницкий. Надо идти.

— Здравствуйте, — сказал я ему в спину, войдя следом.

Он ответил, не оборачиваясь:

— Здорово! — И спросил у Людмилы: — Куда летим? Где врач?

— Врача не будет, Юрий Анатольевич, — сказала диспетчер. — Вот ему очень надо, — и показала в мою сторону. — Он уже семнадцать дней не может улететь. То ПОХ, то геологи...

Рудницкий наконец взглянул на меня. Но и виду не подал, что вспомнил, как я разозлил его вчера своим предложением.

— Понятно, — сурово сказал он. — Сколько груза?

— С грузом заминка, — ответил я, ожидая грозы. — Килограмм сорок, но он в камере хранения...

— Ну так получай и тащи к вертолёту, — распорядился Рудницкий, не дослушав. — Где точка, покажи, — и он развернул свой планшет.

Я подошёл и ткнул пальцем.

— Наколи. Ну, карандашом отметить. Вон карандаш у Людмилы возьми... Так, квадрат тридцать два девятнадцать, — и Рудницкий сел за стол измерять азимуты маршрута.

Вот оно, озарение и спасение! Ну конечно, 3219. Именно этот шифр я и набрал тогда на дверце ячейки. Мне же в один из первых дней назвал номер нашего квадрата Хитренко, когда я показывал ему, куда мне надо улететь. И каждое утро по дороге в аэропорт я твердил его про себя. Как я мог его забыть?!

— Площадка обозначена? Снег утоптан? Флаг висит — ветер определять? — пытал меня Рудницкий, записывая цифры.

— Да всё должно быть, — заверил я его, выбегая из двери, хотя понятия не имел ни о чём об этом. На вертолёте я раньше летал... вернее, меня возили — только в армии, и то летом, и такими деталями я не обязан был интересоваться.

За три захода я перетаскал всё из камеры хранения к вертолёту и с помощью техника погрузил в салон. Подошёл Рудницкий, держа в руке какой-то прибор, и показал

мне на правое кресло в кабине. Сам утнездилился в левом и захлопнул дверцу. Прибор он закрепил на пружинных растяжках чуть сзади кресел, надел наушники, прижал к горлу ларингофон и запросил разрешение на запуск двигателей.

12

Вертолёт Ми-8, на котором нас забрасывали на границу, это большая и мощная машина. Не самолёт, конечно, но в нём на пролетающий за бортом мир тоже приходилось смотреть через круглое окошечко иллюминатора сбоку, как в самолёте. Кабина пилотов на «восьмёрке» в полёте обычно закрывается, а если и бывает открыта, то видишь только спину бортмеханика, который помещается на откидном сиденье в проёме дверцы. А в этом Ми-2 сидишь, как в легковушке, с той разницей, что кабина почти прозрачная. И когда вертолёт взлетел и стал набирать высоту, мне стало жутковато от открывшегося вокруг пространства, которое было совсем рядом. От него защищала меня только нижняя часть дверцы справа да панель приборов впереди. Особенно я опасался смотреть вниз, где под носки моих сапог подплывали всё уменьшающиеся дома посёлка, а потом скальные берега Байкала и гладкое ледяное поле, далёкий левый край которого терялся за торсом Рудницкого, облачённого в кожаную пилотскую куртку. Я боялся пошевелиться, словно сидел на бревне, перекинутом через пропасть. А Рудницкий, достигнув положенной высоты, ещё вздумал достать противосолнечные очки и стал протирать их, для чего штурвал, напоминающий невысокий посох с разными кнопками на набалдашнике, зажал у себя между коленями, чтобы освободить руки. Он протирал очки долго и тщательно, совсем не глядя вперёд, и я опасался, что он потеряет ориентировку или невзначай выпустит штурвал из... ног и машина свалится в какой-нибудь вертолётный штопор. Надев наконец очки и взяв штурвал в руку, он снял увесистый камень с моей души.

Оглядываясь в кабине, я посмотрел и на прибор, который установил Рудницкий перед полётом. В прозрачное окошечко было видно круглую стрелочную шкалу и сбоку от неё — перо самописца, чертившее линию на разграфлённом бумажном ролике. Линия от начальной точки постепенно поднималась вверх, потом стала горизонтальной. И я догадался, что это и есть тот самый барограф. Он записывал высоту нашего полёта. Ну конечно, ведь «баро» — это давление (как в слове барометр). Чем выше мы поднимаемся, тем меньше давление воздуха. И если будет непредусмотренная полётным заданием посадка, на барографе она отразится. Если бы я сразу про это знал, ни за что не полез бы к Рудницкому со своей дурацкой идеей.

Мы летели не прямым путём над тайгой и горами, а придерживались дороги, по которой ездили с Гуреевым. Я подумал, что так, наверное, и ориентироваться легче, и искать проще, если — тьфу-тьфу, конечно! — случится какая-нибудь авария. Было видно, как дорога со льда вышла на берег, потом внизу возникло несколько улиц будущего города. Немного не долетев до него, мы резко повернули направо, прошли над мостом через речку Тыю, и прямо по курсу открылась уходящая вдаль трасса стройки века, обозначенная широкой просекой в тайге и следами земляных работ на ней. Скоро впереди показалось множество крохотных домиков, и я понял, что это Гоуджекит. Справа от посёлка проходила белая заснеженная полоса той самой ЛЭП, где я так и не нашёл лыжню Андрея. Ещё правее простирался редкий лесок, а дальше начинались склоны хребта, прорезанные ложбинами распадков. Где-то среди них был и тот, в котором я хотел переночевать.

Рудницкий сверился по карте, заложил вираж направо, сунул мне планшет и, наклонившись в мою сторону, сквозь шум двигателей прокричал:

— Показывай, где садиться.

Вот это номер! Я-то считал, что раз он за штурвалом, то это его дело — вести маршрут до самой посадки. Зачем тогда я ему точку на карте «наколел»? А оказывается, я ещё сам эту точку с воздуха искать должен.

Я посмотрел вниз, на заснеженные склоны, потом на планшет. Надо было прижаться к местности, но я не находил внизу ничего похожего на то, что было на карте вокруг моей карандашной точки. Карта нарисована коричневым да зелёным с синими нитками рек и голубыми кляксами высокогорных озёр, а сейчас внизу всё было белым. И я прокричал ему в ответ, что не был здесь ни разу, а из-за снега сориентироваться не могу. Рудницкий хмуро посмотрел на меня, забрал планшет и несколько раз поглядел то вниз, то на карту. Но, видно, он и сам не мог сообразить, где на местности искать мою точку, потому что начал змейкой летать туда-сюда. После нескольких зигзагов в окне дверцы справа от себя я углядел еле заметную синеватую струйку дыма, косо выходящую из-за перегиба склона, и тронул его за локоть. Мы полетели в ту сторону и скоро увидели под собой два почти полностью занесённых снегом, как на Даване, домика, один из которых и пускал в небо дым.

— Здесь? — осведомился Рудницкий.

— Наверное, здесь. Больше нигде, — пожал я плечами.

Вертолёт сделал круг, снижаясь, и прошёл над лагерем. Я видел, как из домика вышел человек и замахал руками. Рядом прыгала и лаяла собака. Чуть дальше мы с Рудницким почти одновременно заметили большой квадрат, очерченный на снегу серыми прерывистыми полосами. Похоже, Альберт обозначил площадку золой из печки. Флага нигде не наблюдалось, но направление ветра можно было определить по дыму из трубы. Видимо, Рудницкого удовлетворило увиденное, и после разворота он, замедлив скорость, стал плавно спускаться. Подняв снежную вьюгу у самой земли, мы мягко сели.

Возле вертолёта, отворачиваясь от ветра, поднимаемого винтом, маячил Альберт. Я вылез из кабины и стал выгружать на снег продукты. Когда осталось вытащить рюкзак и распрощаться с Рудницким, подошедший Альберт залез в салон и протянул мне бумажный листок.

— Здравствуйте! Радиограмма пришла сегодня, — громко сказал он мне в ухо. — Вам обратно надо лететь.

— Привет! Что такое? — я стал читать. Однако каракули Альберта вообще не поддавались расшифровке, это было даже не «курица лапой», а гораздо хуже. И я попросил, чтобы он рассказал на словах, в чём там дело.

Оказалось, Андрей ехал на такси и попал в аварию. С переломом ноги он лежал на вытяжке в больнице. И проект работ писать стало некому. Поэтому Вадим Семёнович передал Стасу, чтобы я вылетал в город и брался за проект. Но Альберт и сам был на связи, всё слышал и, как мог, записал на всякий случай. В компанию к нему вместо меня собирались прислать кого-то из техников, отбывших свою вахту раньше.

Рудницкий не глушил двигателя, собираясь сразу же улететь, как я выгрузюсь, просто убавил обороты. И нетерпеливо оглядывался на меня, дожидаясь, когда я покину вертолёт. Но я сказал ему, что обстановка изменилась, и попросил подождать минут пять.

— Как настроение? — спросил я Альберта. Он кисло-сладко улыбнулся. Перспектива ещё неизвестно сколько времени оставаться в полном одиночестве (не считая Шарика) не вызвала у него прилива бурной радости.

— Ладно, не переживай, — я попытался скормить ему хоть небольшую порцию бодрости. — Люди по двадцать лет в одиночных камерах сидели. А у тебя тут прямо курорт. Бакуриани! Продукты теперь есть, всего понемногу. Что ещё нужно для счастья!

— А вы книжек каких-нибудь привезли?

— Так ты же не просил книжек.

— Да сегодня посмотрел — остались только детективы. Я их не люблю.

— Там журналов я положил несколько штук, тебе хватит пока... Ну ладно, не скучай. Нам лететь надо. Давай.

Я хлопнул Альберта по плечу, устроился в кабине и объяснил Рудницкому новую ситуацию.

— Ну ты и баламут, — сказал Рудницкий. — То даже зайцем хотел лететь, а то сразу назад наострился. Прокатился на халяву по санзаданию.

И он перевёл двигателя на взлётный режим. Я ещё раз попытался сквозь рёв моторов втолковать ему, что он сделал неправильный вывод, потому что я не сам решил возвращаться, а мне начальство приказало, и что слетали мы всё-таки не зря: снабдили радиста продовольствием и вообще провели человека, порадовали общением. Но Рудницкий делал вид или действительно был сосредоточен на пилотировании и меня не слушал. Получалось, что я оправдываюсь, а он не желает моих оправданий принимать. Везёт же мне попадать в неудобные положения. И наверняка в аэропорту Рудницкий ещё и Людмиле расскажет, как я доблестно придумал причину не оставаться на участке, да и Лужина потом как-нибудь узнает. Не будешь ведь каждому объяснять, как там было на самом деле.

Ладно, это всё чешуя, как говорил в армии капитан Киреев. Надо сразу же, как прилетим, идти в кассу за билетом на самолёт до города. На сегодня вряд ли я возьму, а вот завтра, может быть, уже буду дома... Но радости почему-то не было. Две с лишним недели потратил на то, чтобы организовать этот рейс на участок, а слетал, получается, впустую. Разве что Альберту разносолов привёз баночных. Величина затраченных усилий не оправдывала результата. Хотя, с другой стороны, какой смысл был бы в моём сидении среди снегов, когда в городе столько работы? Нет, что ни делается, всё к лучшему.

13

На обратном пути я уже стал немного привыкать к почти полной открытости передней полусферы пространства. Если бы не работающие двигатели, можно было бы представить, что находишься внутри большого пузыря, который чуть подрагивает и летит по воле ветра. Жаль, что всё укрыто снегом, всё однообразно. Белые складки гор и чёрные магнитные опилки леса у их подножия. Небо тоже белое, по нему полосами и пятнами размазана сплошная облачность, солнца не видно. Ничего, весна уже и здесь на подходе, скоро снега потекут ручьями, вылетят первые бабочки, проклюнется трава. Откроются синие речки и ледниковые озёра, зазеленеют леса, горы будут коричневыми, серыми, жёлтыми... Может, здесь, под этими снегами, прячется скрытое в недрах земных месторождение, которое мне ещё предстоит найти. И лет через сорок молодые геологи будут листать мой итоговый отчёт, рассматривать карты и разрезы и говорить между собой: «Это же тот самый Рубахин, который сейчас на пенсии. Я его несколько раз видел. Могучий старик!...»

Предаваясь мечтаниям, я боковым зрением всё же заметил, что Рудницкий что-то говорит, но не мне — видимо, отвечает на вызов диспетчера. Разговаривал он минуты три, после чего достал откуда-то сбоку и передал мне такую же, как у него, переговорную гарнитуру — ларингофон и наушники, чему я весьма удивился: до этого он молчал, будто и нет меня в кабине. А тут вдруг решил потолковать с удобством, чтобы не мешал шум моторов. Я надел наушники и услышал:

— Пришла заявка на срочное санзадание. Что делать будем?

— А что тут надо делать? Летим же. Когда сядем, я выйду, а вы с врачом полетите, куда надо.

— В диспетчерскую звонила Лужина и сказала, что Суханова сама полетит. Она к вертолёту приедет с санитарной машиной — встречать нас. Если она увидит, что на борту врача нет, больного нет, всем кранты. И Лужиной, что врача не отправила. Значит, она знала, что больного нет. И мне, что я без врача полетел. Значит, я тоже знал. И тебе за ложный вызов. И, может быть, Людмиле — это же наверняка она тебе подсказала. Сам бы ты не додумался, — Рудницкий не упустил случая хоть как-то уколоть меня.

— Чего это она сама лететь собралась? Могла бы кого другого отправить.

— Кого она отправит? Там роды сложные, в Куморе. А она единственный акушер в больнице.

— Откуда вы знаете?

— Оттуда. Я тут пятнадцать лет летаю.

— А чего же она до последнего тянула? Ну эта, которая рожает. Могла бы заранее в больницу приехать.

— Я уж не один раз таких вывозил. У них дома дети, хозяйство. Да и многие надеются, что сами справятся. Или бабок местных зовут. А по нашим дорогам с животом ехать... Короче, надо что-то придумать.

— А что тут можно придумать?

Рудницкий не ответил. Потом минуты через две сказал:

— Всё-таки хорошо, что ты обратно полетел. Я так соображаю, что тебе надо больным прикинуться... Вон и борода у тебя. Как будто долго в горах пробыл.

— Какой смысл? Врача ведь с нами нет. Суханова сразу всё поймёт.

— Ты слушай дальше. Я сейчас передам, чтобы врач на посадке ждал. Я сяду чуть подальше, он подойдёт с другой стороны, и мы, будто все вместе только что вылезли из вертолёта, пойдём к выходу с поля. А ты изображай больного. Главное, чтобы она увидела, что больного привезли, а не просто так слетали.

Да, Рудницкий, пожалуй, прав, и другого выхода нет. Но как быстро он всё обдумал! Ещё тот комбинатор! Никогда бы не подумал, что он способен замыслить такую инсценировку. Конечно, если надо спастись, и не такие способности прорежутся.

Я сказал:

— Там написали, что простуда. Кашлять-то я смогу, а температуру же сам себе не подниму.

— Вот и кашляй. А температура упала, когда врач таблеток дал.

— Но меня же в палату положат! А мне надо в город лететь, срочно. Я же вам говорил.

— Ну, сбежишь как-нибудь. А вообще кончай отговорки придумывать. За то, что слетал бесплатно, можно и пострадать немного. Сколько народу тебе помогало, а ты кобенишься.

Это он мне в самое яблочко попал. Конечно, я им всем обязан. И хочешь не хочешь, придётся сыграть хворого. Я попробовал покашлять. Рудницкий тут же посоветовал:

— Ты громче кашляй, с надрывом, понатуральнее. И глаза руками потри, чтобы покраснели.

— Может, мне уж помереть сразу, для натуральности? — разозлился я.

— Было бы неплохо, — отозвался гад Рудницкий. — Только нам отвечать придётся, что тебя живого не довезли. Так что погоди помирать пока.

Мы летели уже над побережьем Байкала. Минут через тридцать, если всё пройдёт гладко, меня увезут в больницу. Как ни прикидывайся, но любой врач, даже студент-медик, сразу поймёт, что никакой простуды нет. И в палату меня, конечно, не положат. И закатят скандал. Хорошо, если удастся поговорить по душам, воззвать к понима-

нию, чтобы не доложили потом Марии Егоровне. А если не удастся, у всех будут большие неприятности. Но как их избежать наверняка, я придумать пока не мог.

Впереди по курсу показались портовые краны, напоминавшие пару журавлей. Рудницкий начал снижение. Справа поплыли вершины сопок, вытянувшиеся в цепочку хребта вдоль берега, а впереди и слева виднелись улицы посёлка, и я нашёл на его краю наш огороженный бывший пустырь, где была теперь короткая улочка из щитовых домиков. Там, наверное, догадались, что я улетел, потому что долго уже не появлялся. И поскольку Стас слышал по радию, что мне пришла команда возвращаться в город, может быть, уже и дожидались меня из аэропорта. Но мне надо было и дальше играть экспромтом ту пьесу, что мы начали представлять каких-нибудь полтора часа назад. Её течение теперь развивалось независимо от нас, согласно законам жанра, который мы выбрали. И если начало пьесы было мажорным, то середина становилась драматичной. А ещё неизвестно, каким будет конец. Только мне в этой пьесе уже понравились все роли, и особенно моя.

Рудницкий посадил вертолёт метров за пятьдесят от обычного места. От забора, огораживающего лётное поле, отделился человек и побежал к нам. Это был мужчина лет сорока, в очках и с короткой чёрной бородкой. Под демисезонным пальто был виден белый халат. Всё пока шло, как задумал Рудницкий. Врач открыл дверцу салона, которую не было видно со стороны «аэровокзала», и залез в вертолёт. Рудницкий сказал мне, чтобы я тоже перебрался в салон, прибавил оборотов и покатился к месту стоянки по земле.

— Привет, Анатолич, — врач протянул руку пилоту. — Сухановой в порту ещё нет. Так что всё обойдётся, думаю... Вон она едет, — показал он на светло-серый «уазик-таблетку» на улице, ведущей в аэропорт.

— Вот это твой больной, Слава. Потянет? — спросил его Рудницкий.

— Сойдёт, — взглянув на меня, ответил Слава. — Сейчас выйдем, ты опирайся мне на руку, будто идти тебе трудно. Ну и кашляй, конечно.

— Да я-то покашляю, — дал я обещание. — Только вы же знаете, что я здоров. Может, сразу и отпустите?

— Ну ты меня не подводи. Я должен довезти тебя до больницы и сдать терапевту. А там уж сам действуй по обстановке.

Вертолёт остановился. Мы подождали, пока перестали крутиться винты, и вышли. Слава поддерживал меня под локоть, а я периодически кашлял, сгибаясь и тряся головой. К вертолёту подъехал санитарный «уазик». Из «таблетки» вышла женщина средних лет, невысокая и чуть полноватая, со строгими не улыбающимися глазами, и я понял, что это и есть главный врач Суханова.

— Ну что, Вячеслав Аркадьевич, как состояние больного? — озабоченно спросила она.

— Ничего страшного, Мария Егоровна. О-эр-зэ. Я дал ему жаропонижающее. Жить будет.

— Ну хорошо. В пятую палату его, там сегодня место освободилось. Вера Сергеевна сама ещё его посмотрит... Юрий Анатольевич, летим?

— Сейчас заправят нас, и полетим, — подтвердил Рудницкий.

— Давайте быстрее, там очень серьезно.

Она ещё что-то говорила, но я не расслышал, потому что Слава затолкал меня в «уазик», и мы поехали.

В больнице я лежал всего два раза. Первый раз — в глубочайшем детстве, когда я себя ещё плохо помнил. Мама позже мне сказала, что у меня была корь. Что это такое,

я и по сей день не знаю. Второй раз врачи взялись за меня в пионерском лагере, где из-за простуды я попал в «изолятор» — почему-то так называлось там медицинское заведение. Пробыл я в нём недолго, но осталось в памяти чувство тоски и несвободы. Ведь ребята из моего отряда каждый день играли в лапту и футбол, ходили купаться на речку, а вечером смотрели кино про войнушку или про шпионов. Меня же в это время медсёстры кормили какими-то горькими порошками и ставили градусник. А ещё я жутко скучал от безделья.

В общем, больница запомнилась мне как нечто неприятное, хотя и необходимое. А здесь к тому же предстояло моё скорое разоблачение как симулянта, и теперь, обеспечив алиби тем, кто организовал мне липовый санрейс, я оставался единственным виноватым в том, что вызвал санитарный вертолёт к себе, здоровому, и бесстыдно ввёл в заблуждение всех: и заведующую санавиацией, и пилота, и врача Славу. И даже главного врача, подписавшую заявку на полёт. Людмила была ни при чём, она только совет дала, а воспользоваться им или нет, я сам решал.

Я прикидывал, какие могут быть от этого последствия. Конечно, меня не убьют за то, что я притворился больным. В лучшем случае я объясню, что действовал так по необходимости. И даже если с нашей организации взыщут стоимость полёта, я не расстроюсь. Это будет справедливо, ведь работа сделана и груз доставлен. Но в худшем случае, если Суханова опоздает к роженице в Кумору, может начаться расследование ложного вызова. И наверняка ничем хорошим для меня оно не закончится. А кроме того, всё равно мы получим сильный удар по репутации нашей партии, и Вадим Семёнович будет очень недоволен. Так что, пока мы едем, надо что-то изобрести...

И тут я вспомнил, что Татьяна Петровна, когда я рассказал ей про свои проблемы, спросила про зубы у Альберта. И про радикулит. А что, это идея. Не безупречная, но надо попробовать. Радикулит, конечно, не прокатит, у меня никогда его не было, и я не знал, как его на себе показать. Да ещё, может быть, его тоже надо лечить в стационаре, а мне надо срочно в город. Поэтому остаётся только одно...

Машину сильно трянуло на ухабе, и я треснулся головой о потолок салона. Поездишь по таким дорогам, и придумывать себе ничего не надо. А у меня, по-моему, дупло внизу справа намечается. Теоретически оно могло же заболеть? Могло. Ну и вот.

Подъехали к больнице. Слава вывел меня из машины, посадил в вестибюле на стул у стены, сказал подождать, а сам ушёл куда-то. Никаких терапевтических, хирургических и прочих отделений, как в городе, здесь не было. В общем коридоре прогуливались ходячие больные: кто на костылях, кто с повязками, кто без них. У окна разговаривали между собой две беременные. Меня так и тянуло сбежать, но надо было всё-таки попытаться одним махом загладить все углы.

Появился Слава с какой-то докторшей. Видимо, это и есть Вера Сергеевна. Ну что ж, будем играть до конца.

— Вот он, — показал Слава на меня. — Ну, я пошёл.

И он быстро скрылся. Вера Сергеевна сказала:

— Пойдёмте.

Мы зашли в какой-то кабинет, и докторша предложила мне сесть. Я сел и схватился за правую щеку, нарисовав на лице страдание, даже издал стон.

— Что, у вас ещё и зубы? — спросила Вера Сергеевна, стряхивая градусник.

— Почему «ещё»? У меня только зуб и болит, — проговорил я, не разжимая рта, — со вчерашнего вечера.

— Погодите, — Вера Сергеевна замерла в недоумении. — Мария Егоровна сказала мне, что прибудет больной с простудой. Уже и место вам приготовили в пятой палате.

Я сыграл удивление:

— А вы разве не стоматолог?

— Я терапевт.

— Да нет у меня никакой простуды. Зуб болит, просто невыносимо...

— Вы что, издеваетесь?

— Послушайте. Сегодня утром радист на участке при мне передал: «острая зубная боль». А здесь, в посёлке, другой наш радист, видимо, не разобрал. Может, помехи были, искажения...

Докторша подозрительно посмотрела на меня:

— Как это можно настолько всё перепутать?

— Бывает, и не так ещё путают, — заверил я её. — Как в анекдоте про английский язык: пишется «Манчестер», а читается «Ливерпуль». Так и у радистов: передают одно, а слышится иногда другое. А морзянкой мы не работаем.

И, видя на её лице сомнение, я открыл рот:

— У меня дупло справа внизу. Болит, как сверло заворачивают. Я ночь не спал, анальгина съел две упаковки — не помогает. Вот и решил вертолёт вызвать.

— А что же Вячеслав Аркадьевич мне ничего не сказал? И почему сразу не отвёл вас к стоматологу, а позвал меня?

— Не знаю... Может быть, чтобы вы место в палате для меня не держали. Но когда он прилетел и узнал про зуб, то не удивился. Сам же первый и предположил, что это радист неправильно понял.

Интересно, сказал бы Станиславский, посмотрев на меня сейчас, своё знаменитое «Не верю!»? Вряд ли. Я чувствовал в себе какой-то прилив вдохновения, внезапно открывшийся дар к импровизации. В эти минуты я понимал, почему на актёров сцена действует как наркотик. Хотя аплодисментов, конечно, я был недостоин. Уж это-то я знал точно.

— Ну что ж, — сказала Вера Сергеевна, — идите к стоматологу. У неё кабинет слева от гардероба по коридору. Найдёте?

— Конечно, — с гримасой боли кивнул я и вышел.

Ну всё, кажется, выкрутился! Надо было идти за билетом в аэропорт, потом домой, то есть к себе на базу, но я подумал: вдруг Вера Сергеевна, добрая душа, спросит у стоматолога так, между прочим, мол, заходил к вам геолог, бородатый такой парень, которого на вертолёте привезли? И если узнает, что не заходил, поймёт, что всё было разыграно. Я был уверен, что Марии Егоровне она не пожалуется. Но оставлять ей шанс понять, что она была так подло, на голубом глазу, обманута, я не мог.

Возле гардероба вполоборота ко мне стояла Лужина и разговаривала с кем-то. Я поздоровался, хотя мы виделись. Она прервала разговор и догнала меня:

— Так вы вернулись? Ну что, как ваши дела?

Ей, конечно, надо было узнать, всё ли прошло гладко в аэропорту. Я успокоил её:

— Всё нормально, Татьяна Петровна. Сначала я был простужен, а вот теперь у меня зуб заболел.

И я коротко рассказал ей всё, что было в санрейсе и после. Чтобы она знала, как себя вести, если будут вопросы.

— И Вячеславу Аркадьевичу скажите, — попросил я. — А то он ещё не знает про зуб.

— Ну спасибо вам, — она пожала мне локоть. — Кто же знал, что так получится.

— Это вам спасибо.

Пройдя дальше по коридору, я нашёл дверь в кабинет стоматолога. Возле него сидело несколько человек. «Ну вот, ещё и очередь», — расстроился я и спросил крайнего. Но к стоматологу были только два человека: пожилой мужчина и старушка, остальные хотели попасть к окулисту или к «ухо-горло-носу», кабинеты которых находились по соседству. Я стал ждать.

Грандиозная стройка, всё ближе подходившая к посёлку, пока никак не отразилась на районном средоточии здравоохранения. Здание, видимо, было ещё довоенной постройки. В одной его половине располагался стационар, в другой — поликлиника. Стены, многократно побеленные известью с добавкой синьки. Местами из-под штукатурки выпирала дранка. Пол из широких и, видимо, очень толстых плах, прошарканный так, что сучки выпирали на сантиметр. Двери в потёках ядовитой зелёной краски. Стёкла в двойных рамах с частыми переплётами кое-где треснули, а то и были выбиты. Совершенно туземная обстановка. И в такой обстановке врачи ещё умудрялись лечить людей.

Дождавшись своей очереди, я открыл дверь, спросил: «Можно?» и застыл на пороге. За столом сидела совсем юная симпатичная девушка. Наверняка у неё в дипломе ещё чернила не высохли.

— Входите, — пригласила девушка.

Я сел на стул сбоку от стола. Раньше мне уже приходилось обращаться к зубным врачам, и каждый раз это были крепкие мужики с волосатыми пальцами. Я так и считал, что стоматолог — это мужская профессия, ведь зубы дёргать — не цветочки рвать. А тут какая-то фифа.

— Что у вас? Лечение, удаление? Где карточка?

— Девушка, столько вопросов сразу... На какой сначала отвечать?

— Вы карточку в регистратуре взяли? — она была жутко строга, как все начинающие врачи.

— Вам уже нужна моя карточка? — начал скоморошничать я. — Извините, не успел сфотографироваться. Только что с вертолёта.

— Перестаньте клоуна разыгрывать. Ваша фамилия. Имя, отчество. Год рождения. Где работаете?

Она записала всё в тетрадь, потом спросила:

— На что жалуетесь?

— Жалуюсь на ваше невнимание. Вам с этого вопроса и надо было начинать. А вы — «фамилия, год рождения»...

— Я знаю, с чего надо начинать. Так что у вас?

— Девушка, вы, надеюсь, обращаетесь с больными не так, как в анекдоте? Врачи-ха в стоматологическом кабинете включает бормашину и говорит: «А помнишь, Вася, как ты в школе мне кнопки на парту подкладывал?»... Кстати, как вас зовут?

— Галина Юрьевна. Там в регистратуре написано. На стене график приёма.

— Я не через регистратуру. Я от Веры Сергеевны. Значит, Галина, и обязательно Юрьевна? А я Фёдор. Можно без отчества. И на «ты».

— Давайте всё-таки без шуток. А то я начинаю думать, что вы совсем на больного не похожи.

— Ты. На больного не похож. Ведь так лучше, правда?

— Послушай... те! Если у вас жалобы, давайте по существу, не отнимайте у меня время. Или я следующего приглашу.

Оттого, что она не подстраивалась под мой ёрнический тон и не отвечала на мою попытку флиртануть, у меня сладко заныло сердце. «Серьёзная девочка», — подумал я. Мне захотелось довериться ей во всём и рассказать, как мои благие намерения привели к тому, что я уже не могу управлять своими поступками и поток событий несёт меня неизвестно к какому финалу. Но тогда пришлось бы поведать ей и про филькину грамоту Татьяны Петровны, пусть это и было сделано по моей просьбе и из лучших побуждений. И даже если между ними хорошие отношения, Галина (ну какая она Юрьевна для меня!) не должна была этого знать. Мне оставалось только продолжать затянувшуюся пьесу.

— Следующего нет. За мной не занимали. Так что можете без спешки посмотреть на мой зуб. Внизу справа. Болит уже второй день.

Галина указала мне на кресло и начала исследовать мою нижнюю челюсть. Потом спросила:

— Давно болит?

— Я же говорил. Второй день.

— Что-то вы сочиняете, по-моему. Дырка есть, но очень маленькая, зуб крепкий, не шатается. И десна не опухла. Вера Сергеевна, говорите, направила?

— Ну да.

— Так сначала она вас осматривала?

— Да. У меня диагноз был ошибочный. Думали, простуда, а потом оказалось — зуб... Уже никакого терпения нет.

Галина взглянула на меня с сомнением, но я был совершенно серьёзен. Почему бы в самом деле не запломбировать зуб заранее, пока по-настоящему болеть не начал. Тем более что это хорошо бы проиллюстрировало необходимость моего вылета с участка. А ещё мне хотелось подольше посидеть наедине с... врачиней. Бог — богиня, граф — графиня... Я обрадовался своей находке. Так и буду её называть.

Галина отошла к столу, что-то полистала, потом вернулась и ещё раз спросила:

— Значит, болит?

Я готов был дать руку на отсечение, что в её глазах мелькнула весёлость. Всё-таки та-есть понемногу, врачиня. Конечно, строгость тебе идёт, но хочется посмотреть и на твою улыбку. И я её дождусь. Хотя одно будет утешение в сегодняшнем бестолковом дне. А полное утешение наступит, когда вернётся из Куморы Суханова. Или не наступит совсем.

— Болит, — ответил я.

— Придётся удалять, — заключила Галина. — Не бойтесь, сейчас укол поставим, больно не будет. Новокаин хорошо переносите?

Она достала шприц и взяла из коробочки ампулу.

— Пойдите, какой новокаин, — возразил я. — Вы же сами сказали, что зуб крепкий, не шатается.

— Удалять будем другой зуб. У вас зуб мудрости режется, и режется неправильно.

— Какой ещё зуб мудрости?

— Так называют последний в ряду зуб, восьмой. Он вырастает после всех других. Или совсем не вырастает. Но часто он растёт криво. Подпирает соседний зуб, и оба болят. Поэтому лучше сразу его удалить.

Она ещё и лекцию мне читала! Но несмотря на то, что она мне всё больше нравилась, терять зуб я не собирался.

— Знаете, — сказал я, — пока на зуб мудрости я не жалею. Мудрость мне ещё пригодится. Вы не можете удалить то, на что я не жалею.

— Когда станете жаловаться, будет поздно. Начнутся невыносимые боли. А вы в это время опять куда-нибудь на вертолёте улетите. Открывайте рот.

— Не открою. У меня даже больной зуб уже болеть перестал от вашего коварства.

— Испугались? Потому что он у вас сразу не болел, я же видела. Зачем вы меня обмануть хотели?

— Так и вы мне про зуб мудрости, наверное, преувеличили, — упрекнул я её. — Я вам анекдот напомнил, а вы сразу решили ему последовать.

— Надо было вас проучить. А то заходит в кабинет и начинает сказки рассказывать... Так зачем вы ко мне пришли? Бюллетень я вам всё равно бы не выписала, если вы этого хотели.

Интересно, долетела Суханова до Куморы или ещё нет? Сколько туда лёту? А может, уже возвращается?

— Бюллетень мне не нужен. Просто сегодня всё по-дурацки как-то идёт... Напишите, что зуб у меня удалили, или что там ещё нужно, и я уйду, — сказал я, пересев на стул.

— Зачем это вам?

— Ну пусть будет такая запись. На всякий случай. Иначе могут пострадать хорошие люди.

Не мог же я растолковывать ей, что этой записью полностью обеспечу себе легенду, по которой сейчас жил, как разведчик в глубоком тылу.

— Как это, «на всякий случай»? И кто может пострадать?

— Ну вам же ничего не стоит. Два слова: «удалён зуб». Его же не надо никому предъявлять. Или напишите, что укол поставили для снятия боли. Про укол-то можно?

— Написать всё можно, — сказала она. — Наверное, это вам очень нужно, но поймите... Я не могу сделать запись о том, чего не делала. Ведь это документ.

— И вы всю жизнь были такая правильная? И ничего не нарушали? Стойкий оловянный солдатик.

Галина взглянула на меня с каким-то сожалением.

— Если каждый будет считать, что можно хоть немного отступить от принятых правил, от законов, пусть даже и с доброй целью, это же всё разрушит... Не будет вообще никаких законов. Понимаете? Один раз можно, другой раз... И окажется, что можно всё!

— Хорошо, — сказал я. — Представьте ситуацию. Вот на войне прилетает самолёт к партизанам за ранеными. Он может взять на борт двадцать пять человек, а раненых больше. И пилот берёт и двадцать восемь, и тридцать человек. А если бы он...

— Это не война, и вы не раненый, — возразила она.

— Да не во мне дело! А в принципе.

Она не могла сделать для меня такую малость! В то время как я уже битый час прикидывался то простуженным, то страдающим от зубной боли. И не только ради себя, а ещё и выручая других.

Дверь в кабинет приоткрылась. Просунулась женская голова.

— Можно к вам? Я уже полчаса сижу, и никто не выходит.

— Сейчас я вас позову. У него трудный случай, — сказала Галина.

— Вижу я ваш случай. Свидания после работы устраивайте, — недовольно проворчала голова, но дверь закрылась.

Я поднялся со стула.

— Вот сейчас же вы слукавили. А два слова написать не хотите.

— У вас действительно трудный случай. И я, кажется, ничего не вылечила.

— Тогда напишите, что у пациента была зубная боль, но от испуга прошла, — сказал я. — Это почти так и было. По крайней мере, испуг был. И зубная боль могла быть.

16

Выйдя из больницы, я подумал и решил сразу идти в аэропорт. Здесь у меня почти не было шансов узнать, как всё прошло в Куморе. Спросить я мог только у Татьяны Петровны, да и то после того, как она сама узнает у Сухановой. Но был большой риск попасться Марии Егоровне на глаза, а ведь я должен был лежать в палате. Лучше я спрошу обо всём у Рудницкого.

Над посёлком взревел Ан-24 и взял курс на город. Я вспомнил, что этим самолётом должен улететь главный геолог со Снежного, которого привёз Рудницкий утром. Но то, что было утром — Боря, моё возмущение, совет Людмилы, — казалось, происходило очень давно. А лучше бы не происходило совсем. И вот как будто я опять иду в аэропорт узнавать, не вывез ли Павел Сергеевич всех своих охотников, и сейчас он мне скажет, что ещё не всех, а я буду возмущаться и в конце концов снова уйду ни с чем. И буду искать способы организовать себе рейс на участок. И хорошо, если кто-нибудь мне подскажет что-то совершенно другое...

Едва затих в небе гул самолёта, тут же застрекотала «двойка». Я ускорил шаг. Подойдя к аэропорту, я увидел, как из ворот выехал санитарный «уазик» и помчался в сторону больницы. Рудницкого я встретил, когда он шёл от вертолётки в диспетчерскую.

— Ну что, больной, уже сбежал? — устало сказал Рудницкий, когда я возник перед ним.

— Долго рассказывать, — ответил я. — Вы-то как слетали?

— Слетали...

— Что там с родами?

— Двойня у неё оказалась. Но живой только один. Второй совсем слабенький родился.

— Но это при вас было? Вы успели?

— Я же не ездил с Сухановой. Я на аэродроме ждал.

— Значит, она опоздала, — сказал я и остановился. — И опоздала из-за меня. Из-за моего будто бы санрейса.

— Да погоди ты! — Рудницкий тоже остановился. — Что ты расплакался? Она не говорила, что опоздала. Она этого не говорила, — отдельно произнёс он последнюю фразу.

— Вы так говорите, потому что сами чувствуете, что тоже виноваты. Вы же знали, что мы с вами не за больным полетели.

— Ну не к тебе, так на Абчаду бы я улетел, и что? Это намного дальше, чем к тебе. И с Сухановой мы полетели бы ещё позже. А ты со своим санзаданием, наоборот, мне время сэкономил. Мы ведь уже возвращались, когда я вызов в Кумору получил. Хуже было бы, если бы я на Абчаду ушёл. Далеко улететь бы успел.

— Это случайно получилось. А вас всё равно бы с полпути вернули.

— Ну вернули бы. И это было бы дальше. И Суханова тем более ничего бы не смогла сделать. Совсем слабый был пацанчик.

— Вас же там не было.

— Она сильно переживала. Сама мне всё рассказала. Я с ней уже сколько всяких разных вывез... Она сказала, что если бы в городе, то можно было бы спасти. А здесь почти ничего у неё нет... А так мать в порядке, девчонка более-менее в норме.

— Какая девчонка?

— Второй ребёнок. Я же говорю — двойня.

— Зря утешаете, — сказал я. — Всё равно не так мы сделали. Не надо было этого делать.

— Вот заладил! Я тебе ещё раз говорю, хорошо, что ты со своим санзаданием подвернулся. Иначе в Кумору мы точно могли опоздать. Тогда и девчонку бы она не спасла.

И он пошёл наконец в диспетчерскую.

А я побрёл к калитке. Ничего мне было не понятно. Правду ли говорил Рудницкий? Если правду, тогда, получается, нас всех награждать надо — за выдуманный санрейс, из-за которого хоть одна кроха жива осталась. И, выходит, ни к чему были мои вдохновенные лицедейства.

А если он опять, как тогда в полёте, на ходу придумал индульгенцию для всех нас, для нашей совести? Ведь некогда ему было высчитать, далеко ли бы он улетел в сторону Абчады и когда бы смог прибыть в Кумору. Надо же учесть, сколько времени ушло бы на заправку, какой был ветер: попутный или встречный, да и скорость этого ветра знать. Или он прикинул без вычислений, по опыту? Но как его проверить? Да и стоит ли делать это, если всё произошло так, как произошло, и ничего не изменишь?

Я не знал.

Сзади кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулся — Олег, милицкий сержант.

— Ну что, ветра и солнца брат, как дела? — подмигнул он. — Летал куда-то?

— Да нет, вертолёт встречал. А ты всё курильщиков ловишь?

— И это тоже. Вот скажи, почему нельзя потерпеть пять минут? Одни терпят, другие не могут. А правила одни для всех. Если их написали, значит, есть причина.

— Может быть, ты и прав... — сказал я.

— Вот! Ты же понимаешь... Ну, давай. Я в отдел побежал.

ПОЭЗИЯ



К 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ



Сквозь туман кремнистый путь блестит

* * *

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич — великий русский поэт. Родился 3 октября 1814 г. в Москве. В возрасте «полугоду» родители привезли его в Тарханы, имение бабушки Е.А. Арсеньевой, где получил серьезное домашнее образование, которое продолжил в Московском благородном пансионе. В 1830 г. поступил в Московский университет на нравственно-политическое отделение. В 1832 г. поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В ноябре 1834 г. Лермонтов был произведен в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. В феврале 1837 г. за стихотворение «Смерть поэта» был переведен тем же чином в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. 3 января 1838 г. Лермонтов возвратился из ссылки. 18 февраля 1840 г. за дуэль с сыном французского посланника Э. Де Барантом был арестован и заключен в Ордонанс-гаус, а затем снова выслан на Кавказ. На Кавказе Лермонтов участвовал во всех военных операциях, «удивляя своей удалью старых кавказских джигитов». 15 июля 1841 г. на дуэли с Н. Мартыновым Лермонтов был убит. Похоронен был на кладбище в Пятигорске, в апреле 1842 г. гроб с его телом был перевезен и перезахоронен в Тарханах на фамильном кладбище.

Родина

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

Ангел

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Парус

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит!..

Увы, он счастья не ищет
И не от счастья бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Бородино

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Всё шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рождён был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте же под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж, был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведаль враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны —
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!

Баллада

В избушке позднею порою
Славянка юная сидит.
Вдали багровой полосой
На небе зарево горит..
И, люльку детскую качая,
Поет славянка молодая...

«Не плачь, не плачь! иль сердцем чуешь,
Дитя, ты близкую беду!..
О, полно, рано ты тоскуешь:
Я от тебя не отойду.
Скорее мужа я утрачу.
Дитя, не плачь! и я заплачу!

Отец твой стал за честь и Бога
В ряду бойцов против татар,
Кровавый след ему дорога,
Его булат блестит, как жар.
Взгляни, там зарево краснеет:
То битва семя смерти сеет.

Как рада я, что ты не в силах
Понять опасности своей,
Не плачут дети на могилах;
Им чужд и стыд и страх цепей;
Их жребий зависти достоин...»
Вдруг шум — и в двери входит воин.

Брада в крови, избиты латы.
«Свершилось! — восклицает он, —
Свершилось! торжествуй, проклятый!..
Наш милый край порабощен,
Татар мечи не удержали —
Орда взяла, и наши пали».

И он упал — и умирает
Кровавой смертью бойца.
Жена ребенка поднимает
Над бледной головой отца:
«Смотри, как умирают люди,
И мстить учись у женской груди!..»

Атаман

1

Горе тебе, город Казань,
Едет толпа удальцов
Собирать невольную дань
С твоих беззаботных купцов.
Вдоль по Волге широкой
На лодке плывут;
И веслами дружными плещут,
И песни поют.

2

Горе тебе, русская земля,
Атаман между ними сидит;
Хоть его лихая семья,
Как волны, шумна — он молчит;
И краса молодая,
Как саван бледна,
Перед ним стоит на коленях.
И молвит она:

3

«Горе мне, бедной девице!
Чем виновна я пред тобой,

Ты поверил злой клеветнице;
Любим мною не был другой.
Мне жребий неволи
Судьбинушкой дан;
Не губи, не губи мою душу,
Лихой атаман».

4

«Горе девице лукавой, —
Атаман ей, нахмурясь, в ответ, —
У меня оправдается правый,
Но пощады виновному нет;
От глаз моих трудно
Проступок укрыть,
Всё знаю!.. и вновь не могу я,
Девица, любить!..

5

Но лекарство чудесное есть
У меня для сердечных ран...
Прости же! — лекарство то: месть!
На что же я здесь атаман?
И заплачу ль, как плачет
Любовник другой?..
И смягчишь ли меня ты, девица,
Своею слезой?»

6

Горе тебе, гроза-атаман,
Ты свой произнёс приговор.
Средь пожаров ограбленных стран
Ты забудешь ли пламенный взор!..
Остался ль ты хладен
И тверд, как в бою,
Когда бросили в пенные волны
Красотку твою?

7

Горе тебе, удалой!
Как совесть совсем удалить?..
Отныне он чистой водой
Боится руки умыть.
Умывать он их любит
С дружиной своей
Слезами вдовиц беззащитных
И кровью детей!

Ветка Палестины

Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветер в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?

Молитву ль тихую читали,
Иль пели песни старины,
Когда листья твои сплетали
Солима бедные сыны?

И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?

Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,

И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листья?..

Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занес?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих слез?

Иль, божьей рати лучший воин,
Он был с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?..

Заботой тайною хранима
Перед иконой золотой,
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!

Прозрачный сумрак, луч лампы,
Кивот и крест, символ святой...
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.

Два великана

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далеких чуждых стран.

За горами, за долами
Уж гремел об нем рассказ,
И померяться главами
Захотелось им хоть раз.

И пришел с грозой военной
Трехнедельный удалец,—

И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.

Но улыбкой роковой
Русский витязь отвечал:
Посмотрел — тряхнул главою.
Ахнул дерзкий — и упал!

Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.

* * *

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером или утра в час златой,

Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студёный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...

Молитва

В минуту жизни трудную Теснится ль в сердце грусть: Одну молитву чудную Твержу я наизусть.	И дышит непонятная, Святая прелесть в них. С души как бремя скатится, Сомненье далеко —
Есть сила благодатная В созвучье слов живых,	И верится, и плачется, И так легко, легко...

* * *

Гляжу на будущность с боязнью, Гляжу на прошлое с тоской И, как преступник перед казнью, Ищу кругом души родной; Придет ли вестник избавленья Открыть мне жизни назначенье, Цель упований и страстей, Поведать — что мне Бог готовил, Зачем так горько прекословил Надеждам юности моей.	Земле я отдал дань земную Любви, надежд, добра и зла; Начать готов я жизнь другую, Молчу и жду: пора пришла; Я в мире не оставлю брата, И тьмой и холодом объята Душа усталая моя; Как ранний плод, лишенный сока, Она увяла в бурях рока Под знойным солнцем бытия.
---	---

Пророк

С тех пор как вечный судия Мне дал всеведение пророка, В очах людей читаю я Страницы злобы и порока.	Посыпал пеплом я главу, Из городов бежал я нищий, И вот в пустыне я живу, Как птицы, даром божьей пищи;
Провозглашать я стал любви И правды чистые ученья: В меня все ближние мои Бросали бешено каменья.	Завет предвечного храня, Мне тварь покорна там земная; И звезды слушают меня, Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:

Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

Желанье

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Дайте раз по синю полю
Проскакать на том коне;
Дайте раз на жизнь и волю,
Как на чуждую мне долю,
Посмотреть поближе мне.

Дайте мне челнок дощатый
С полусгнившею скамьей,
Парус серый и косматый,
Ознакомленный с грозой.
Я тогда пушусь в море,
Беззаботен и один,
Разгуляюсь на просторе
И потешусь в буйном споре
С дикой прихотью пучин.

Дайте мне дворец высокой
И кругом зеленый сад,
Чтоб в тени его широкой
Зрел янтарный виноград;
Чтоб фонтан не умолкая
В зале мраморном журчал
И меня б в мечтаньях рая,
Хладной пылью орошая,
Усыплял и пробуждал...

Смерть поэта

Погиб Поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жадой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа Поэта

Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыдания,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправдания?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навёл удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьётся ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?... издалика,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?...

И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жадой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.

Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

.....

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью!
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Завещание

1

Есть место: близ тропы глухой,
В лесу пустынном, средь поляны,
Где вьются вечером туманы,
Осеребренные луной...
Мой друг! ты знаешь ту поляну;
Там труп мой холодный ты зарой,
Когда дышать я перестану!

2

Могиле той не откажи
Ни в чем, следуя закону;
Поставь над нею крест из клену
И дикий камень положи;
Когда гроза тот лес встревожит,
Мой крест пришельца привлечет;
И добрый человек, быть может,
На диком камне отдохнет.

Середниково. Ночью у окна.

Год культуры.

Литературные свидания



«В них слёзы разлуки,
в них трепет свиданья...»



Участники конференции: Т.И. Юрченко, заместитель директора государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в Пятигорске; О.С. Пугачёв, главный научный сотрудник музея-заповедника «Тарханы»; С.В. Шегебаева; В.А. Гаврилов, архитектор; Е.Л. Соснина, научный сотрудник музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в Пятигорске

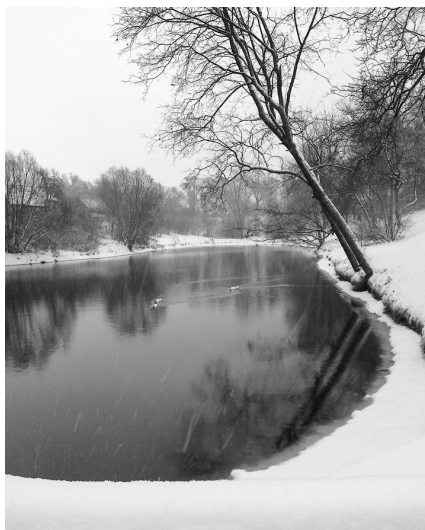
Нынче в октябре, в год 200-летия со дня рождения нашего великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, мне посчастливилось побывать в Тарханах, где я приняла участие в научно-практической конференции «Идеи и образы М.Ю. Лермонтова в мировой и отечественной литературе».

Имея несколько свободных часов времени в Москве до поезда в Пензу, я посетила Третьяков-

скую галерею, где умная, но по-московски самонадеянная экскурсовод на полтора часа погрузила меня в удовольствие узнавания широко известных шедевров живописи. А в конце экспозиции вывела нашу группу к полотнам Врубеля... Не помню, сколько времени провела я перед Демоном, обоими, уточню, Демонами, выискивая в палитре красок что-то потерянное, но очень мне необходимое, припоминая эффектно декламируемые когда-то моей мамой, обожавшей Лермонтова, строки: «Печальный Демон, дух изгнания... дух изгнания... дух...» И вдруг из самой глубины моего сердца, куда я боялась заглядывать лет ...надцать, вырвалось во всей первозданной красоте и силе:

*И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов...*

Ожидание свидания с Тарханами было для меня трепетным, и наполненность сердца поэзией я старалась не расплескать. Берегла это удивительное для меня состояние и в поезде, где все люди казались мне необыкновенно милыми, и в Пензе, где пришлось ожидать автобус из Лермонтова — так теперь называется имение, приобретенное когда-то бабушкой «Михайлы Юрича»... Знаете, мне так полюбилось



Один из трёх прудов, составляющих архитектурный ансамбль парка

это своёское проглатывание тарханскими крестьянами звуков при произнесении имени поэта — удержаться не могу! В произношение с понижением голоса и фиксацией лёгкой паузы на начальной букве отчества словно навсегда впечаталась народная любовь к ласковому баричу, абсолютно не выносившему — до припадков вновь и вновь возобновлявшейся болезни — порки подневольных людей... Забегая вперёд, кстати, позволю себе заметить: меня поразила любовь тарханцев к самому Лермонтову и полная антипатия к Екатерине Алексеевне Арсеньевой, его бабке. Между тем, эти люди до сих пор живут всеми теми промыслами, что она открыла для них; две войны пережили благодаря насаженным ею садам и поставленным на поток домашним ремёслам: пасака даёт мёд, пруды зарыблены, выращиваются все виды овощей, ветряная мельница перемалывает

местное зерно, выращиваются цветы, организован лекарственный огород, на котором культивируются специи, на конюшне содержатся лошади, в людских на станках до сих пор ткут полотно и дорожки... Впрочем, ведь и внук тоже не любил обожавшую его бабушку. Или — любил, но не успел научиться понимать? В его годы многие не могут и не желают вникать в суть поступков старших. Это теперь я по возрасту стою ближе к бабке, чем к внуку, потому и сужу по-другому; а ведь тоже не понимала свою мать, стыдно признаться, «жандармом в юбке», «Ниней Дмитриевной Бенкендорф» её называла... Капризный и балованный, мог ли «Мишенька» понимать, насколько любила его бедная старушка? Старушка?.. К моменту его рождения Екатерине Алексеевне было всего-то чуть-чуть за сорок!..

Я прогулялась по Пензе. Город поразил меня широким бульваром, который запахнулся площадью Ленина. Как выяснилось, ширь бульвара образовалась из нагромождения трёх перестроенных площадей... Я с лёгким злорадством помахала шестиметровому Владимиру Ильичу рукой и сфотографировала его. Но он, словно бы мне в отместку, как потом оказалось, не получил: было слишком темно, без вспышки изображение поплыло и размазалось...

Дождавшись транспорта из Тархан, я с удовольствием познакомилась с моими попутчиками, милейшими людьми, сплошь музейными работниками, наперебой приглашавшими меня посетить их учреждения. Но у меня совершенно не было на это времени, потому как билеты были приобретены «тютелька в тютельку». Весть, что я припожаловала в Пензенскую губернию аж из Иркутска, придавала мне чрезвычайно высокий статус в их глазах, поскольку сибиряки радуют их своими явлениями не так уж часто, и я внезапно и вполне законно испытала гордость за свой родной край и его культурное руководство, нашедшее мою идею посещения литературной конференции достойной внимания...



Памятник М.Ю. Лермонтову в Тарханах



Надгробье могилы М.Ю. Лермонтова

В Тарханах нам выдали по две гвоздики, и мы стайкой нахохленных воробьёв направились к часовне, возведённой безутешной бабушкой над захоронением её гениального внука. Возложили цветы на могилу Михаила Юрьевича. Не то чтобы я никогда раньше не видела печальной аллеики, обсаженной поникшими розами, — что я была бы за филолог! Однако и узкие дорожки, и запахнутый зев последней обители поэта, и перенесённая к нему поближе из Кропотова могила отца — всё было так искренне, так просто и так неутешно, что мне захотелось расплакаться. Вспоминалось невольно: «...и билось сердце в груди не одно, // И в землю все очи смотрели, // Как будто бы всё, что уж ей отдано, // Они у ней вырвать хотели...» Тайком смахивая слезу, я заметила, что пребываю в своём элегическом настроении не одна: люди рассеянно слушали дежурное повествование о единственном из всех вы-

саженных за несколько десятилетий и прижившемся над усыпальницей дубке, под которым лежит поэт. Ведь того и желал: «Надо мной, чтоб вечно зеленея, // Тёмный дуб склонялся и шумел...» Полноте! Мог ли 26-летний, исполненный сил молодой человек желать и готовиться к смерти? А стихи его?.. Что ж, что стихи! Это же образ, метафора, а не прямое волеизъявление!.. Я смотрела на отсыпанный песком четырёхугольник могилы Юрия Петровича, безутешного вдовца и обкраденного родителя, и у меня перехватывало горло от мысли, что вот, наконец, усилиями абсолютно посторонних людей и состоялось воссоединение этой семьи, упокоенной и примирённой хотя бы за порогом небытия:

*И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?*

Экскурсовод рассказала, что видимые нами роскошные цветы у надгробия — остатки от пышного букета из ста роз, которые недавно привёз из Москвы в Тарханы В.В. Путин.

Действующая церковь Михаила Архангела, как и не действующая — Марии Египетской, меня не впечатлили, но дом, построенный Василием Петровичем Стасовым, оказался лёгким и, опоясанный белоснежными лестницами, своими жёлто-золотыми боками почему-то напомнил мне Алёну Дмитриевну, героиню «Песни про купца Калашникова...»: «Ходит плавно — будто лебедушка; смотрит сладко — как голу-бушка...»

Среди гостей и участников конференции был архитектор В.А. Гаврилов, восставливавший Тарханы в 60-х годах прошлого века. Что уж греха таить, усадьба, которой статус музея-то был присвоен только в 1969 году, а в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации она была включена вообще только в 1997-м, пострадала очень сильно от времени, лихолетья,

от недобрых людей. Ветер свалил дуб, посаженный Михаилом Юрьевичем на берегу пруда, гроза разбила вековой вяз, росший возле дома и по этой причине служивший опорой для подвешенных к нему качелей, на которых качали маленького Мишу — сначала его верная мамушка, а затем честная сентиментальная немка-гувернантка. Дом горел, отстраивался, в нём совершенно не осталось вещей поэта, которые упорно раздавала его потерявшая способность двигаться и обезумевшая от горя бабка, не имевшая сил видеть предметы и людей, напоминавших ей об утраченном безвозвратно внуке; были уничтожены великолепные аллеи, неизменная принадлежность дворянской усадьбы, по которым прогуливался юный Мишенька, ещё не ставший Мишелем... В 1969–1971 годах их пришлось восстанавливать, и, надо сказать, я без раздумий встала бы на колени перед людьми, вернувшими былое великолепие дому и окружающим его садам, паркам, вдоль дорожек которых поставлены скамейки, трём прудам, через которые переброшены белые ажурные мостики, под которыми плавают утки.



Дом-усадьба Е.А. Арсеньевой, бабушки М.Ю. Лермонтова

В первый день конференции устроители повезли нашу «могучую кучку» на экскурсию в дом-музей, где мы были поражены и обрадованы сюрпризом, который преподнесла нам природа: золотая осень сменилась настоящей зимой. Легко одетые москвичи, не рассчитавшие капризов погоды, пострадали больше всех: мне было искренно жаль наблюдать, как они бредут по глубокому снегу в коротких, ниже щиколотки, ботиках. А снег всё сыпал и сыпал, огромные мокрые хлопья

ложились на плечи и таяли, отчего промокала и переставала греть одежда. Даже мой пуховик, которым я так гордилась, начал сдавать... Поднялся ветер, так и норовивший свалить с ног. Я потом спросила у старожил: «У вас всё время такие жуткие ветра?» На что мне ответили: «Вовсе нет! Это сегодня какое-то светопреставление!» Однако никто от экскурсии по саду не отказался. Да и как отказаться! Ведь ты — в Тарханах, в гостях у великого Лермонтова!

Конечно, многое оказалось скрытым от наших глаз, засыпано снегом, но как же прекрасна была тёмная вода прудов в обрамлении белоснежных берегов, как светились даже в пасмурном воздухе цветы и ягоды, облепленные словно бы сахарной глазурью! Как невероятно притягательны были липовые аллеи Круглого сада, застывшие в безмолвном приглашении посетить их!.. Я стояла и смотрела вдаль этой примагнитившей мой взор шеренги деревьев, не в силах отвести от неё взгляда, и уже готова была пойти туда одна, оставив коллег, спешивших в тёплый автобус, когда меня взяла за руку миловидная светловолосая женщина-гид:

— Не ходите туда сегодня, — сказала она, — вы переломаете себе ноги. Там на дорожках врыты кирпичные отводы для ручьёв и ручейков, которые весной изрядно разливаются... Не переживайте, мы вернёмся сюда на третий день!

На третий день, уже готовясь к отъезду, мы имели возможность прогуляться в Круглом саду. Снег сошёл, вернее, его сдуло. Было холодно, очень, очень холодно! Трава под ногами, прихваченная морозцем, шуршала и словно бы даже слегка звенела. Но аллеи стояли в золоте опавшей листвы, а между утоптанными и присыпанными



Аллея Круглого сада

ми дорожками вся земля сплошь была усыпана довольно мелкими, но невероятно сладкими яблоками. Мне некогда было собирать их. Я почти бежала, желая, наконец, обрести то, зачем приехала... Туман полностью рассеялся, и я увидела то, о чём мне говорил архитектор Гаврилов — я увидела простор!

И тогда я поняла, почему в этой усадьбе, в этой стране родился и вырос такой поэт, как М.Ю. Лермонтов... Великий Стасов создал шедевр, огранив ширь и естественную красоту русского простора стройностью и лаконичной декоративностью искусственных построек и насаждений, многократно усилив эффект того, что создала природа. Он подготовил душу гения для восприятия впечатлений от гор Кавказа, которые лишь срезонировали в душе, уже достаточно развитой для понимания и осознания величия и красоты мироздания. Да, гений

Лермонтова любил Кавказ и развитие получил именно там, но воспитан он был Тарханами!

Здесь всё дышит покоем, приглашает неспешно прогуляться по аккуратным дорожкам, присесть с книгой на одну из скамеек, дышать, думать, смотреть, писать. Вот именно — писать! Жизнь в Тарханах дала нашему замечательному поэту ощущение свободы и — одновременно — единения с природой, ощущение причастности к традициям предков. Разве не ради того, чтобы вдохнуть этот воздух, едут сюда люди и приехала из дальней дали я?

«Когда волнуется желтеющая нива... желтеющая нива... — шепчу я, раскручивая строчку стихотворения. — Тогда смиряется души моей тревога!.. И счастье я могу постигнуть на земле...»

— Здравствуйте, Михаил Юрьевич! Я — пришла к вам...

*Светлана ШЕГЕБАЕВА,
член Союза писателей России*



НИКОЛАЙ ЗАРУБИН



РАССКАЗЫ

Несмыслёныши

Сын приходил домой, раздевался и просил конфетку. Мать, едва глянув на него, молча подавала. Сын торопился развернуть бумажку, совал в рот. Конфеты для него имелись всегда, и все другие обитатели квартиры о том знали. Даже если сидели без хлеба, — конфеты были. И с этим никто не спорил. Заговори они о том, начни возмущаться, мать всем им даст надлежащий отпор. Нет, кричать и доказывать что-то не будет, она только обронит два-три слова — и все замолчат, понимая, что у неё всё одно и сил, и власти здесь больше, чем у кого-либо из них.

Сын не глядит на мать, мать не глядит на сына, но оба хорошо чувствуют друг друга. Он — её плоть и кровь. Она — его надежда и опора. Он — её нынешние страдания и болезни. Она — его всегдашняя тихая и надёжная пристань.

— Сергей, — спрашивает мать негромким спокойным голосом, — чайник включить?

— Ага, — отзывается сын так же негромко, будто вернулся из школы или с работы.

Электрический чайник закипает быстро, мать достаёт из шкафа кружку, наливает, придвигает к нему, сидящему по другую сторону стола.

— Есть будешь? — спрашивает так же негромко.

ЗАРУБИН Николай Капитонович, прозаик, публицист, поэт (род. в 1950 г. в г. Тулуне Иркутской обл.). Автор книг стихов и прозы: «*Сторона родная*» (Иркутск, 1997); «*Послужи земле*» (Иркутск, 2000); «*Осенние песни*» (Красноярск, 2007); «*Пока жива память*» (Красноярск, 2007); «*Тулун — центр Отчизны*» (Красноярск, 2007); «*Без села России не бывать*» (Красноярск, 2011). Член Союза писателей России.

— Не хочу, — отвечает сын.

— Может, всё-таки поешь? — повторяет она, не возвышая голоса. И добавляет: — Посмотри на себя: кожа да кости. Упадёшь где-нибудь...

— Не упаду. А упаду — туда мне и дорога.

Мать некоторое время молчит, затем встаёт, подходит к сыну, кладёт руку на плечо и, наклонившись к нему, тем же спокойным голосом говорит:

— Ты же вчера мне обещал, что сегодня останешься дома и никуда не пойдёшь. Позавчера обещал то же самое. И позавчера... Кончится у тебя это когда-нибудь?

Рука её начинает дрожать, сын опускает голову, бормочет:

— Сейчас не могу... Д-дай время...

— Ты же видишь, я тебя не тороплю: терплю уже три года, — снимает руку с его плеча, отходит на место и добавляет: — Утром я тебе отдала последние деньги, с чем завтра пойдёшь?

— Завтра — залягу, дома буду, — отвечает он неуверенно.

Во время их разговора на кухню заходят то дочь, то зять, что-то берут, наливают, мать успевает что-то сказать, а они ответить. По всему видно, что подобное повторяется каждый день — и ничего не меняется. К Сергею никто не обращается, но и он ни в ком не нуждается, ибо все слова здесь исчерпаны, и воздух квартиры напитан ожиданием. Чего? А кто ж его знает. Каких-то перемен, а вот каких — никто бы не сказал, наверное, каждый своих, или понимаемых по-своему. Дочь с мужем желали бы съехать, да некуда. Мать — чтобы случилось чудо и сын её стал таким, каким был три года назад. Сергей?.. Сергей, пожалуй, единственный, который ничего и никого не ожидает.

А беда в эту семью вошла незаметно. Вошла хозяйкой, поселилась надолго, зажила припеваючи. Беда не выбирала: в эту семью войти или в какую другую — ей было всё одно. Она привыкла входить в незапертые двери или, по крайности, влезать в окно. Было бы заделье.

Заделье нашлось. К учёбе в школе Сергей интереса не проявлял. К занятию какому-нибудь сердцем не прикипел. Родителям было не до него: они развелись, и каждый попытался устроить свою жизнь.

Около полугода назад мать потеряла работу. Возвращалась без привычной тяжести в руке, в которой всегда была сумка, — даже хлеба забыла купить. Смотрела безучастно, потерянно. Дома долго молчала, сняв пальто, прошла всё на ту же кухню, где и опустилась тяжело на табурет, стоявший между окном и столом.

Думала не столько о себе и дочери, сколько о Сергее. Она ещё не знала себя такой, вне работы. И вот её нет — всегдашней, нескончаемой, притомлявшей тело, притуплявшей душу, но желанной, как бывает желанен занимавшийся день, в котором много нужных семье хлопот. Когда те хлопоты выстраиваются в нескончаемую череду и каждая поджидает свой час, свою минуту, чтобы прилипнуть к рукам, заставить сгибаться и разгибаться спину, двигать ноги то в одном направлении, то в другом. Когда ты просто машина, которая не имеет права ломаться, потому что всегда надо куда-то кого-то везти. Когда надо выдавливать из себя остатние крохи сил, чтобы дотянуть до требуемой — человеческой ли, лошадиной, которой бы достало, чтобы всё превозмочь.

И она превозмогала, пока у неё была работа и было к чему приложить силы.

Мать долго сидела на своём месте, чувствуя, как тело её, от самой макушки до кончиков пальцев ног, всё больше наливается усталостью, какой никогда не приходилось испытывать, как бы день ни был переполнен хлопотами.

Явились дочь, зять, о чём-то спрашивали, и она отвечала, не касаясь главного и решив про себя, что никому ничего не расскажет, а завтра, чуть свет обежит, объездит все места, все закоулки города и найдёт работу новую, взамен потерянной, и никто ничего не узнает.

Больше всего ей не хотелось встречаться с сыном, и, может быть, впервые она раньше обычного ушла к себе в комнату, где разобрала постель и улеглась, отвернувшись к стене, — омертвевшая и безучастная ко всему.

И придвинулось утро, за ним другое, третье, десятое — и всюду натыкалась она на глаза холодные, на голоса чужие, на лица, похожие на маски, какие бывают на надгробных памятниках.

И начало казаться, что и сам город будто вымер, и машины по улицам движутся как бы сами по себе, а в автобусах просто обряженные в одежды механические куклы.

И в ней самой что-то начинало ломаться, портиться, стираться и пролилось однажды скупыми слезами из почти сухих глаз, когда человека бережно берут под руки и ведут куда-нибудь к дивану, где усаживают, подают стакан воды.

— Ой, Людочка, а меня сократили, — призналась она обнявшей её за плечи дочери.

— Успокойся, мы уже знаем.

— Откуда? — встрепенулась мать.

— Тётю Машу видела, она и сказала.

— Да просила ж я ничего вам не говорить.

— Мы бы и так догадались: приходишь вечером — лица на тебе нет. Я уж и не знала, как к тебе подступиться...

— И Серьга знает? — встревожилась вдруг.

— Ты о себе подумай, о нас подумай, о внучке, — не сдержалась дочь. — Посмотри на себя в зеркало: тебе только сорок, а выглядишь шестидесятилетней старухой. А ему-то что...

— Нельзя так, Люда, — остановила её мать. — Он — брат тебе, а мне — сын. В беде он, помогать надо друг другу.

— Деньги да жилы тянуть каждый день. Вот я напишу бабушке, пусть приедет, посмотрит на внука, — не уступала дочь. — Что ни делали — всё, как в прорву. И по-доброму, и по-худому...

— Вот потому я и ищу работу, — ещё твёрже произнесла мать. — Не на твоей же шее сидеть. У тебя семья, свои заботы. А я как-нибудь сама с ним, может, одумается...

— Одумается, как же...

Подобно воде проскользнул сын между пальцами. Подобно ветру прошелестел листьями. Подобно земле лёг под асфальт большого города. И нельзя, невозможно собрать по каплям. И нельзя, невозможно быть быстрее ветра, чтобы опередить и не пустить туда, откуда не возвращаются. И нельзя, невозможно вызволить из-под тяжёлых железных катков, обряженной насильственно в камень живородящей земли, из коей не произрасти ни злаку, ни горькой полыни.

И она, мать, неведомо в кого верующая и незнамо кого призывающая себе в помощь, одна-одинёшенька со своей бедой-немощию, ввалившейся в самую середину её сердца трепетного, то ли в день хмурый декабрьский, то ли в ночь тёмную безлунную.

Ходила тенью — просила, а то и прикрикивала. Напрасно ожидала, обмирая от стука ли чьих-то каблучков, хлопанья ли чужих дверей. Протёрла глазами стеклины окон квартиры, высматривая до головокруженья, до подступающей тошноты, не покажется ли фигура исхудавшего Серьги из какой подворотни. Кляла всё и вся, а более самое себя за то, что не уберегла, не оградила кровиночку от худого. Не знала покоя ни минуточки.

Куриль начал рано — примирилась, даже давала на сигареты, с тревогой поглядывая на некоторую резкость в движениях, вслушиваясь в разговоры таких же, как и он, юнцов, которых иной раз приводил с собой. Бывало, проверяла карманы, не находя в них ничего такого, что бы могло насторожить, при этом не допуская мысли, что Сергей или, как она его называла Серьга, может ввязаться в нечто нехорошее, чего потом надо будет бояться, от чего надо будет ограждать, оберегать, с чем надо будет бороться

ся, прилагая к тому все свои силы, и — отступить, может быть, даже отступить и принять всё как есть.

Большой город гудел нестройно и враждебно. Гудел дорогами, шарканьем множества ног, ударами многих дверей подъездов, телевизорами и голосами многих квартир в высотном доме, где они проживали, вырвавшись каких-нибудь пару лет назад из клетки малосемейного общежития и ещё не насладившись относительным покоем, какой гарантировали четыре крепких стены, выходящие на четыре стороны света.

Большой город взрывался страстями, но взрывы эти чаще не выходили за пределы всё тех же четырёх крепких стен квартир и потому потрясали каждую семью в отдельности, не достигая волной своей лестничных клеток, а уж тем более, не вырываясь наружу из дверей подъездов.

Потом люди выходили на улицу — настороженные, взъерошенные изнутри, но с маской равнодушия на лице. Выходили по своим делам, и если бы можно было достучаться до одного, другого, третьего... «Куда, мол, спешите, милые?» — изумился бы никчёмности дел, низости потребностей, мелкости тех страстей. Гнала же невозможность находиться вместе с матерью, сестрой, братом, женой, мужем. Разобщённые и одеревеневшие к болячкам своих близких, а уж о чужих и вовсе запамятававшие, люди города шли незнамо куда.

Большой город во всю лез из себя, чтобы казаться благополучным. Яркими вывесками, широкими автодорожными магистралями, вычурными фасадами домов, карикатурно-яркими железинами, мчавшими будто бы по делам, но всё одно куда, лишь бы мчаться и ошеломлять всех тех, кто пожиже «зелёными» в кармане и не может позволить себе так же лететь, едва касаясь асфальта, чёрными пупырчатыми шинами колёс.

Большой город весь был замешан на лжи. Весь был ложь: крашеными ртами, кожаными юбками и куртками, крикливыми окнами магазинов и забегаловок, перекинутыми через плечи ремнями сумок, сотовыми телефонами, многими миллионами размалёванных упаковок, в которые, якобы, было запрятано нечто, очень вам нужное, а на поверку — пустое, одноразовое, как туалетная бумага.

И этим большой город был невыразимо жесток, готовый во всякую минуту смять, стереть, размазать, преобразовать в жалкий бесформенный комок той же туалетной бумаги и выплюнуть, выхаркнуть в приткнувшуюся подле фонарного столба урну. Даже просто выплеснуть кроваво-грязной лужицей на жаркое тело асфальта и тут же растащить колёсами — без какого-либо следа, без какого-либо сожаления, а уж тем более сострадания.

О сострадании большой город и не слыхивал. Может, и домучивало оно свой век среди жидких полей и блеклых скособочившихся берёз в жалких деревенских лачугах, да и то далеко не во всех, а в тех, что поплоче, пониже и покривее. Может, уже и успело отмучиться, дотлевая на забытом Богом и людьми, погосте.

Большому городу это было совершенно «до лампочки» — так выражался он сотнями тысяч глоток, когда в бетонном чреве его кого-то бесчестили, обсчитывали, унижали, грабили, насиловали, убивали, сажали «на иглу».

И её Серьгу посадили «на иглу». Посадили, потому что знали: у Серьги есть она, беззаветно любящая своё дитя мать, и что мать эта готова, отмирая по очереди каждой клеткой своего тела, передавать сыну тепло дыхания, чтобы и самой однажды пасть, как падает грудью, окружённый врагами витязь, на клочок родной ему земли.

Ничего такого не понимала, не осознавала, не чувствовала своим ошпаренным, протекающим через всю её сущность кипятком забот, нутром, и она, пока не стукнула каблуками беда, не вонзила острые шпильки в самое-самое, чем утешалась, во что верила, на что надеялась. И стали одна за другой отъединяться от своих мест драницы крыши её дома, а в образовавшиеся пустоты хлынул раскалённый свинцовый дождь.

И некуда было деться от тех жёстких струй. И нечем было остановить их безжалостный поток. И не к кому было бежать — искать защиты. И не с кого было спросить за эту незаслуженную ею несправедливость.

Но и нельзя было отступить. Потому как только приходила с работы, шла в подворотни многоэтажек, в подъезды, в кусты жидкой городской растительности искать сына. Потом шла к таким же, как и она, матерям, чьи дети погибали от белой смерти. А уж вместе — в милицию, к чиновникам администрации микрорайона, в редакции газет и ещё бог знает куда.

Каждую неделю в их микрорайоне случалась смерть: то шестнадцатилетнего, то шестнадцатилетней. То восемнадцатилетнего, то восемнадцатилетней. Воспринималось сие окружающими с поразительной лёгкостью, даже с некоторой удовлетворённостью, мол, туда им и дорога. Мусор, мол, человеческий, а мы сильные, и ничего такого с нами не произойдёт. Но ряды таких же несчастных, как и она сама, пополнялись неумолимо, и шли матери на похороны поддержать своим присутствием более всех из них пострадавшую.

Тягостны и бесприютны были такие похороны, малочисленны. Скучные обставой, поминальным угощением. Не были душераздирающе медные трубы оркестров о вечном и нетленном, потому как белый порошок выпивал без остатка и здоровье, и даденный Создателем талант, и первооснову продолжения рода, и «жизнь, и слёзы, и любовь».

Оставалась любовь материнская, начало коей положено было в бездне утробы, и любовь та была воистину бездонной и всепрощающей, как и Любовь Господа над всем и вся сущая и вечная.

Они являлись не для присутствия на похоронах, а сострада. Только они и понимали всю жуть трагедии пострадавшей.

Жидкой стайкой жались в сторонке их «уколотые» к тому времени дети-несмышлёныши. Несмышлёныши по годкам, но прозревшие глубину падения, каковая накрывается гробовой доской, и откуда не бывает возврата. Не по своей вине павшие — избранники жутких запредельных сил и целиком отдавшиеся воле этих не знающих любви демонов в человеческом обличье.

Избранные погибнуть, дабы их сверстники могли жить. Да-да, избранные взойти на запалённый демонами костёр, чтобы другие продолжили жизнь на планете Земля.

И всё свершалось по законам демократическим, где господствовал не Спаситель, а господин Рынок. И отношения промеж людей строились не божественные, а рыночные. Базарные. Не из десяти заповедей, Господом составленных в наставление и назидание, а выхаркнутые корыстью в сочетании с беспримерной наглостью. Вроде таких, как «Человек человеку — волк», «Деньги не пахнут», «Кто успел, тот и съел», «Не падай — затопчу без сожаления» и тому подобные.

И её, мать, тоже выпихнул взащей с работы господин Рынок.

— Деньги надо уметь считать, — говорили его адепты. — Это при коммунистах можно было балду бить, потому и жили плохо. Весь мир считает — вот и пьют-едят на золоте-серебре. Если можешь заработать копейку — заработай её.

И — зарабатывали за счёт таких, как она, немилосердно ужимая штаты, выпроваживая на улицу работающих пенсионеров, тех, кому за сорок, оставляя самых молодых и самых сильных.

— А опыт, профессионализм? — нестройно вопрошали вялые противники производимого в стране разбоя.

— Опыт и профессионализм — дело наживное. Крутись — и всё получится, а нет, так за воротами очередь. И надо, чтобы была очередь — вот тогда и наберут обороты приводные ремни Господина. И заживём по-человечески.

И машина запускалась: скрипели ремни, перемалывая человеческие кости.

Под проливной дождь океана выпланных и невыпленных слёз, как сорняки, плодились всевозможные ларьки, прозванные в народе «комками», в которых всякой всячиной торговал и Опыт вкупе с Профессионализмом, и просто ни к чему другому не приспособленный, пёстрый по своему составу люд.

А в то же время банкротились некогда процветающие производства, за копейки распродавалось оборудование, а в общем-то — растаскивалось и пускалось в оборот по частям или целиком.

Распоряжались всем адепты, разъезжавшие в заграничных авто и понастроившие себе дорогих коттеджей.

Рынок обладал свойствами болотной трясины, и мало-помалу кое-кто из бывших учителей, врачей, работников культурного фронта, инженеров, мастеров производственной работы начинал ему нравиться, и тогда Господин переводил приглянувшихся в адепты. Эти уже были преданы ему как никто другой. Эти уже и не скрывали своего презрения к Опыт и Профессионализму, продолжаям гнуть спину на своих обескровленных Рынком местах и получающих за свой, воистину самоотверженный труд грошовое вознаграждение из того, что Рынок отстёгивал с барского плеча в обшак, именуемый бюджетом.

Но и обшак не был изначально предназначен для производящих чёрную, во благо всех работу. Только крохи перепали Опыт и Профессионализму. Оставшийся жирный кусок по-братски делили между собой многочисленные чиновные лица и всё тот же господин Рынок. Его подручные — адепты — откачивали, выкачивали, перекачивали огромную денежную массу, потоки которой переправлялись невидимо, но точно по своим адресатам. И не было никому успокоения от той работы, провоцирующей то войны, то взрывы, то болезни, то крушения на железнодорожных магистралях, то падения самолётов, то наводнения, то землетрясения. А верные псы Рынка — Средства Массового Оболванивания — рисовали и показывали те страшные картины предвестников Апокалипсиса, вывода на, якобы, виновников происходящего: то на «загнивший царизм», то на «большевистский террор», то на коммунистов. Псов своих Господин кормил прямо с барского стола, но не досыта: сытая собака лениво лает. Газетный и телевизионный Апокалипсис густо разбавлялся развлекаловкой, американскими боевиками и шикарной рекламой всей той дребедени, какая рабочему человеку нужна, как корове седло.

Смотрели свои, близкие матери люди. Смотрел Серьга, порой в компании таких же, как и сам, попавших в беду несмышлёнышей. Весёлый, не от полноты сил молодой жизни, а от распирающего нутро порошка. Вколотый в ещё неокрепший, неразвившийся организм сына, гулял он по жилам, сотрясал нервную систему.

И мать видела это, сознавала, чувствовала всеми своими внутренностями, от которых восемнадцать лет назад отъединился маленький сморщенный комочек — её сын, сынуля, сыночек.

И как уж тут оставить без помощи это взрослое по годкам дитя, с которым прожита каждая минута его вхождения в мир: вот Серьга потопал ножками, вот произнёс первое осмысленное слово, вот он ученик, вот...

Порой ей даже начинало казаться, что он счастлив и не надо ему мешать. Что это и есть его путь, стезя, судьба. Судьба и рано погибнуть. Погибают ведь в авариях, под колёсами, от всяких нелепостей и случайностей. Мало ли хоронят каких-то молодых — утыканы кладбища могилами. И она видела те могилы, помнила о них, соглашалась, как с чем-то неизбежным, роковым и неотвратным. Соглашалась, ужимаясь вместе с замиравшим сердцем матери, у которой тоже есть сын.

Ну, била бы кровь ручьем — бросилась бы всем телом закрыть ту рану. Встала бы вместо его, чтобы пасть от пули ворога. Пошла бы далеко и не возвратилась. Полезла бы, ломая ногти, на самую высокую вершину, чтобы оборваться и, хрустя косточками,

скатиться в самое глубокое ущелье. А то ведь и сцепиться-то с кем — неведомо. Куда пойти и с кого спросить — незнаемо.

Скрыто от глаз людских логово зверя матёрого, клыкастого, не знающего ни жалости, ни сострадания.

Рынок ли то, или что пострашнее? Кто ж просветит разум несчастной матери? Несчастной бессилием перед неотвратимым.

Горше всего было не иметь работы, но однажды набрела на заборное объявление. Пробежала глазами по писанным от руки строчкам, не веря, что в некоем заведении требуется повар. Не дожидаясь трамвая, побежала-полетела по указанному адресу.

Вошла робко в неприятное помещенье с редко расставленными столиками, придвинулась к стойке раздаточной.

— Тебе чего, тётя? — глянула из-за неё женщина лет тридцати с небольшим. — На работу что ли, наниматься?

И крикнула куда-то позади себя:

— Нонна Викторовна, к вам тут пришла одна... Будете разговаривать?

— По объявлению я, — прошептала мать.

— По объявлению она! — вновь крикнула женщина. Внутренняя дверь помещеньца отворилась, из неё боком, вплотула обозначилась та, кого называли Нонной Викторовной.

— Повар? Документы при себе?

— Да-да, вот, — протянула заготовленное заранее. — Трудовая книжка, диплом...

— А паспорт? Может, ты залётная какая...

Длинные крашенные ноготки, казалось, скребли по обложкам, листочкам документов, яркие от помады губы шевелились так медленно, будто женщина только недавно научилась грамоте.

А мать стояла потерянно и мучилась: стыдом, униженностью собственной, долгим своим хождением по мукам.

— Приходить будешь в шесть утра, уходить — в восемь вечера. Выходной — как получится. Завтра и начнёшь, — коротко, как боевой приказ, бросила, поворачиваясь и удаляясь, будто куда торопилась.

«А когда же я Серьгу буду видеть? — прошумело в голове, вконец раздавленной таким приёмом. — Да и сколько будут платить?»

Но уже повернули ноги к выходу и, чуть было не ковырнувшись о невысокий порог, вывели на улицу.

Побрела, собираясь с мыслями: рука, будто придерживая, лежала на том месте, где колотилось о частокол рёбер сердце, готовое перепрыгнуть через тот частокол, чтобы укатиться колобком из сказки в поисках другого, для себя, счастья.

Заведеньице являло из себя нечто среднее между плохонькой столовой и затрапезным кафе дорыночного периода. Кроме неё здесь работала упомянутая Маша, исполнявшая обязанности раздатчицы, посудомойки и подтирушки, да официантка Мила — молодая до тридцати лет. Милу, видно, держали за то, что могла сказать обидное и не обидеть, а через минуту — плюхнуться на коленки какому-нибудь бритоголовому братку, закурить сигаретку, пригубить рюмочку, подхохатывая при этом безо всякого на то повода.

— Вы, может, думаете: «Вот, мол, такая-сякая, потаскушка...» — говорила иной раз Мила. — Я ведь таким манером нашей «новой русской» клиентуру поставляю. Опять же, работу боюсь потерять — кому бы нужна была здесь другая?..

И была в том правда: в заведеньице шли не только братки, бывали здесь студенты, командировочные, заходили семейные пары.

А каждая из женщин являла чудеса виртуозности, представляя в едином лице целую группу инструментов оркестра, где помимо собственной, приходилось играть ещё и партии отсутствующих или не предусмотренных штатом музыкантов.

Подвозили продукты — шли разгружать, заносить говяжьи туши, мешки с сахаром, мукой и крупой, банки, склянки, бутылки. Заканчивался день всеобщим авралом на уборке зала для клиентов, подсобок, кухни. Подъезжала мусоровозка — и тут нужны были их руки, три пары не боящихся никакой работы женских рук.

И придвигался конец всему. И разбегались в разные стороны по своим углам, заботам, семьям, интересам. Мать обегала арочные подворотни бетонных коробков-пятиэтажек, заглядывала в подъезды, тыкалась к стайкам несмышлёнышей, пытаясь найти Серьгу.

Потом — мучилась ожиданием, когда позвонит или поскребётся в дверь сын. А он явится все такой же, с лицом отрешённым, отвечающим землистой бледностью.

И так изо дня в день. Она — на работу, он — в подворотню. И никаких перемен, никакого просвета в опостылевшей круговерти суток, недель, месяцев.

Между тем никогда не знающий передышек мотор её здоровья давал сбои. То вдруг закружится голова и затрепыхается в груди сердце, то начнёт обмякать тело и от шеи до кончиков пальцев ног поползут мурашки.

В короткие минуты обеденного перерыва собирались за каким-нибудь столиком, наверное, больше для того, чтобы выговориться, чем утолить голод. Иной раз и выпивали по стопочке лёгкого винца.

— Хлопни, Артёмовна, — обнимая за плечи, говорила посудомойка Маша, — и жить станет веселее, и работёнка эта каторжная забудется.

— Дак, Машенька, мне работать не привыкать. С детства занаряжена. Душа вот болит по сыну: где он, что он, может, и неживой уже...

— Сволочи, — отзывалась раскрасневшаяся лицом подружка по заведению. — На наших кровавых слезах деньгу сколачивают... А ты не рви сердце-то, не рви. В наших слезах и утопнут — ни дна им ни покрывки!

И срывающимся голосом затягивала:

*Грусть-тоска меня снедает,
Мил-дружок нейдёт давно.
Он, подлец, пока не знает,
Что мне это всё равно...*

— Маруська! — грубо обрывает песню подружки официантка Мила. — И где ты такие старорежимные песни выучила? В сон от них тянет. Давай что-нибудь современное. А вообще, ты права, подлецы они все — я говорю о мужиках. Для меня так все мужики на одно лицо. У всех и в глазах, и в рожах — одно и то же... Надоели!..

— Да уж, тебе точно надоели, — скажет посудомойка Маша. — За день-то у скольких на коленках посидишь. А по мне дак никого не надо — наелась я семейной жизни с пьяницей.

— А у меня-то и никакого не было, — поддержит официантка Мила. — Э-эх, замуж бы за хорошего мужика... Пошла бы хоть землю рыть, хоть бревна таскать...

Мать начинала улыбаться, светлеть лицом, в душу заползало тепло.

Минуты эти обеденные казались драгоценнее всего: притуплялась всегдашняя тревога за сына, клонило в сон, вспоминались отец с матерью, братья, рано умершая сестра, подружки детства, тот первый в её жизни парень, что потревожил девичье сердце. Где ж они все? И было ли в её жизни всё это: родительский дом, учёба в техникуме, замужество, рождение детей?

Являлась Нонна Викторовна, что-то говорила. Они её не слушали, расходились по своим местам.

И — стук-бряк, шипенье жира на сковородках, мокрота мяса, кручение-верчение, резня-возня. До одури. До отупения. До немоты ног. До тяжести в руках.

И потемнело однажды в глазах, собралось тело будто в гармошку, растеклось по влажному кафельному полу, и пошла пена изо рта.

— Нонна Викторовна! Нонна Викторовна!.. С Артёмовной чего-то, плохо ей! — испуганно закричала посудомойка Маша.

Молча выдвинулась из своего кабинетика хозяйка. Молча, не сгибаясь, постояла подле поварихи, проговорив только одно слово: «Нажралась...» И вернулась к себе, где набрала номер телефона.

А через минут пятнадцать—двадцать приехал «воронок», из которого спрыгнули на землю два здоровых парня в милицейской форме, подняли за руки, за ноги лежащую в беспамятстве женщину, вынесли наружу и впихнули в железину. И всю дорогу до «вытрезвиловки» бросало её тело из стороны в сторону по вышарканному многими ногами металлическому полу гроыхающей машины.

На месте так же равнодушно бросили на топчанчик и отошли, переговариваясь, к дежурному, который вызвал по внутренней связи врача медвытрезвителя.

Не сразу явился человек в белом халате, не сразу подошёл к очередной «клиентке», а когда подошёл и привычно наклонился, чтобы соблности хоть видимость осмотра, — побледнел и тут же крикнул дежурному:

— Вызывай «скорую»! Опять ваши дуболомы больную приняли за алкоголичку — под суд подведёте, сволочи!

Сменились в лице и стоявшие тут же те, кого врач назвал «дуболомами»: один стал одёргивать на женщине халатик, другой зачем-то сложил ей руки на груди и выпрямил скрючившиеся ноги. После этого оба быстрым шагом направились к выходу — поджидать «скорую».

И приехала «скорая» и свезла её в реанимационное отделение областной больницы.

И целых пять суток не приходила в сознание, поверженная в состояние комы кровоизлиянием в мозг.

А в это время её дочь Людмила подняла на ноги всех родственников, друзей, соседей, будто все они могли чем-то помочь её матери прийти в себя. Хотя... может быть, и помогает такое, разом проявленное участие в судьбе попавшего в беду человека. Может быть, ведь никто не знает, как мы все соединяемся друг с другом под единым небом, на единой земле. Что держит нас, что толкает навстречу, что сплывает, питает живительную силу сострадания, способного заживлять, кажется, незаживающие раны, притуплять и вовсе отодвигать всесветную боль.

И она очнулась, не понимая и не пытаясь понять, что с ней, где она, почему лежит и не торопится вставать — бежать по всегдашним заботам дня. И хорошо было ей лежать распластанной на больничной койке, нечувствительной к уколам, суете медицинской сестры, запаху лекарств, шуму улицы за окном.

В сумраке безвременья лежала потом в палате для выздоравливающих, куда перевели её из реанимационного отделения. И что-то сильное, очень близкое и нужное должно было выдернуть её из этого сумрака, дабы снова ощутила свет мира живых, а вместе с тем и неодолимое желание втиснуться в беличье колесо повседневности, чтобы бежать вровень со всеми.

Этим близким и нужным мог быть только её несмышлёныш Сergyа, который сидел подле матери и плакал.

— Мама, мама! — повторял и повторял в беспамятстве отчаянья. — Если ты умрёшь, я тоже умру... Мама, мама!..

— Да не умру я... — отозвалась, наконец, слабым голосом. — Не умру. Куда ж я от тебя денусь — вместе будем перемогать твою немочь...

— Я брошу колоться, брошу! — будто торопился он закрепить в себе веру в её выздоровление. — Дай только мне немного времени... Ты не умирай, не умирай никогда... Мама!..

Сergyа ещё что-то говорил, слёзы лились из его глаз, но мать не слышала его слов и не видела его слёз. Она вслушивалась, всматривалась в другое, вдруг прорвавшееся в

её оглушённое сознание. То был прежде мучивший её гул большого города, о котором она за время своей болезни почти забыла. Были многими моторами проезжающие за окном больницы автомобили. Шаркали сотнями ног об асфальт пешеходы. Шелестел ветер листьями деревьев.

Она слушала и слушала этот многоголосый гул, и в её пробуждающемся сознании, медленно и неповоротливо, оформлялась одна-единственная мысль: гул большого города больше её не пугает. Он просто часть её жизни, и среди него или вместе с ним ей придётся жить. Да, придётся, и это неизбежно, ведь она вовсе не собирается умирать, и не умрёт. Именно этой дорогой возвратятся к ней силы, и она легко вольётся в улицы большого города, чтобы день наполнялся заботами, а ночь приносила желанный отдых душе и телу.

И Серьга поправится... Несмышлёныши станут мужчинами...

«И чего это я всё боялась?.. — спрашивала теперь себя, засыпая. — Живут же люди — и ничего...»

«Жи-ы-ву-ут...» — словно отзывался на её мысли всем своим гулом большой город.

«Ну и ладно. Ну и хорошо, — продолжала додумывать уже во сне. — Вот отдохну и встану. И пойду. И ничего плохого со мной не случится...»

Пушай не лезут...

Фёдор Кривулин жил в деревеньке Манутсы от самого своего рождения, оторвавшись от неё только два раза в жизни: в первый — вместе с раскулаченными и сосланными в глухое Присяянье отцом и дедом, во второй — на войну с Японией. А так — никуда, разве только в ближайшие села и деревни, да райцентр, где у него всегда находились свои, как он говорил, «лошадные» дела. «Лошадные», потому что смолоду держал лошадей и понимал в них толк. И не только понимал: он самолично шил всю справу лошадиную, гнул дуги, изготовлял телеги, сани, и даже смастерил выездной праздничный ходок, который испрашивали у него в основном цыгане, когда решали оженить своих детей. Им он в конце концов тот ходок и продал.

Иной раз хвастал, что упряжи у него заготовлено аж на семь лошадей. Почему именно на семь, а не на шесть или восемь, — не объяснял.

Кроме шорного и подеревного ремёсел, умел подковать лошадь, знал снимающие болезнь разные наговоры, и не только лошадиные, вообще мог лечить домашних животных. Знал секреты приготовления мазей и настоев.

В деревеньке Манутсы у Фёдора Кривулина была чисто крестьянская усадьба, где имелся просторный двор, навес для выстойки лошадей, стайка, кладовая с устроенным в ней подвалом, банька, сарай для сена и прочее. Здесь же стояли верхушками вверх приготовленные для оглобелей грубо оструганные берёзины, заготовки для изготовления телег, саней, можар. Здесь же нашли своё место конные плуги, две сенокосилки, грабли, к стене дома притулился верстак с установленными на нём слесарными тисами, а с правой стороны верстака — наждак. Дополняли картину полосы железа, тележные колёса, висели закинута за бревенчатые стропила навеса литовки — в общем, всё, что потребно для жизни и работы крестьянской.

И хотя он уже долгое время жил без хозяйки, в летнее время года в малом огороде произрастали лук, морковь, свёкла, редька, капуста, по заплоту — смородина, крыжовник и отдельно располагался вместительный, занятый под картошку, большой огород.

— Федя — хозяин на все сто, — говаривала в магазине деревенским бабам бывшая его супружница Арина Панкратьевна, с которой не жил он уже лет двадцать-двадцать

пять. — Ничего плохого не скажу. Тока очень уж большой охотник до чужих подолов. А они и рады, — прибавляла, не без умысла оглядывая присмиривших деревенских, слишком крутого норова была Арина Панкратьевна, и явно, в открытую, сцепиться с ней никто не посмел бы.

Когда пересказывали Фёдору об очередной магазинной выходке бывшей супруги, он многозначительно хмыкал, обрывал сплетни одной единственной характерной для него фразой:

— Пушшай не лезут.

Поворачивался и уходил восвояси. Обсуждать Арину себе не позволял ни при каких обстоятельствах, в каком бы настроении или состоянии ни пребывал. И Арина о том хорошо знала.

А дел у него во всякое время года было невпроворот. Зимой в приспособленной железной бочке на своём жеребце Тумане возил по соседям воду с реки, так как в двух колодцах, что стояли недалеко друг от друга, вода была жестковата и не годилась для стирки. Правда, воду ту люди всё равно употребляли и для стирки, носили в баню в субботний день, использовали для варева пищи и просто утоляли ею жажду. Но так делали далеко не все: иные готовы были поклоняться Сергеевичу — так народ чаще всего обращался к Фёдору Кривулину — и приплатить за услугу какие-то там копейки, чтобы тот подвёз хорошей водички из реки. Приработанные копейки те были неучтённой прибавкой к пенсии и шли в основном на покупку спирта, который он употреблял каждодневно, но в разумных количествах. Одну рюмочку разведённого спирта утром перед завтраком, другую — перед обедом и две — вечером перед ужином. И не более того, а уж напиться да упасть где-нибудь принародно на улице, как это случалось с иными мужиками, — не приведи Господи! Поэтому на деревне Фёдор Кривулин слыл за мужика трезвого и в этом смысле правильного.

Приступала весна, и вот он уже пашет, боронит огороды, едет в лес готовить жерди для прясел заплотов, возит на заказ дрова. Летом во время покоса и вовсе занят — косит, гребёт, возит.

И своей скотинке надо было заготовить корма. Тут уж трудился без отдыха. И часто женская половина деревеньки, отмечая про себя его такое упорство в работе, кивала своим мужьям, мол, смотрите и учитесь у Феди Кривулина, как надо жить и работать. Пеняла без меры, с употреблением разных обидных сравнений.

Какому мужику может понравиться не в его пользу сравнение — Фёдор Кривулин действительно был хозяином хоть куда. Потому втайне недолюбливали мужики односельчанина, но в глаза никто бы не отважился сказать ему, что он о нём думает, — Фёдор держался ровно с каждым, не давая повода для нападок.

А уж с женской половиной деревеньки и вовсе умел обойтись — подхохатывали и жеманились, играли бровями и глазами, подбоченивались и выгибались порой своими уже далеко не столь гибкими станами, как в пору молодой спелости. Однако с замужними у него была своя особая линия: тут он старался не переступить запретную черту. С незамужними или вдовами куражился всюю: подхватывал под талию, наклонялся, что-то шепча, шутил, приговаривая: «Каструлечка ты моя дыроватая, поварошечка-ка...»

Приговоры такие действовали безотказно, а почему безотказно — не смогли бы сказать ни сам Фёдор, ни заигравшиеся бабёнки. Видно дело было не в самих словах, а в том, как они произносились — с какими переливами в голосе, с какими придыханиями, вдохами и выдохами.

Подхохатывания ничем не заканчивались, да и чем могли закончиться, если в деревне все на виду, а пересудов никто не хотел, даже самая разбитная легкомысленная бабёнка. Хотя, кто знает, недаром за Фёдором по пятам ходила слава сердцееда.

Оженивался Фёдор на своём веку — не раз и не два. Поживёт неделю-другую,

а может, с какой месячишко — и тащится очередная зазноба с чемоданчишком или узлом пожиток на автобусную остановку, потому как оженивался чаще на женщинах из других деревень или райцентра — он и там находил среди своих «лошадиных» дел искомое. На неизбежные в таких случаях подковырки деревенских отвечал излюбленной фразой: «Пушшай не лезут...»

И откатывался народишко, давно решивший про себя, мол, горбатого могила исправит.

Горбатым он, конечно, никогда не был, имея приличную мужикову статью: среднего роста, худощавый, лицо чистое, бритое, передвигался по деревне легко, привечая по ходу и старого и малого, на просьбы деревенских в какой помощи никому не отказывал, не гордился и не спесивился. В общем, всем угодный и во всяком деле по-своему незаменимый.

И что тут скажешь: многие одинокие женщины поглядывали и в его сторону, и в сторону его ухоженной усадьбы, лелея тайную мыслишку — заполучить бы Федю в мужья да жить-поживать барыней.

Видно, читал и он эти их тайные мысли и по-своему на них отзывался, заигрывая со всеми сразу. Завистникам среди мужской половины казалось, что Кривулин и впрямь неотразим.

— И как это ты, Федя, находишь подход, почитай, к каждой? — спрашивали.

И получали в ответ привычное:

— Пушшай не лезут... — и двигал дальше по своим надобностям.

— Ты, Федя, мужик вроде видный из себя: и работяга, каких поискать, и нравом не вредный, и не калека какой-нибудь, а вот отчего не семейным живёшь? Отчего шатаис-си и болтаис-си по чужим овинам как перекасти-поле иль трава-мурава какая-нибудь? — наступила на него однажды всем известная на деревне старуха по прозвищу Поршня.

Старуха та была уважаемая в деревне, воевавшая в прошедшую войну снайпером, а потом колесившая по Крайнему Северу за баранкой лесовоза. Мужика своего она схоронила давно, но шофёрскую привычку не оставила, колеса по деревне уже на стареньком «жигулёнке», прозванном в народе «копейкой».

— Дак, Николаевна, чё ж мне делать-то, ежели ни одной не глянусь? — попробовал отшутиться.

— Ты не крути хвостом-то, Федя. Я тебя смолоду помню — ладный был парнишка. Всё с Аришкой Распоповой, за руку держась, по деревне ходили. Мы так и думали: вот пара будет на загляденье. А приехала в деревню, вижу, неладное. После Арины баб давай перебирать... Может, в тебе какой нужный внутренний механизм сломался — война-то многие души покалечила.

— Какой ещё механизм? — делал удивлённые глаза Кривулин.

— В мозгах твоих, такой ты рас-сякой, путальник Царя Небесного, — выругалась старуха. — Ты не придуривайся передо мной, не таких на своём веку видывала придурков. Я вот со своим Лёшкой на фронте сошлась — легла под него невенчанная, потому как фронт он свои законы устанавливат. Потом на Севере вместе робыли, сюды приехали, в места для меня родные, он-то, Лёшка мой-то, ис с Украины был. И счас бы жили-поживали как люди, если бы не помер. А вот тебе чего не живётся оглашенному?

И продолжала наступать, выговаривая слова обидные, — за всех, видно, оставленных им женщин выговаривала.

— А-а пушшай не лезут! — махнул, наконец, рукой и пошёл восвояси.

Старуха давно взяла себе за моду ввязываться в чужие дела, а особенно в семейные, налетая ни с того ни с сего на мужиков прямо на улице. Предположим, запил какой, а она — тут как тут. Воспитывает. Или поучил бабу другой — руки распустил. Поршня и тут налетала — махала костистыми, сложенными в кулак лапами перед

носом мужика. Мужик отступал, бурча что-то себе под нос, поворачивался и уходил. Теперь вот дошла очередь до Кривулина.

С годами старуха прыти не теряла, баранку «копейки» крутила лихо, выжимая из железины предельную скорость. Резко тормозила, разворачивалась, почитай, на одном месте, как какой-нибудь гонщик. А годов-то ей было уже немало — под восемьдесят.

Он и сам был уже не молоденький — семьдесят с хвостиком. Бывшая супруга Арина часто напоминала ему про его возраст, мол, пора б уже и остепениться, а он — всё в молодые лезет. Фёдор отмалчивался, прощал ей выпады в его адрес при чужих людях, а иной раз предлагал свои услуги — то сено скосить, то дровишек подвезти, то водички из реки. Арина принимала его дармовые услуги молча, ничем не выказывая своего удовлетворения покорностью бывшего мужа. Бывало, посылала к нему наезжавшую из райцентра дочку Марусю или старшего сына Анатолия просить, чтобы подсобил в какой работёнке — сама-то уже не справлялась. И Фёдор подсоблял.

Но отношения их от того не менялись: по-прежнему при случае костерила его принародно, и в том была ненасытна, что примечали между собой деревенские. Он же — будто ничего не видел и не слышал.

— Ну и въёт же из Феди верёвки Арина Панкратьевна, ох уж и въёт, — судачили. — Хоть бы когда ощерился — всё молчком, всё молчком...

— Да уж, молчун, нечего сказать, — возражали другие.

Но все вместе сходились на том, что взяла чем-то Федю Арина, задела чем-то за живое: сама не схотела с ним жить, и у других ничего не получается. Вот и постарел уже Фёдор Кривулин, а всё — бобыль. Так бобылём и помрёт, сердешный...

Была своя правда в том, что Арина — единственная женщина, с которой он прожил более десяти лет, народив совместно троих ребятишек, правда, один помер во младенчестве. При ней поставили его заведующим деревенским клубом, и клуб деревни Манутсы вывел он в число передовых по всему району. На входе и выходе в просмотровый зал красным огнём горели надписи: «Вход» и «Выход». У клуба установлен был щит с яркой, возвещающей о новом фильме рекламой, который изготовил самолично. Работали кружки самодеятельности, на зависть другим сёлам и деревням на танцах наигрывал духовой оркестр.

Примечали и деревенские, что в те годы Фёдор как бы даже остепенился, не своей волей встав на путь исправления. Не своей, потому что Арина за мужем глядела в оба. Да и Федя побаивался. Разборчивая Арина ведь не за каждого могла пойти. Работала она в школе учительницей, была на хорошем счету в райобразовании и колхозе. На видном месте сидела в комиссиях во всякие выборы власти, смело выступала на собраниях и митингах.

Не исказила истины и Поршня: в пору юную Федя и Ариша действительно тянулись друг к дружке, и их часто видели вместе. Потом была война и учёба Арины в педучилище, а Федя ещё отроком пошел робить в колхоз в помощники к местному старику конюху по прозвищу Шо-Шо, которое получил от привычки по всякому поводу и без повода переспрашивать собеседника:

— Шо?.. — сложит трубочкой приставленную к уху ладонь.

И снова:

— Шо?..

От него-то Фёдор и получил те обширные знания о лошадином деле, с которыми не расставался всю жизнь. И в армии поначалу определили его на службу в кавалерию. Потом почему-то перевели в Морской флот на торпедный катер, на котором воевал с японцами и откуда демобилизовался. Кривулин особо гордился своей причастностью к Морфлоту, подчёркнуто носил тельняшку, краешек которой всегда можно было увидеть в треугольнике расстегнутой у подбородка рубашки и распахнутой наподобие матросской форменной одежды.

—Твой «мореман» ещё не появлялся? — спрашивала иной раз у Арины с поддёвкой в голосе её покойная мать Катерина Васильевна.

Но как бы ни спрашивала, а дочери льстило то, что в своём военном прошлом Фёдор служил на корабле. И на их общей семейной фотографии, что висела над супружеской кроватью, Кривулин был в форме матроса, в которой вернулся с войны. Форма та долгое время сохранялась в сундуке, но с годами то ли моль побила форменку, то ли материя, из которой была сшита, оказалась недолговечной, но в конце концов пошла она на тряпки, о чём бывший матрос торпедного катера глубоко сожалел.

С Ариной столкнула судьба неожиданно, когда Фёдор работал лесничим. Обходил как-то свой участок, вдруг видит — молодая женщина собирает голубицу. Не торопясь подобрался поближе и по своему обыкновению, шутливо окликнул:

— Много ль насобираала ягодки, красна девица? Не подмочь ли донести корзинку-то? Не дай бог, надорвёшься с непривычки...

— Откуда ты взялся такой добрый, мил-человек? — приняла игру Арина.

— Из леса вестимо.

— И всем ты так-то предлагаешь свою помощь, любезный?

Тут оба друг дружку и разглядели.

— Не ты ли это, Федя? — спросила, невольно придержав дыхание, Арина.

— Не ты ли, Ариша? — отозвался он лесным эхом.

— Правду люди сказывают, что ты особенно обходителен с женщинами, — не удержалась Арина.

— Да врут, Ариша, — замялся Фёдор. — Люди они завсегда языками готовы лязгать. Один живу, вот и перебирают кости.

— А чего один-то живёшь? — продолжила допрашивать.

— А ты отчего одна? Слышал, что не замужем... мальчонку растишь.

— Не замужем и не замужем, — ответила, может быть, излишне резко.

Но домой в деревню шли бок о бок — Фёдор нёс её корзинку, в которой отливала студёной синевой ягода-голубица.

Знать, не забылась их давняя тяга друг к дружке в юности, хотя с тех пор немало утекло водицы в реке Ия. Он за эти годы не прибился ни к какому берегу, и она не прибилась. В его жизни не было определённости, и она переезжала с места на место, нигде не задерживаясь ни сердцем, ни пропиской. Правда, в 44-м, когда война уже пошла на перелом, объявился в её жизни комиссованный солдат, от которого родила мальчонку. Но как появился, так и отвалился, потому мимолётная связь эта, кроме выговора по партийной линии и горького осадка в душе, ничего не принесла. Был да сплыл. И словно подёрнулась ледком водица в ведёрке её нерасплескавшегося женского естества — до первого весеннего солнышка, какое в каждом человеке начинает пригревать в свой срок.

Фёдор Кривулин не знал, что она в деревне уже с неделю, приехала к матери из недалёкого лесопункта, где работала учительницей. Её вообще переводили из деревни в деревню, а то и из района в район чуть ли не каждые два-три года. Переводили, как партийную, поднимать образование на селе. А партийных в те годы сильно не спрашивали, где им работать. Задержать на одном месте могли бы только какие-то особые обстоятельства, как, например, замужество и рождение ребятишек. Не будешь же таскать с места на место малых детишек, да и мужу надо будет подыскивать работу.

Сговорились, что Федя придёт, как стемнеет, на зады усадьбы родительского дома, где проживала её престарелая мать. Там обо всём и переговоят.

Пришёл раз, два, а там и десять. Наконец, надоело прятаться от любопытных глаз и решили расписаться в сельсовете. Узаконить, так сказать, то, что промеж ними уже свершилось.

— Я, Федя, один раз уже обожглась. Не хочу обжечься во второй. Я это говорю к

тому, что гуляющий мужик мне не нужен, а за тобой по деревне нехорошая слава ходит. В общем, смотри у меня. Чуть что — дам от ворот поворот, только кости забрякают, — предупредила Кривулина на всякий случай.

С тем и начали жить. Оба работающие, они будто были созданы друг для дружки. Он — в стайку да за лопату, чтобы навоз выбросить, а она уж несёт охапку сена коро- ве. Он — за метлу, чтобы снег убрать во дворе, а она уж скотину поит. Он — вскапы- вает грядку под овощную мелочь, а она уж следом тыкает в подготовленную мужем землю головки семенного лука.

Года через два, на зависть всем деревенским, купили мотоцикл «Иж-49», а при таком транспорте поезжай куда хочешь — быстрее ветра домчишься. Для дел хозяйских — ло- шадь и вся к ней справа. И что тут скажешь, зажили Кривулины дай бог каждому.

Вечерами, когда Арина сидела со школьными тетрадями, Фёдор доставал с полки книжку писателя Гавриилы Кунгунова под названием «Топка», открывал и читал, без- звуочно шевеля губами. Она, улыбаясь своим мыслям, взглядывала на него время от времени.

— Посмотри, Ариша, как точно писано, будто из самой жизни выхвачено. Будто о наших лесах, только у нас нету оленей, но зато лось, изюбрь ходят. Я часто с ими встречаюсь, — и читал вслух: «В тайге кругом лес. Слышится легкий треск сухих ве- ток. Между деревьями мелькают огромные рога. Это олени. Ступая крепкими ногами, они идут один за другим длинной цепочкой по узкой тропинке. Тропинка извивается по склону горы, теряется в густых зарослях, мхах и болотах, вновь появляется и вновь исчезает в каменистых россыпях и буреломах.

Впереди идет большой олень — это вожак. На каждом олене ноша. Вот шагает осторожный олень. Он бережно несет свою ношу, поглядывая по сторонам больши- ми умными глазами. На его спине крепко привязана нарядная деревянная сумка-люль- ка. Сумка расшита разноцветным сукном и блестящими стеклышками-бисером. Из люльки выглядывает хитрое личико с черными узенькими глазками. Это едет Топка маленький».

— Имя-то какое придумали мальчонке — Топка. Чудно... И отца его так же Топ- кой прозывают, только Большим Топкой, — останавливался читать. — Вот народец, даже имени настоящего человеческого не имели.

Разговор между супругами прерывала тёща Катерина Васильевна:

— Ты, Аришка, языком чеши, да не забывай, что тетрадки перед тобой разложены. Чё завтра будешь рассказывать ученикам на уроке? И ты, Федька, не мешай жене со своим балаканьем — иди лучше спать.

Тёща в доме Кривулиных была за командира, никто не мог ей перечить.

Тёща и одёргивала дочь, если та начинала приступать к Фёдору с ревностью. Тёща же и Фёдора костерила на чём свет стоит, когда дочь была в школе.

И что тут сказать, поначалу, в первые годы их совместной жизни, всё вроде было ничего. Арина — с тетрадями, он — с книжкой в руках. Всякую работёнку — вме- сте. Но мало-помалу стали передавать люди, что Фёдор не оставил своей преступной страсти к женской половине. По деревне-то не видно, а вот помимо деревни — в каких поездках по лесосеке, например, или райцентр, где была контора лесхоза, в котором Кривулин работал, всякое могло случиться. Предположим, сказал, что едет в лесосеку или контору, а сам — путаться с такой же, как и сам, гулящей бабёнкой. Примерно так думала и Арина, а верила или не верила рассказам — досада внутри накапливалась. И однажды не выдержала, вылепив Фёдору свои сомнения при матери:

— Ты вот что, разлюбезный, если я тебе надоела, так собирай манатки и — вали куда хочешь. Но позорить себя я не дам — ни тебе, ни кому другому. Вот так...

— Да что ты, что ты, Ариша! Я кроме тебя никого не знаю и знать не хочу.

— Люди рассказывают, а дыма без огня не бывает.

Повернулась и хотела было выйти из дома, да Катерина Васильевна перегородила дорогу. Хотела шагнуть в сторону, чтобы обойти мать, но и та шагнула.

— Куды летишь-то, сорока? — глянула на неё снизу вверх, потому как была не-большенького росточка. — Погодь, я ещё своего слова не сказала. — И продолжила: — Я вас не сводила, но и не собираюсь потакать вашему разводу. А твой карахтер, Аришка, мне хорошо ведом. Ишь ты, люди сказывают... Пускай за собой смотрят, а мы тут сами разберёмся. Вы, такие-сякие, о детишках подумали? Старшенький, хоть и не родной тебе, Федька, но всё уже понимает. Санюшка носом шмыгат, када вы друг на дружку волками глядите. Скоро и младшенькая Маруся начнёт кумекать чё к чему.

Катерина Васильевна на мгновение перевела дух и почти выкрикнула:

— Остепенись, Аришка! Ты об чём думала, када замуж за него шла?

— Я, мама думала, что он таким не будет, — оправдывалась Арина.

— Думалка твоя в другом месте была, вот и не думала, — оборвала Катерина Васильевна. — А в каком другом, и без меня хорошо знашь. И вот вам, дорогие, доченька и зятек родный, мой сказ: помру, тада делайте что хотите. А при мне — чтоб тише воды и ниже травы были!..

И дальше продолжали жить, только раскол промеж них не суживался, а наоборот, углублялся и расширялся. Тут и тёща померла. Схоронили, отвели девятины, сороковины, до полгода не дотянули — Арина собрала свои манатки, схватила детишек в охапку — и за ворота, потому как в последние годы проживали в Фёдоровом доме. Какое-то время пожила с детишками у дальних родственников, потом купила небольшой домишко, благо, начальство не отказало в ссуде.

С тех пор и поврозь.

Между тем шли один за другим годы, деревенские посудачили-посудачили на их счёт, да, видно, пристали — Арина с Фёдором так и не помирились. Разлад между Кривулиными люди отнесли на счёт Арины, мол, гордая больно, занозистая. Фёдора же искренне жалели, рассуждая в том духе, что, мол, мужики все одинаковы, да семья важнее, могла бы Арина Панкратьевна и не перегибать палку. Не барыня, мол, с дитёнком взял её Фёдор, как своего принял... Во-он и сейчас, ставший взрослым не родной Фёдору Анатолий принародно Кривулина отцом величает. Знать, не в Кривулине дело-то, а в ней, в Арине Панкратьевне...

Погоревал-погоревал оставшийся один в доме Кривулин, но делать нечего. Да и люди горевать не дали — без Арины-то деревенские особенно зачастили с просьбами о помощи. Он же никому не умел отказать — вот и ездили на нём все кому не лень, о чём при случае пеняла и Арина.

— А чё мне делать? — разводил руками. — Идут, просят — как тут откажешь?

— Так же и вертихвостке какой не можешь отказать? — поддевала.

— Пушшай не лезут, — твердил своё и поворачивался в другую сторону от бывшей супруги.

— «Пу-ушай...» — передразнивала в след бывшему мужу. — Как был дураком, так дураком и помрёшь.

Так бы и жил себе, да в один роковой для него июльский день простудился на покое. День тот был особенно жарким, и Фёдор распотел. Ни с того ни с сего набежали тучи и подул ветер. Поглядывая на небо, надеялся успеть докосить.

Не успел, а вот под дождь попал. Да не под дождь, а под настоящий ливень, так что до дому добрался насквозь промокшим. Пока распрягал Тумана, окончательно замёрз. На ночь по привычке принял пару стопочек спирта, принёс из сеней старый овчинный тулуп и накрылся им поверх одеяла, думая за ночь прогреться.

К утру вроде бы стало полегче, хотя во всём теле ощущал слабость. «Ничё, — думалось. — На ногах быстрее переборю болезнь».

Вышел во двор задать корма скотине.

День обещал быть тёплым, на небе — ни единого облачка. К полудню и вовсе распогодилось, так что запряг Тумана, погрузил косилку на телегу и выехал в поле.

Слабость в теле оставалась, но за работой, действительно, болезнь вроде бы отступала. В ворота своей усадьбы въехал в сумерках. Начал распрягать Тумана, и вдруг голова закружилась, ноги налились тяжестью. Попробовал шагнуть и будто запнулся: ноги остались на месте, а тело подалось вперёд. Успел ухватиться за оглоблю — так бы упал.

Постоял, озираясь и вслушиваясь в стук собственного сердца, — стук был неровным. Будто поняв состояние хозяина, Туман повернул к нему голову и заржал.

«Счась отдышусь, распрягу тебя, сена задам, напою... — глядел в умные глаза лошади. — Потерпи, Туманушко...»

«Туманушко»... Так ещё он никогда не называл мерина, который жил у него лет семь. Любил его больше других лошадей, что у него были.

Туман и в самом деле был меринком хоть куда. Сильный, понятливый, способный ходить и в паре, и с плугом, и с полной сена можарой, причём без понуканий и окриков со стороны хозяина. Туман знал все горки и впадинки, все повороты и крутые спуски дорог. Мягко ходил под седлом. И в хозяйстве Фёдора ему жилось хорошо: ел-пил от пуза, кнута не испытал, хотя слово бранное от хозяина испробовал — такое бывало, и тут уж Туман ориентировался на интонации в голосе того, в чьей власти было наказывать или миловать. Но и это ничего — от такого хозяина можно и потерпеть.

Заржал во второй раз, будто напоминая о себе, и Фёдор попробовал переступить ногами — ноги подчинились.

«Ага, — встрепенулся. — Всё будет хорошо, вот только Тумана поставить в загон да накормить-напоить. А там и до кровати доберусь».

И накормил, и напоил лошадь, и свои пару стопок принял. И до кровати добрался.

Ночью то ли дремал, то ли не дремал — всё тело бросало то в жар, то в холод. Утро встретил с открытыми глазами и тяжёлой головой. Через не закрытые с вечера окна видел, как утренний зоровый свет наполняет родную деревню, выхватывая из отступающей темноты крыши домов, деревья, телеграфные столбы с противоположной от дороги стороны, и сердце наполнялось горечью и тоской.

Перебирал в памяти лица близких ему людей: погибшего в Александровском центре отца Сергея Петровича, куда после раскулачивания определили семью Кривулиных, вспоминал и деда, Петра Ананьевича, скончавшегося в этом же доме в преклонных летах. Вспомнилось также и то, как рассказывал дед о том, что, помирая, супруга его, Александра Петровна, перед смертью предрекла прожить Петру Ананьевичу ещё ровно десять лет. Так оно и случилось.

Знатные были «хрестьяне» — это слово деда, которое помнил Фёдор всю свою жизнь.

После отбытия срока в глухом Присаянье Кривулины вернулись в родную деревню Манутсы, Фёдора призвали в армию, а Пётр Ананьевич тем временем сумел встать на ноги: построил дом, завёл скотину, распахал большой огород, где умудрялся сеять полоску ржи и полоску овса — оставшаяся площадь была занята под картошку. И всю зиму Александра Петровна выпекала свой собственный ржаной хлеб, сжатый овёс шёл на прокорм лошади.

Перебирать в памяти родных людей было и сладко, и тягостно. Сладко, потому что ближе их никого не было у Фёдора. Тягостно, потому что судьбы отца и деда с бабкой были тяжёлыми, а прошлое, как известно, не вернуть и не переделать.

«И чё это я вдавился в воспоминания?.. — поймал себя на мысли. — Не помирать же собрался. Перемогу и снова пойду косить. Во-он бабка Лукьянчиха приходила, просила подмочь. Соседка Лена Иваниха. Другие...»

Фёдор всех возможных и невозможных ходячков знал наперечёт. Знал и то, что как только в деревне узнают о его болезни, отбоя не будет от «жалельщиков». Валом

пойдут, понесут кто мёду, кто яичек, кто сметанки. И каждая «сердобольщица» будет советовать что-то своё, мол, испей, Сергеич, такой-то травки, или такой... Куда они без него...

Однако, как ни пробовал себя успокоить, где-то далеко внутри — в самых что ни на есть глубинах собственного естества — складывалось осознание, что болезнь его не шуточная и надо бы обратиться к врачам. Врачей Фёдор Кривулин до этого случая обходил стороной, справляясь со всякими болезнями народными средствами. Теперь, видно, не обойтись. И — ладно. Мало-мало окрепнет и поедет в район «сдаваться» врачам.

Более всего угнетало одиночество: «Вот лежу тут пень пнём, валёжина валёжиной, и некому воды поднести... — думал горестно, жалея себя. — Некому за скотиной приглядеть, супу какого сварить, за лекарством съездить в райцентр. До-ожился, Федя, — продолжал размышлять в том же духе, перевернувшись на другой бок. — Как в воду глядела Ариша-то, бросая иной раз в лицо бывшего супруга, мол, доживёшься до ручки, некому будет воды подать... До-ожился... Ну нет, — сказал себе твёрдо. — Рано вы меня хороните...»

К кому обращался в мыслях и кто собирается его хоронить — для него было неважно. Важным было только то, что сдаваться не собирался.

«Пушшай не лезут...» — проговорил про себя настырно излюбленное.

Сел, опустив ноги с кровати, нащупал тапочки, поднялся и поковылял на кухню, надеясь согреть чаю.

Будто почувствовав намерение хозяина справиться с болезнью, в загоне заржал Туман.

«Счас-счас, Туманушко. И накормлю, и напою...»

Чайник зашипел, задрожал от напора закипевшей воды, а Фёдор уже входил в загон к лошади с охапкой сена в руках.

— Ешь, ешь... — повторял ласково. — Ешь вволю, а там и водички поднесу. Не горюй. А болезнь пушшай не лезет. Не таковских видывали.

Глубоко вдохнул в себя свежего утреннего воздуха, поглядел на чистое голубое небо.

Не-ет, помирать он ещё не собирается. Не такие казусы случались в его жизни, а уж эту болезнь он как-нибудь переборет. Только жить он начнёт как-то по-другому. А как — это уже определит сама жизнь. Может, с Ариной сойдётся, всё-таки деток общих нажили. Может, останется бобылём. В общем, по-другому — и всё.

Потрепал лошадь за морду и совсем уже твёрдо сказал, обращаясь неведомо к кому:

— Пушшай не лезут...

ПОЭЗИЯ



К 80-летию со дня рождения выдающейся русской поэтессы

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА



На окраине русской надежды

* * *

Никогда не воскликну: воскресни,
Безымянная белая даль!
На руках моих чёрные перстни,
На плечах моих чёрная шаль.

На губах моих чёткое имя,
Что сложилось из льдинок само.
И никто на земле не отнимет
Это чёрное знание мое.

КУЗНЕЦОВА Светлана Александровна (14 апреля 1934, Иркутск — 30 сентября 1988, Москва) — русская советская поэтесса и переводчик. Член Союза писателей СССР. Лауреат премии журнала «Огонёк» (1988). Автор одиннадцати книг: «Проталины» (М., 1962); «Избранная лирика» (М., 1964); «Соболи» (М., 1965); «Только о любви» (М., 1966); «Сретенье» (М., 1969); «Забереги» (М., 1972); «Гадание Светланы» (М., 1982); «Соболиная тропа» (Иркутск, 1983); «Стихотворения» (М., 1986); «Второе гадание Светланы» (М., 1989); «Избранное» (М., 1990).

* * *

Раньше быстро так не отплывали
Дни, что мне остались на земле.
Прежде свечи так не оплывали,
На моём зажжённые столе.

Раньше книги были интересней.
Прежде сердце тешила игра.
Это «раньше» стало чьей-то песней.
Это «прежде» позабыть пора.

* * *

Весенней дорогой отчизну прошла,
Навечно запомнилось это.
Я возраст надежды пережила.
Я вышла в палящее лето.

Я возраст отчаянья пережила.
Я вышла в прохладную осень.

Его торопливость меня обожгла.
Что может быть лета короче?

Мне осенью той не во сне, наяву
Прощанье с печалью спели.
Я возраст спокойствия переживу.
Я выйду навстречу метели.

* * *

Не мои, не седые, не мглистые,
Что самую судьбой суждены,
Этой осенью снятся мне чистые,
Словно чьи-то, прибудные сны.

То ль венки из цветов вдоль обочины,
То ль из самых прекрасных надежд.

Прохожу я хозяйкою вотчины
В разноцветии летних одежд.

Небывало отрадно и радужно
В этом посланном свыше раю...
Отчего же так страшно мне за душу,
За печальную душу мою?

* * *

Вереском поросшие предгорья,
В розоватых отсветах земля...
Так всегда перед приходом горя
Ощущаешь цветность бытия.

Дорожа простым соцветьем мака,
Ты глядишь мечтам своим вослед...

Так всегда перед приходом мрака
Ощущаешь предпоследний свет.

На закате или на рассвете
Нас дороги приведут во тьму.
...А последний свет на этом свете
Не дано увидеть никому.

* * *

На окраине русского края
Ничего у судьбы не молю,
В сером сумраке лет вспоминая
Тех поэтов, которых люблю.

Не такая случалась погода.
Не такие творились дела.
Бессловесная наша природа
Не такие потери несла.

Уходили они в неизвестность,
Приминая зыбучие мхи...
Бессловесная наша словесность
Не такие не помнит стихи.

На окраине русской надежды,
На окраине русской беды
Я смыкаю усталые вежды,
И метель замечает следы.

Гаданье Светланы

Не доро́ги, а тропинки
Побежали по судьбе.
Начинаются воспоминки,
Как поминки по себе.

Зажигаю я на Святки
Сине-чёрную свечу.
Без опаски, без оглядки
С силой тёмною шучу.

Ставлю зеркало в оправе
Из литого серебра.
Неразумный разум вправе
Ждать от нечисти добра.

Потому не захотела
Очертить последний круг.
Потому сказать посмела:
— Кто явился, тот и друг!

Мне любой в друзья годится.
Нету нечисти числа.
Несыть жадная садится
У накрытого стола.

Начинает нечисть чары
Залихватским говорком.
Подымает нечисть чары
С заграничным коньяком.

Подымает мне в угоду
Всё одно и то же вновь:
Поверх моря — непогоду,
Поверх сердца — нелюбовь.

Дарит полую поляну,
Дарит полную луну.
За подарками не встану,
Даже рук не протяну.

Полуночною порою
Не души своей мне жаль —
За посулом, за игрою
Вижу позднюю печаль.

Вижу позднюю дорогу
Да порошу во полях.
Вижу полностью, ей-богу,
Всю поруку во друзьях!

* * *

Душа моя — чёрный камень.
В тебе её черный пламень,
Тобою она оправлена,
Опала моя, окраина,
Опошленная, залатанная,
Опоенная, заплаканная,

Пожарами опалённая,
Отравой опылённая.
В тебе моё имя-отчество,
В тебе моё одиночество,
Остуда моя, окалина,
Оправа моя, окраина.

Воронье перо

Зачем я себя не хранила,
Когда по окраине шла?
Ворона перо обронила,
А я его подобрала.

Для лёгкости создано полым,
Оттенками мрака пестро,
В руке моей странно тяжёлым
Лежало воронье перо.

Лежала чужая утрата,
Лежала чужая печаль.
И я, обретенью не рада,
Глядела в открытую даль.

И я обречённо глядела
Туда, где закат отцветал,
Где стоя воронья галдела,
Где сумрак над миром витал.

Глядела и знала — отныне
Уж мне никуда не уйти,
В окраинной этой пустыне,
На этой земле отцвести.

Глядела и знала — собою,
Хочу ль я того, не хочу,
Окраинной тёмной судьбою
За это перо заплачу.

Второе гаданье Светланы

Вот второе гаданье Светланы.
Я гадаю теперь невпопад.
Надо мною, темны и бесславны,
Беспощадные перечни дат.

Заплатила сполна за страданье
Бесконечным бесправьем своим.
Состоится ли третье гаданье
И каким оно будет, каким?

* * *

Жизнь одна. Окраина бедна.
Но во мне, при мысли о прощанье,
Запевает зябкая струна —
Горемычных странствий обещанье.

Видно, ясновиденьем больна,
Я при всякой мысли об утрате
Вздрагиваю, словно мне дана
Чёткая уверенность в расплате.

Холодит, как зябкая волна,
Мысль о неизбежности разлуки
Той, в которой я осуждена
Навсегда избавиться от скуки.

Жизнь одна. Окраина бедна.
Но при всякой мысли об уходе,
Плачу я у тёмного окна
По своей непринятой свободе.

Завещание

Мои дни нынче — иксы да игреки.
А тянуть без решенья нельзя.
Заводите веселое игрище
Без меня, дорогие друзья!

Запирайте заботливо души,
Не ссылайтесь сегодня на лень,
Чтобы, ваше застолье нарушив,
Не вошла моя лёгкая тень.

Затевайте полночные споры,
Разливайте поспешно вино,
Затворяйте получше затворы,
Закрывайте плотнее окно.

Чтобы, вытянув слабую руку,
В наступившей на миг тишине,
Не взяла она чью-нибудь рюмку,
Не сказала: «Налейте и мне...»

* * *

Мощный пласт зеленоватой глины
Студит ноги мне издалека.
Сладостью кладбищенской малины
Родина далёкая сладка.

Постигая это постиженье,
Я посмела многое посметь.

Сладким было давнее рожденье.
Верую, что сладкой будет смерть.

Допоздна долги перебираю,
Долгий дом дозором обхожу,
Вновь рождаюсь я и умираю
На земле, которой дорожу.

Как добра добычливая тризна,
Как добротны доводы её.
Пала в долю мне дороговизна,
Дорого оплачено житьё.

Посреди домашнего гулянья
Скоро осень догорит дотла.
Не вернуть былого достоянья
Деревам, раздетым догола.

Не вернуть доверчивому саду
Те цветы, что я боготворю.
Это не в доuku, не в досаду,
Это я в догадку говорю.

Дорогая даль моя нахмурена.
Долголетье светит впереди.
Сигарета тонкая докурена.
На долины падают дожди.

* * *

Окраина, старая рана,
Зарубка, отметина, шрам,
Охрана, встающая рано,
Осколки растоптанных драм.

Обида, ошибка, опала...
Как всё-таки путь тот нелеп.
Тебя ли я жадно алкала,
Так трудно дающийся хлеб?

Тебя ли, сегодняшний день мой,
Такой обрётённый ценой,

И крылья раскинувший демон
Над атомной белой страной?

Всё мимо, всё зря и всё втуне...
Но кажется мне иногда:
Сибирских моих полнолуний
Не сгасла за тучей звезда.

И непобедима та сила,
Мне кажется издавека,—
Река, что когда-то взрастила,
Великой надежды река...

Шаль

Покуда слова не лишали,
Покуда речь моя слышна,
Хочу поговорить о шали,
Которая теперь черна.

Я и сама почти забыла,
Как позабытую весну,
Что за цветы её любила,
За алость и голубизну.

И не на ком-то и не где-то —
В родимой русской стороне
На мне та шаль была надета
Как дань прекрасной старине.

И узкие сгибались плечи
Под грузом радужных цветов,
И странно раздражали речи
О радостях иных миров.

А мир мой в благовесте раннем,
Что после — шага не прощал,
Ещё не обижал, не ранил,
А лишь сулил да обещал.

Ещё судьба меня хранила
И не были глаза пусты...
Когда и где я обронила
С цветастой шали все цветы?

* * *

Ни покрышки тебе, ни дна,
Измотавшая вздыг дорога...
Почему, коль здесь не нужна,
У родного томлюсь порога?

Почему родному огню,
Несмотря на звёздные знаки,
По-собачьи верность храню
Я, рождённая в год Собаки?

Прикипела и притерпелась
Под тоской ночной пелены...
Может, я белены обьяелась,
Сладковатой злой белены?

За глубоким стоящий логом,
Под укрытьем тайги густой,

Дом родной окружён заплотом —
Доски метра в три высотой.

Заигралась собачья доля...
Заперт крепко в заплоте лаз.
А из поля не сводит воля
С маеты моей волчьих глаз.

Тысячелетие

Нет, не в чистом обобранном поле,
Не усталым согбенным отцом —
Ты, спокойный, сидишь на престоле,
Холодея недвижным лицом.
Над твоим нетускнеющим нимбом
Развернулся сюжет непростой:

Ангел с перьями, вставшими дыбом,
По иконе плывёт золотой.
То ль кроваво вокруг, то ли ало.
То ль кроваво, то ль ало вокруг.
Что, скажи, его так испугало,
Если вечным остался испуг?

* * *

Чем дольше живу, тем виднее,
Что только случайно жива.
И нету проклятья страшнее,
Чем эти простые слова:
— Проснись в своей юности дальней,
Почувствуй тот давящий страх,
Который иконою давней
Стоял у тебя в головах.

Войди в свою дальнюю местность,
В свою однозначную суть,
Почувствуй свою неуместность,
Своей невозможности жуть...
Прочти свои давние строки,
Смотря в белоснежную тьму,
Прочувствуй огромные сроки,
К спасенью идя своему.

Последние стихи

* * *

Чтобы даль прояснилась яснее,
Никакому не веря врачу,
Я руками как можно плотнее
Нынче голову обхвачу.

И не мелкой, а крупной подробностью
Задрожит под ногами доска.
Перейдѣнный мной мостик над пропастью
Замаячит издалека.

Ощущением вспыхнет, не боле:
Я прошла. Вам уже не пройти.
Этим выплеском воли и боли
Вам уже никого не спасти.

Позже сменится опасеньем,
Виновато прильнувшим к виску,
Можно ль звать с полным правом спасеньем
Злую память и злую тоску?

Но когда мои песни споются,
Те, на самой последней крови,
В чьём-то грязном подоле зальются
Сбережённые мной соловьи.

26 июля 1988 г.
Москва, больница

* * *

Я та, что всю душу вызнобила,
Пока вы жаре дивились.
Я та, что все слёзы выплакала,
Но слёзы вновь появились.

По всей пробежав Отчизне,
Собрав судьбу по кускам,
Дорожки в иные жизни
Бегут по моим щекам.

Покуда другим сподручно
Не помнить про мой закус,
Я плачу почти беззвучно,
А просто слёзы текут.

О серебре ли, о злате ли
Не думает вольный зверь.
Мне другом в другой Галактике
Уже распахнута дверь.

11 августа 1988 г.
Москва, больница

* * *

Снится сон мне: луна в чёрном небе блестит,
Притворяясь чеканной монетой,
И какая-то чёрная птица летит
Над не менее чёрной планетой.
В чёрном платье стою я на чёрном лугу,
Чёрном, словно густые чернила,
И уже ничего изменить не могу,
Хоть сама это всё сотворила.
Хоть впустила сама черноту за черту,
Зачернив свои волосы русы,
И покорно смотрю я на их красоту,
Теребя свои чёрные бусы.
Не поднять мне от чёток зловещих лица
И не снять с себя чёрные вещи...
Но повинна я сон досмотреть до конца,
Ибо он называется вещим.

12 августа 1988 г.
Москва, больница

* * *

Знаю — познаётся всё на практике,
Но на веру надо принимать
Ласковость неведомой Галактики,
О которой напевала мать.

Напевала или бормотала,
Словно колдовала у огня.

Жалко — я судьбину промотала,
Не постигнув смысла бытия.

Всё же, уходя с земной излуки,
Верую — в неведомых мирах
Матери моей зачтутся муки,
Ну а мне — полночный поздний страх.

*12 августа 1988 г.
Москва, больница*

* * *

Согласно молодой молве,
Мы вроде не были, хоть были.
Давно в холодном зимовье
Нас вырезали и забыли.

Но в мёртвой памяти стоять
И в сини неживого глаза

Тому ножу, чья рукоять
Наборная из плексигласа.

Тому, что в рыжих пятнах весь
На самом юном госте ватник,
И удивленью, что он здесь —
Убийца, времени соратник.

*14 августа 1988 г.
Москва, больница*

Чертополох

Что мне уснуть сегодня не даёт?
О нет, не наводненья, не пожары, —
То за окном чертополох встаёт,
И в комнату его вползают чары.

Не тормоши чертят, чертополох,
Пусть отдохнут. Они и так устали.
Не затевай зазря переполох
Средь сумерек умеренной печали.

Что черти мне? Пускай себе живут
По всем углам, резвятся, корчат рожи.
Они в быту терпимей, чем слынут,
И уж давно не вызывают дрожи.

Пусть будет цель святая далека,
Чертополох, что мне до этой цели?
Не распускай кровавого цветка
В оконные нацеленные щели.

Не умножай осмысленного зла,
Не делай из обыденного драмы
И не черти на ломкости стекла
Локаторы — круги и пентаграммы.

Да, жизнь не удалась. Да, сон мой плох.
Но все же в чём-то главном не сдалась я.
Не тронь моих чертей, чертополох,
И домового по прозванью Вася!

*22 августа 1988 г.
Москва, больница*

* * *

Не прорвавшись в иные миры
Через плотную сеть отражений,
Судьи чьей-то удачной игры,
Мы своих не постигли движений.

Так присядем и руки сплетём,
Принимая безропотно долю,

Перед непостижимым путём
В неизвестность по голому полю.

И давай до конца повторять
Под последние всплески метели:
«Боже мой, как же страшно терять
То, чего никогда не имели!»

*22 августа 1988 г.
Москва, больница*

* * *

Может быть, колос последний сжат
Мной на родной стерне.
Мать и отца, что в земле лежат,
Часто вижу во сне.

Жизнь в ожиданье смрада тюрьмы
На острие ножа?
Школьная пропись «Рабы не мы» —
Главная с детства лжа.

Полно, мне ли о том тужить
В этот дождливый день,
Что, и попытки не сделав жить,
Минула, словно тень.

Жизни, что быть бы могла, не жаль.
Ртом ловлю пустоту,
И волочится за мною шаль,
Чёрная, — в черноту.

*23 августа 1988 г.
Москва, больница*

* * *

Отзвенели мои погремушки,
На куски разлетелась твердь.
Отыграла, видать, в игрушки
По названию Жизнь и Смерть.

Отгуляла на свете алом,
Растеряла последний страх...
Это кто там под покрывалом
У меня торчит в головах?

Это кто мне велит уняться
Непременно в этом году?
Ведь найду я силы подняться,
Любопытства ради найду.

Проклиная слабости ношу,
С малолетства ясность любя,
Дотянусь, покрывало сброшу —
И увижу саму себя...

*6 сентября 1988 г.
Москва, больница*



АНАТОЛИЙ ЛИСИЦА



РАССКАЗЫ

Блокадник

С каждой почтой приходили похоронки. Сравнительно небольшое по российским понятиям сибирское село дало стране, фронту целую роту бойцов, крепких, выносливых, хорошо умевших стрелять. И семей-то в селе было немного. И все большие, сплошь и рядом однофамильцы, родственники. С фронта похоронки, на фронт — молодые, подросшие, сильные и здоровые парни. Отправляли партиями. Выли матери и жёны, хныкали малые ребятишки. Дворы пустели, затихали.

Анне Андреевне часто приходили письма с фронта от мужа. Читали с дочкой и плакали от радости. А потом писали ответ. Мама медленно выводила буквы — каракули (писать её научил перед войной муж), а малышка рисовала на листе свою ладошку, обводя пальчики химическим карандашом. В письме, полученном два дня назад, отец сообщал, что воюет под Москвой. «Остановили фашиста, — писал он, — скоро погоним гада. Сибиряки бьются, как черти. Морозы нас не пугают. Обо мне не беспокойтесь, жив, здоров, чего и вам желаю. Целуй, Нюрочка, за меня дочурку, нашу золотиночку». Мама умыла слезами письмо папы и лицо Ниночки, целуя её.

ЛИСИЦА Анатолий Владимирович родился в 1935 г. на Украине. Детство прошло на Кубани и Северном Кавказе. В 1959 г. окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета. С 1960 г. живёт в г. Братске. Член Международного пушкинского общества. Автор нескольких поэтических сборников: *«Польнь»*, *«Осень»*, *«Река любви»*, *«Качели»*, *«Лукошко»*, *«Зимняя радуга»*, *«Во дворе»*, *«Сказ про БрАЗ»*, *«Прикосновение»*, *«Душа в заветной лире»* и др. Лауреат нескольких литературных конкурсов.

Укутав дочку в одеяло и усадив на санки, поздним вечером отправилась Анна сторожить Госбанк. На работе она укладывала пятилетнюю дочурку на два сдвинутых стула, обходила с ружьём банк. Затем доставала из сумки книгу с текстом роли и начинала учить. В посёлке молодую женщину любили и уважали, даже эвенки называли её ласково «Андреевна — артистка».

— Андреевна, забеги в Совет утречком, дело есть, — сказала ей идущая с работы секретарша поселкового Совета. — Спектакль-то скоро? Ты кого играешь?

— Придёшь, увидишь сама, — Андреевна, не останавливаясь, свернула на узкую тропинку, ведущую к банку.

Утром следующего дня в Совете спросили:

— Как у вас с продуктами? Не голодаете с дочкой?

— Да есть малёхо, — ответила Анна.

— Что, малёхо голодаете? Или есть малёхо запасов? — не поняли её.

— Сказано тебе есть малёхо, — спокойно сказала Андреевна, — говори напрямик. Что мнётся-то, али тайна какая?

В маленькой комнате сельсовета жарко, гудит раскалённая до синевы печурка.

— Мальчишонку возмёшь к себе? — спросила, понижая голос, секретарша. — Поживёт у вас пару недель, прокормишь, поди? А там и в интернат определим.

— Что за мальчишонка? — не поняла Анна.

— Блокадник, из Ленинграда. Родители погибли, а он едва живой. Истощал, кожа да кости, сущий Кашей. Завшивели все ребятишки, страсть. Распределили уже всех детишек. Один остался.

— Не тараторь! Где он? — Анна, ещё не видя, уже жалела бедолагу.

— Рома! — позвала секретарша.

Из-за шторы показалось сморщенное старушечье лицо.

«Шутишь, дева?» — хотела спросить Анна, но слова застряли в горле.

— Мама, родная! — всплеснула она руками, когда привидение полностью предстало перед ней.

В гроб краше кладут. То, что секретарша назвала Ромой, было существо неопределённого возраста и пола.

— Рома не боится грома, — попыталась улыбнуться мальчику Анна.

Улыбка не получилась. Застыла, как цветок, схваченный морозом.

— Свечечка ты моя! — слатывая подступивший к горлу ком, с трудом выговорила Андреевна.

Глаза мальчика пусты, ни одной искорки.

— Накормила его, много давать сразу пищи не рекомендуется, — пояснила секретарша. — Молоком, может быть, подсобим вам, обещаю.

Она, было, засомневалась в Анне: «Такая не возмёт, на кой ляд молодой красивой бабе лишние хлопоты?» Но когда увидела лицо, глаза, смотревшие сквозь слёзы с жалостью на мальчонку, поняла, что ошиблась. Слова Анны «свечечка ты моя» расстрогали секретаршу до слёз.

Анна между тем приступила к делу. Она знала, что такое голод, нищета.

— Сам идти сможешь? — спросила она парнишку, видя, что тот едва стоит на ногах.

Роме всё безразлично. Тонкая шея мальчика наполовину обёрнута жёлтым кашне. Как ещё держится эта несчастная головёнка? Того и гляди, свалится.

— Дойдёшь или нет? До нас далековато, — предупредила Анна.

Выручила секретарша:

— Санки мои возьми. В сенях стоят.

Рома, словно тяжёлые ступы, еле передвигал ноги, не отрывая от пола. Пухлые красные руки безвольно повисли вдоль туловища. Клетчатое пальто на мальчике не доставало до колен и походило больше на длинный пиджак.

С крыльца женщины снесли лёгонькое тельце мальчика на руках и усадили в санки. Андреевна поправила свесившуюся набок голову блокадника, попыталась уместить его негнувшиеся ноги на полозья санок и тронулась в путь.

«Вот Нинуська обрадуется. Давно просила братишку», — думала Анна.

Дочка и в самом деле рада-радешенька неожиданному гостю. А когда услышала от мамы, что мальчик будет жить у них, запрыгала по комнате.

Мать первым делом растопила печь, остригла и без того короткие волосы Романа, сожгла в печи всю грязную, завшивевшую одежку. Рома ничему не противился. Пришлось с ног до головы одевать паренька. Анна ушивала, урезала, перекраивала одежду мужа. Примеряла на отощавшее тело, каждый раз ужасаясь его худобе. Она шила одежду с запасом, надеясь, что Рома быстро поправится.

— Не скоро отмякнет сердчишко твоё, захолонуло от горя, а мясо нарастёт, были бы кости, — утешала себя и гостя.

О себе рассказывать Ромка не любил. Из полученных в сельсовете документов узнали, что его мама, маленькая сестра и бабушка погибли, утонули в Ладожском озере во время бомбёжки переправы. Отец, по словам мальчика, был на фронте, а ему, Роме, скоро исполнится десять лет, фамилию свою он забыл.

— Запишем Хлебников... Отца-то как зовут?

— Вла-а-димир, — заикаясь и с трудом выговаривая имя отца, произнёс блокадник.

— Вот и хорошо, паря, будешь у нас Хлебников Роман Владимирович.

Как и думала молодая женщина, блокадник быстро поправлялся, набирал вес. Ноги парнишки окрепли, опухоль скоро сошла, после непродолжительных прогулок на улице бледно-жёлтые щёки мальчика покрывались лёгким румянцем. И это радовало Анну. Все, знавшие её в посёлке, старались помочь ей, кто чем мог. Знакомая эвенка занесла как-то кусочек оленины, подруга и соседка Матрёна Степановна заставила Анну взять в дом своих двух курочек-несушек.

— Возьми, подружка, ребятишкам не скучно будет, да, глядишь, и яичек нанесут, всё легче будет.

Нина привязалась к мальчику. Не отходила от него ни на шаг. За столом подкладывала блокаднику лучшие кусочки.

Анна, заметив, что дочь стала ревновать её к приёмному мальчику, решила, что надо поговорить. Глупенькая. Несмышлёныш.

— Мы с тобой, доченька, будем всегда вместе, а Рома поживёт у нас, поправится и уедет в интернат.

— А мы его не отпустим, — сказала дочка, — пускай остаётся с нами навсегда, у меня ведь нет братика. Котька вон уедет скоро, а мне одной оставаться?

— Мы тоже поедem с ними, — хотела обрадовать и успокоить девочку мать.

— Не хочу уезжать, — нахмурилась Нина, готовая заплакать, — а куда папа нам будет письма присылать?

— Адрес наш новый мы сообщим папе.

— А куда мы поедem?

— В деревню Могу, доченька, там не так голодно.

Нина после разговора с мамой не отходила от Ромы. Вместе с ним достала из чемодана большой конверт с шоколадными обёртками и выбрала из них все крошки. Наслюнявив пальчик, собирала крупинки, Рома, как птенец, раскрывал рот и слизывал с пальчика горьковатые, но такие вкусные крошки.

— Оклемался! — радовалась мама, глядя на повеселевшего блокадника. — Рома не боится грома. Всё будет хорошо, поправишься. Не унывай, ты же мужчина! Победим проклятых фашистов! И папка твой найдёт тебя.

Молоко, как обещала секретарша, давали. Анна доставала где-то ещё и козьего молока, жирного и густого.

— Пейте, это молочко от козочки, просила вас угостить, доброе, полезное.

Анна испугалась, когда курочка снесла яичко, покрытое тонкой плёнкой, держала его на ладони, рассматривая.

— Вот, видите, кальция курочке не хватает. Мелку надо принести. И у вас, ежели молоко пить не будете, косточки станут такие же жиденькие, тонкие и ломкие.

На следующий день принесла песочку с мелкими камешками и кусочек мела.

— Выпросила мелок в школе, — объяснила она, — это курочкам, а вам молочко.

Яичко мама добавила в тесто и напекла оладушек.

По вечерам, уложив детей, Анна при свете коптилки заучивала свою роль, коптилка чадила, постоянно гасла. Противно пахло рыбьим жиром. Чёрные густые хлопья копоты летели к потолку, оседали на стенах, садились на лицо. Нина смеялась, когда мама с чёрными усами от сажи заходила в спальню.

Мысль о том, что с Ромой скоро придётся расстаться, пугала Анну. Мать отчётливо понимала, что Нина после отъезда соседа Котьки всё больше привязывалась к ленинградцу. Девочка видела в нём не просто товарища по играм, а своего защитника, верного заботливого друга. Всех детей-сирот решили переселить в районный интернат, где проживали с осени до лета дети тунгусов.

— Приготовьте парнишку к отъезду! — голосом высокого начальника приказала Андреевне секретарша.

— Что его готовить? — чувствуя, как неожиданно затрепетало сердце, спросила Анна. — К операции что ли?

— Вот именно, к операции готовимся. Данные собираю для начальства. Он у вас не болел? — строго спросила она. — Не сегодня завтра забегу провести, как он там у вас устроился. Не обижаете парнишку?

Анна, не разбирая дороги, опустив голову, медленно побрела к дому, не замечая ничего вокруг. С грустью наблюдала она за ничего не подозревавшими ребятишками. Дети только что пришли с улицы раскрасневшиеся. Рома, как старший брат, помог Нине снять пальтишко. Ночью, когда дети, наигравшись вдоволь, уснули, её снова охватила тревога. Андреевна стала перебирать вещи Романа. Их оказалось немало. У мальчика теперь было всё необходимое. «Гляди ты, помалёху-помалёху и набралось барахлишка», — удивилась она, вздыхая.

Ещё и ещё раз укладывала мать одежду мальчика в объёмный чемоданчик мужа. Все вещи не входили. «Что-то на себя наденет, что-то в руках понесёт», — прикидывала Анна. Ночью она не сомкнула глаз. Вставала, подходила к кровати Ромы и подолгу смотрела на его спокойное лицо.

Зимние ночи на севере светлые, видно как днём. И даже тёмные шторы не мешали лунному свету проникать в спальню. Нина спала в обнимку с плюшевым медвежонком.

На следующий день перед обедом, как и обещала, появилась секретарша. Ниночка выплянула в окно и, увидев чужую женщину, встревожилась.

— Мамочка, к нам бежит какая-то тётенька!

«Явилась не запылилась», — подумала мать, наблюдая за торопливо идущей к дому секретаршей.

— За парнишкой пришла. Где он? Живой ишо? — заявила она с порога.

— Думай, что говоришь! — возмутилась Анна.

Секретарша не обратила на женщину никакого внимания.

— Книжки почитываешь? Ничё, справный стал, а то смотреть было тошно.

Нина подбежала к мальчику и, как наседка, прикрыла его собой.

— Не гони лошадей, запаришь! — сказала Анна. — Раздевайся, отобедаешь с нами, чайку попьём, а затем и говорить будем.

— Некогда мне с вами лясы точить, дела у меня серьёзные! — напуская на себя важность, выпалила секретарша.

— Не могу же я, дева, парня голодным отправить, пообедаем и пойдём вместе. Зря ты горячишься. Поешь, оно при твоей фигуре не вредно. Картошечка у нас в мундирах, правда, последняя. Думала на всю зиму хватит. Не получается.

— Я же сказала вам русским языком: рассоливать мне с вами некогда, дела у меня важные. Парня по акту надо передать в распоряжение интерната. Ждут меня там!

— Не язык у тебя, дева, а помело! Я смотрю, вы и детей, как вещи, по акту передаёте. Потерпи немного, дай собрать человека по-людски, по-христиански.

— Ну, уж не вам судить о нашей работе! Или вам советская власть не нравится?! Собирайте парнишку!

— Это ты-то власть? — Анна глянула на секретаршу таким ненавидящим взглядом, что та онемела.

«Зашибёт», — подумала гостья. — Ладно, пообедайте уж, но недолго. Я на улице подожду.

Обедали вяло. Даже Рома отказался от еды. Он нехотя очистил несколько картофелин для себя и для Нины, поковырял вилкой кусочек солёной с душиком рыбы и, словно выталкивая застрявшие вдруг в горле слова, отказался: «Не хочу!»

За дверью уже приплясывала, покашливала секретарша. Рома, пряча глаза, помог одеться плачущей Нине. Приготовленный ночью чемоданчик Анна поставила у порога.

— Вот ещё котомочка тебе небольшая, смастерила вчера. Удобная штука, Рома, примерь-ка!

Рома послушно повернулся спиной к женщине, растопырил, как раненая птица крылья, руки и ждал, пока Анна не водрузит котомку на его поникшую спину.

— Хорошо сидит, нигде не мешает? — спросила она. — Присядем на дорожку!

Анна оделась и села на узкую скамейку. Ниночка уткнулась мокрым носом в мамин полушубок. Всё тело девочки содрогалось.

— Успокойся, солнышко! Ведь Ромочка живой и невредимый. Он уезжает от нас учиться. Мы будем его навещать, проверять, как там у него идут дела в интернате. Правда, Рома?

Мальчик не ответил. Он всхлипывал, готовый разрыдаться.

— Ну вот, детский сад какой-то. А меня и утешить некому.

На глазах Анны, не видящих ничего, стояли слёзы. От маминых слов Нине стало ещё горше.

— Ребятишки, вы хотите весь дом слезами затопить? — пытаюсь успокоить себя и развеселить детей, спросила она. — Наверно, придётся нам выплывать из дома на бумажных корабликах по солёному морю.

Нина рассмеялась, размазывая по щекам слёзы.

— Как солнышко после грозы! — улыбнулась Анна, глядя на смеющуюся и плачущую одновременно дочь. — И впрямь слепой дождь! Пошли, ребята!

Ниночка схватила чемоданчик Ромы и потащила перед собой.

— Надорвёшься, дочка! А вот тебе, Рома, по силам, привыкай, ты ведь мужик! Настоящие мужчины сильные и не плачут ни при каких обстоятельствах! — выговорила мать, передавая чемоданчик мальчику.

— Опаздываем уж! Давайте поскорее! — крикнула недовольная секретарша, посиневшая от холода.

Когда вышли за порог и прошли по узкой тропе несколько метров, Нина остановилась.

— Подождите меня, я сейчас! — она со всех ног устремилась к дому.

Анна не успела удержать дочь. Девочка уже была на пороге. «Что это она удумала?» — не понимала мать.

Секретарша тянула за рукав остановившегося мальчика. Ниночка уже бежала обратно, задыхаясь и плача. Обогнав маму, она бросилась к Роме:

— На шоколадку возьми, чуть не забыла.

Она сунула в карман ему подаренную ей в Новый год шоколадку. Рома отвернулся, выдернул резко рукав пальто из руки секретарши и пошёл впереди, не оглядываясь. Девочка стояла в растерянности, затем зарыдала, понимая, что навсегда теряет ставшего ей родным человека.

Вешки

— Юра-а! — женский голос летел через совхозный двор, эхом отражался от осевшего после бомбёжки амбара, слышалось: «Ура-а!»

— Тебя мамка кличет, — сказал Витька Сонин, просто Соня, закадычный друг.

— Не глухой, — нехотя отозвался мальчик.

Они играли в городки.

— Темно уж, завтра доиграем, — предложил Витька. — Пора до хаты.

Серые сумерки обволакивали двор. В домах вспыхивали тусклые огоньки керосиновых ламп. Летучие мыши, светлячки, ночные бабочки сменили стрижей и ласточек. Майские жуки с шумом проносились над кустами акации, ударялись о ветки и с треском шлёпались на землю.

— Где тебя чортяки носят?! — услышал Юрка недовольный голос мамы. — Закрой ставни да тазик с водой прихвати, мыться будешь.

Мама насыпала в таз золы, размешала мочалкой и стояла наготове.

— Я сам! — сын отвёл мамину руку.

— Ладно, — неожиданно быстро согласилась мать, — проверю.

Юрка шмыгнул облупленным носом и стал мыться. Щёлочь пощипывала свежие царапины, ссадины. Мать возилась у примуса, что-то готовила к ужину.

«Опять мамалыга...» — подумал Юра.

Мама, как и обещала, проверила работу сына.

— Так, на «троечку», — сказала она. — Можно было и лучше.

Увидев, что он растревожил засыхавшие раны, обняла.

— Устал, бедняга, набегался. Завтра чуть свет на прополку кукурузы поедем.

Она вздохнула, усаживаясь за стол, на котором дымилась мамалыга. На дощечке лежала рубленая пожелтевшая селёдка, липкий, плохо пропечённый кусок чёрного хлеба, пучок лука. Юрка, обжигаясь, проглотил свою порцию мамалыги и смотрел на сельдь. Подовинул к себе и стал брезгливо рассматривать подозрительный продукт.

— Ржавая! — решительно сказал он. — Не буду. Сами ешьте!

Перед глазами его всплыла недавняя картина, увиденная им на вокзале. Тогда они со Степаном, трактористом, возвращались с рыбалки и зашли на станцию попить. Из здания вокзала санитары выносили молодого бойца. Пилотка с красной звездой лежала на его груди, мокрые волосы прилипли ко лбу.

— Готов, — выдохнул санитар, — селёдки ржавой объелся с голодухи. Расстужись, честной народ, дорогу, дорогу!

— Може, ще очухается, — вытирая слёзы грязным платком, предположил парнишка, сидевший прямо на каменном полу у входа в вокзал.

Возле согнутой в колене ноги паренька лежала офицерская фуражка с мелочью. Короткий синий обрубок другой ноги выглядывал из рваной, свёрнутой вдвое штанины, шевелился и подёргивался, словно оторванный хвост ящерицы...

— Нам больше достанется, — донёсся до Юры радостный голос сестрёнки.

Она поставила селёдку рядом с собой и принялась очищать мелкие, отставшие от мяготи косточки, сняла пожелтевшую кожицу и начала есть.

— Что, я враг вам? — мама смотрела недоуменно на сына. — На работе в конторе в обед все ели — и ничего.

Юрка есть рыбу не стал, попил кипятка с сахарином, помыл пахнущие селёдкой руки и пошёл в свой угол, где на полу лежала свёрнутая рулоном постель. Развернул вдоль стены, поправил подушку и нырнул в неё стриженной, выгоревшей до белизны головой.

— Спокойной ночи! — озорно крикнула Люся. — Не проспи, без тебя уедем!

Брат не откликнулся. Юрка спал. Он спал, зная, что мама разбудит. Не слышал, как под утро разразилась гроза, поднялся ветер, полыхали молнии, гром с треском разрывал небо. При каждой вспышке молнии сильнее закрывались глаза, при раскатах грома тело мальчика вздрагивало, как при бомбёжке. Запах гари испугал. «Пожар!» — подумал он, просыпаясь.

— Вставай, сына, пора, скоро солнце взойдёт, — услышал хриловатый голос.

Мама стояла в дыму и отгоняла его руками от лица.

— Драники пригорели. Ливень прошёл, сыро в поле, да это хорошо, легче кукурузу прорывать, к обеду, глядишь, потряхнет. Поднимайся!

— Сейчас, полежу трохи, — отозвался сын.

Подняла Юрку сестрёнка. Села на него верхом и начала тормошить.

— Отстань! — отмахивался брат. — Надоела!

— А у нас что-то есть, — не унималась Люся, — тебе не достанется.

Юра вскочил, умылся и устроился на табуретке у стола. Позавтракали подгоревшими картофельными лепёшками. Пили ячменный кофе, мутный и густой, зато с конфетами. Чёрный комок с бумагой, в земле, с засохшим повидлом, мама отмыла, соскоблила бумагу и грязь, обдала кипятком.

— Я обойдусь, — сказала она, — ешьте сами.

У порога стояла свежая лужа. Возле амбара в воронке от снаряда купались голуби. Юрка подошёл к запряжённой в телегу лошади, погладил по холке и протянул обнюхивленный кусочек конфеты. Гаубица, так звали кобылу, аккуратно, одними губами взяла подарок.

— Хитренький! — сверкая глазёнками, подбежала Люся. — А вот от меня, — она вытащила изо рта и поднесла к губам Гаубицы почти целую подушечку.

Списанную, израненную лошадку зоотехник приняла от воинской части. Выходила, как дитя, залечила раны, и теперь служила та верой и правдой. Мама ловко села на телегу, помогла Люсе. Юрка забрался сзади и примостился на свежем сене.

— Но-о! — мама пошевелила вожжами, и лошадь покорно тронулась. Впереди виднелась арба с волами, на которой ехали рабочие совхоза с ребяташками. Свежий ветерок доносил запахи железной дороги: угля, мазута и калёного железа. На заборе, обтянутом по верху колючей проволокой, были видны следы недавней оккупации — чёрные, несмываемые немецкие кресты. За забором на платформах стояли искорёженные танки, зенитки, миномёты. Впереди зеленели, искрясь росой, совхозные поля. Солнце взошло, туман стал подниматься и таять. Утренняя прохлада сменилась теплом. Юрка, прикрыв глаза, лёг, подложил руки под голову и смотрел в ясное небо. Мама опустила вожжи, лошадь сама шла лёгкой рысцой. Обогнали арбу и поехали вдоль кукурузного поля.

— Это всё наше? — испуганно спросил Юрка.

— Всё вокруг совхозное, всё кругом моё, — пропела мама. — Гарная кукуруза будет, — добавила она, глядя на тёмно-зелёное поле без конца и края.

— И это всё, всё надо о-о-об-работать? — вымолвил сын.

— Не всё сразу. У страха глаза велики. Глаза боятся, а руки делают, — успокоила мать. — Сегодня немного, завтра немного. Курочка по зёрнышку клюёт.

Остановились.

— Здесь ваш обед, перекусите, когда проголодаетесь, — она положила у обочины под куст малины узелок с продуктами. — Мне надо на выпас, к стаду. Когда все подъедут, начинайте работать, выберете себе по рядку и гоните.

Юра сразу взял власть в свои руки.

— Ждать всех не будем, начнём, пока не так жарко. Бери себе рядок, а я пойду рядом, только не отставай, ждать не буду, сама управляйся.

Люся раздумывала. Пробежала и остановилась там, где кукуруза была реже.

— Чур, мой! — заявила девочка и опустилась на колени.

— Шустрая ты больно, я погляжу! — удивился брат и загорелся: — Погнали!

Везде полно сорняков: жёсткий с длинными, словно проволока, корнями пырей, цветущие одуванчики, молочай. Кукуруза крепко сидела в земле. Короткие белые корешки упорно держались и не хотели отрываться.

«Так дело не пойдёт, надо что-то придумать», — соображал Юрка.

Метрах в тридцати на пригорке стоял дуб. Перед войной в него ударила молния, расколола на две половины, обожгла могучий ствол. Половина дерева засохла, другая переболела и по-прежнему зеленела. Юрка подобрал в кювете сучковатую палку (на всякий случай, а вдруг гадюка!) и направился к дубу. На подсохшей дороге грелись зелёные и серые ящерицы. Увидев мальчишку, быстро скрывались в норах, в густых придорожных зарослях.

Вокруг росли молодые дубки, кусты тёрна, шиповника. Юра сорвал несколько нераскрытых бутонов шиповника, забросил в рот. В песке нашёл обгоревшую щепку, расколол острым голышом, проверил на прочность и побежал назад.

— На, держи, это тебе, смотри, как здорово получается! — обрадовался брат.

Он быстро приспособился к изобретению, оторвался от сестры. Чтобы она не хныкала погнал два рядка.

— Кто-то скачет там, Шаляпин, кажись! — закричала Люся.

Юрка выпрямился и увидел подъезжавшего директора совхоза Фёдора Ивановича Шестакова, прозванного Шаляпиным за зычный голос. Дядя Федя был в гимнастёрке с орденом Красной Звезды, в офицерском галифе, в сапогах. Он недавно вернулся из госпиталя, где лежал целый год после контузии и тяжёлого ранения. Нога у него сохла, ходил с тросточкой.

— Значит, вы решили с этого края начать? — спросил директор. — Ну что ж, можно и так.

Внимательно осмотрел участок поля, где прошли ребята.

— А это что у тебя за чучело такое, ворон пугать? — обратился к Юрке и показал на суковатую палку с тюбетейкой.

— Да это так, чтоб видно было, для себя, — пояснил смущённо парнишка.

— Вешка, значит. Добре, добре! И ты, цыганёнок, тут играла бы с куклами, глазастая. Вы вот что, хлопцы, сорняки вырывайте только из рядков. Ей, кукурузе, лишь бы укрепиться, а там сам чёрт не страшен. Через месяц она вымахает, выше вас будет. Мать-то где?

— До коров, в стадо уехала, — одновременно ответили «хлопцы».

— Пить захочется, в арбе бидоны с водой. Я тоже на выпас слетаю, — сказал он.

Люся, сидя на земле, медленно, но усердно продвигалась вперёд. Когда дошла до того места, где брат начал прихватывать и её рядок, обрадовалась.

— А у меня здесь чисто, смотри, Юра! — запрыгала девчушка.

Брат промолчал, переставил вешку и оглянулся назад.

— Половину прошли!

Скоро стали видны головы идущих навстречу. Они то появлялись, то, словно нырнув, исчезали.

— Надо поторапливаться, — решил Юрка и лёг на землю.

Он вырывал с корнями слабые молодые побеги кукурузы, собирал в пучок, бросал в придорожные кусты.

— Танки! — крикнул брат, бросая «связку гранат». — Ложись!

— Мотри, что у меня? — подбежала Люся.

Она держала в ладошке божью коровку. Та проползла до запястья и вспорхнула.

— Работать надо, — проворчал «командир» сердито. — Видишь, там, впереди, идут нам навстречу? Это «враги».

Девочка приподнялась на носочки.

— Не вижу, где?

— Садись на меня, — предложил Юра, опускаясь на корточки.

Люся легко запрыгнула на плечи братишке.

— Но, лошадка! Поехали!

«Лошадка», опираясь о землю, выпрямилась.

— Теперь видишь?

— Ага... Ого, сколько народу! Это же наши, все совхозные. Выдумываешь!

— Отдохни, — предложил он сестре, — сбегая за харчами.

Когда вернулся, Люся сидела возле арбы вместе с Витькой, его мамой. Здесь же рассаживались и остальные.

— Встреча на Эльбе, — улыбнулся директор. — Войско вот только у тебя, Юрок, малочисленное. Ешьте, надо сегодня с этим полем управиться.

Женщины предложили перекусить, Шаляпин отказался.

— Я у пастухов молочка попил та горбушку с чесночком схрумкал.

Юрка зачерпнул ковшиком из бидона воды, попил, ополоснул вспотевшее лицо, вымыл руки, подсел к Витьке. После обеда все подходили к бидону, подолгу пили.

— Хоть воды вдоволь напьёмся, — сказала Витькина бабушка. — Пошли, ребятня, к дубу прогуляемся. Мы с вами, как этот дуб. Шарахнула нас война по голове, обожгла окаянная. Выживем!

Юрка прилёг рядом с дядей Федей, тот дремал, шевелил губами, иногда легко всхрапывал. После очередного чересчур громкого храпа вздрогнул и открыл глаза.

— Смотри ты, уснул? — удивился директор. — Мне пора, в конторе заждались.

После обеда работалось тяжелей, солнце жгло кожу, лицо покрывалось потом. Ребята то и дело подбегали к арбе, лили на себя воду, визжали девчонки, басили под-ростки, пока бригадириша не прекратила это «безобразие».

— Развеселились, хватит баловаться! Вода для питья. До вечера ещё ого сколько!

Ребята унялись. Юра с Люсей уже видели край поля. Это и успокаивало детей, и заставляло быстрее продвигаться вперёд.

— Не могу больше! — захныкала сестрёнка. Подошла к брату, обхватила его ручонками, уткнулась лицом живот. — Давай отдохнём, устала я очень.

— Смотри, совсем немного осталось, капельку потерпи, свой рядок закончу и тебе помогу. Посиди немножко.

— Гля, к нам кой-то едет, дяденька, кажись.

— Ребятишки, чьи будете? — спросил незнакомец.

— Мамкины, ой, напужали меня, страсть! — Люся тёрла кулачками глаза.

— А как зовут мамку?

— Тётя Фрося, на ферме она начальник, — объясняла Люся.

— Понятненько... А тебя как звать-то? — спросил дяденька и записал что-то в блокноте. — И сколько же тебе, ударница, лет?

— Меня зовут Люся, мне пять, — показала ударница ладошку.

— Большая уже, Людмила! — улыбнулся мужчина.

— А вы кто? — спросила девочка.

— Из газеты я, корреспондент.

Подошёл Юрка. Он закончил свой рядок, глаза его победно горели.

— Ты пионер? — переключился корреспондент на мальчика.

— Не-а, — покачал головой паренёк.

— Октябрёнок ещё? — продолжал спрашивать приезжий.

— Что вы, я большой, мне уже десять лет.

— Большой-то большой, а как же ты беспартийным оказался?

— Война была.

Мужчина сходил к лошади, поковырялся в рюкзаке и снова подошёл.

— Говорят, вы молодцы, стахановцы!

Он долго устанавливал треногу, заставлял ребят переходить с места на место.

— Вот так хорошо будет, встаньте чуточку левее.

Фотоаппарат затрещал, щёлкнул и смолк.

— Готово! — крикнул селькор.

— Мы кузнецы и дух наш молод... — пропел Юрка любимую песню кузнеца дяди Ивана. — Люська! Иди к арбе, умойся и отдыхай сколько хочешь. Я закончу твой рядок и приду.

Люся покорно побрела. Юра прополосл остаток кукурузы. Начинало темнеть, мерцающая, появилась первая вечерняя звезда.

— Мама, мама едет! — запрыгала Люся.

— Сморились, голодные, вижу. Я тоже устала. Корова объелась чего-то, отравилась. Вот я и возилась с ней. Жалко! И так дойного скота мало, — сокрушалась мама. — Садитесь, ночь надвигается. Поедем.

Люся сразу уснула. Мать взяла её на колени, отдала Юре вожжи.

— Правь, сына, лошадь дорогу знает.

В другое время он бы обрадовался такому случаю. Теперь равнодушно поглядывал на темнеющую дорогу, на дальние редкие огни большой станции. Телега подпрыгивала, и Юркина полусонная голова моталась из стороны в сторону.

— Никак уснул, сынок? — слышал голос мамы. — Ложись рядом с Люсей.

Он переполз к сестрёнке, свалился на бок и уснул. Сквозь сон слышал скрип ворот, лай Казбека, знакомый голос совхозного сторожа.

— Пристали дитятки, умаялись.

Старик помог маме занести детей в дом.

— Худэсенький хлопчик, — сокрушался он. — Гаубицу, Лексевна, распрягу, не беспокойся.

Мать помыла дочь, помогла сыну вымыть ноги и обессилено присела на скамью.

Через пару дней, после ужина, когда дети уже готовились ко сну, мама сказала:

— Совсем закружилась, чёртова баба, чуть не запаматовала. Вы у меня, оказываются, ударники, передовики! Районку сегодня принесли.

Она порылась в сумке и, улыбаясь, показала свёрнутую четверо газету. Аккуратно развернула.

— Читай, сынок!

Юрка прочёл вслух: «Эхо войны».

— Да не здесь, смотри вот сюда, — взяла палец чтеца и ткнула им в фотографию.

Люся уже сообразила и внимательно рассматривала фото.

— Совсем не похоже! — разочарованно заявила она.

Юра с трудом узнал себя: глаза его на фотографии были закрыты, и казался он совсем маленьким, щуплым и беспомощным мальчишкой. Статья называлась «Дети в поле». В самом конце несколько строк отчёркнуты красным карандашом.

«Наравне со взрослыми, а порой опережая их, трудились дети рабочих. Особенно отличились дочка заведующей МТФ пятилетняя Люся и десятилетний сын Юрий. Они по-ударному, помогая друг другу, первыми выполнили задание», — читал он.

— Уморил, — заметила мать, — совсем читать разучился, горе ты моё луковое.
Сын продолжал, не совсем понимая смысл текста.

«Ребята, чтобы яснее видеть цель, ставили на рядках вешки и так продвигались вперёд. Честь и хвала им. Впереди на большом жизненном пути их ждут новые вехи, указывающие дорогу в светлое будущее», — дочитал Юрка и устало выдохнул.

— Наконец-то! — заулыбалась мама. — Молодцы огольцы! Не подкачали! Ничего, ребятушки, скоро заживём. Будет и на нашей улице праздник!

И по тому, как сияли её глаза, светилось лицо, чувствовалось, что мать рада за детей и гордится ими.

— Это вам на память, вырастите, своим детям будете показывать, — сказала она, пряча газету на этажерку в толстую книгу. — Жаль, отец ваш не видит и не слышит этого. Он бы не нарадовался!..

Пышка с изюмом

Целый год Витька с мамой и двумя младшими сестрёнками прожил в оккупации, в небольшом кубанском хуторе.

Как многие сверстники научился переносить холод, не бояться бомбёжек и обстрелов, все его чувства — чувства маленького человека, притупились. И только одно желание — желание есть — никогда за все эти годы не покидало. Ранней весной в жуткую распутицу мама собрала в узел все пожитки, вручила Витьке старую перину с двумя подушками, девочкам — остатки посуды.

— Хватит, — сказала она с горечью, — натерпелись, поедem куда глаза глядят, мир не без добрых людей, не пропадём. Грузите вещи в арбу!

На улице в разбитой вязкой колее стояла пара волов, запряжённых в высокую решётчатую арбу.

— Цоб, цобэ, — вяло, взмахнув кнутом, прошамкал беззубый усатый возница, когда весь скарб погрузили и пассажиры уселись на потёртой соломе.

Волы тронулись, арба заскрипела и, покачиваясь, двинулась с места. До ближайшей станции ехали долго. Ещё дольше ждали поезд, который один только и останавливался на степном полустанке. Потом ехали на военной, крытой брезентом машине, и уже в горах — на узкой лесной дороге, пересели в какую-то повозку, которую бойко таскило незнакомое Витьке, похожее на лошадь животное. «Ишак», — объяснила мама.

Путешествие продолжалось почти две недели. Делали остановки в станицах и посёлках, ночевали у незнакомых чужих людей. Наконец, в товарном вагоне добрались до большой узловой станции. На вокзале решили переночевать. Был уже вечер. Густой сизый туман, смешанный с дымом паровозов, накрыл расположенный в низине вокзал. Редкие фонари не могли пробить влажную тяжёлую мглу. Ночевали на грязном затоптанном пассажирами полу. Утром, когда туман рассеялся и лучи солнца робко стали пробиваться сквозь грязные запотевшие стёкла вокзала, пришла мама с худенькой, похожей на девочку тётей.

— Такая орава! — рассматривая детей, удивилась незнакомка. — И как ты с ними управлялась в оккупации? Ума не приложу. Боюсь, что мы с вами не сойдёмся.

— Через месяц одна уедет к бабушке на Украину. Так что мы останемся втроём, — успокоила её мама.

— Здесь недалече, рядом с вокзалом и до центра рукой подать, — не слушая маму, продолжала женщина.

Она семенила рядом с ребятами. Скоро свернули в узкий переулок и остановились возле деревянной покосившейся калитки со следами зелёной краски.

— Вот тут мы и живём, горе мыкаем, — поворачивая тяжёлое железное кольцо дверцы, негромко, почти шёпотом сказала хозяйка. — Генка, внук мой, спит без задних ног, набегался вчера до полусмерти.

Щеколда клацнула, и массивная калитка легко открылась, увлекая за собой лёгонькую старушку.

— Вот так и катаюсь каждый раз, как девочка, — улыбнулась хозяйка, поправляя подол цветастой ситцевой юбки. — Зять всё собирался починить, да так и не успел, бедный, пропал без вести. Проходите. Я комнату приготовила. Отдохнёте пока, а потом я всё вам объясню, что и как.

Часа через два в помещение, где поселились новые жильцы, вошла хозяйка с рыжеволосым, веснушчатым внуком. Красные, как медь, волосы на голове щуплого мальчишки стояли дыбом. Он исподлобья рассматривал приезжих.

— Отдохнули? — спросила хозяйка, присаживаясь на большой невысокий сундук с блестящим висячим замком. — Будем знакомиться, меня зовут Ванда Казимировна. Это мой внук Геннадий, круглый сирота. Отец погиб, а маму, дочь мою, фашисты угнали в 42-м в Германию. С тех пор ни слуху ни духу. Гену я спрятала, спасла от неметчины. Порядки вы, наверное, знаете, везде одинаковые. Без моего разрешения ничего не брать, друзей и товарищей в дом не водить, платить за квартиру в срок. Ну и так далее, — сказала она, вставая, — разберёмся, проживём увидим.

— Нам не привыкать, всего навидались, дети у меня послушные, — мама строго окинула взглядом сидящих на полу детей и, как в школе, стала по порядку поднимать ребят с места.

— Это наш старшенький, мужчина, надежда наша и опора.

Витька, смущённый похвалой, привстал и, потупив голову, как провинившийся школьник, смотрел в пол.

— Худоба, — сокрушённо кивнула хозяйка. — Да и мой не лучше, кости да кожа.

— Это Таня, а это горе наше, болеет часто — Люся, родилась перед войной.

— Жаль, угостить нечем вас, сами бедствуем, никак не оклемаемся. Располагайтесь, устраивайтесь, что надо, спрашивайте, не стесняйтесь.

Жить на квартирах у чужих людей Витьке не привыкать. «Туда не ходи, это не трогай, не шуми» — везде одни запреты. Зато улица всегда твоя, там друзья и товарищи, гуляй не хочу. Одно угнетало мальчика — это противное слово «квартиранты». Но он отлично знал, как трудно устроиться на квартиру с детьми, и поэтому стойко терпел все неудобства такой жизни.

Скоро на кухне загремела посуда, в комнату, где расположилась Витькина семья, стали проникать резкие дразнящие запахи чего-то жареного. Витьку от этих запахов подташнивало, кружилась голова, а ноги подгибались в коленях. Последние дни месяца они жили впроголодь. Мама истратила все деньги на переезд, заплатила вперёд хозяйке за квартиру, а запасы продуктов были съедены.

После завтрака девчонки занялись уборкой квартиры, а брат вышел во двор, где росло несколько вишнёвых деревьев, яблони и груши. Витька насобирал удобных для броска голышей и стал сбивать засохшие с горошину ягоды. С первого броска две ягоды отделились от тонких веточек и стали медленно падать. Это были вишнёвые косточки, обклёванные птицами, иссушенные морозами и ветрами. С жадностью вдохнул он оставшийся запах вишни и так же жадно раскусил. Косточки оказались пустыми, только тонкая сухая плёнка прилипла к нёбу. Витька с трудом достал её языком, разжевал. Приятная терпкая горечь наполнила рот. Он сглотнул, разжевал податливую скорлупу, но больше не стал сбивать: с порога торопливо сходила мама.

— Вы тут не балуйте без меня, — крикнула она, закрывая калитку.

Идти домой не хотелось. Витька медленно побрёл вдоль забора. В конце огорода стояли две приземистые, похожие друг на дружку молодые яблони. Ветки их уже налились соком, потяжелели и розовели на солнце.

«Скоро зацветут», — подумал он, трогая пальцами набухающую почку.

Чуть в стороне, на границе с соседним участком, взметнулась ввысь пирамидальная груша, строгая и сухая на вид. Витька приложил ухо к стволу и услышал какие-то неясные, едва различимые токи.

«Живая! — обрадовался мальчик. Внимательно осмотрел все деревья, но клея, какой бывает весной на фруктовых деревьях, нигде не обнаружил. — Генка поработал», — догадался, облизывая сухие губы, парнишка.

Под грушей, на солнцепёке, блаженно дремали куры. А в противоположном углу двора, там, где молодая трава, радуясь солнцу, начала куститься, лежала белая, как облако, коза. Увидев подходящего незнакомца, она привстала и заблеяла. В центре двора возвышался колодезный журавль с сучковатой выгоревшей до белизны тяжёлой дубовой колодой. Витька заглянул в колодец, свистнул и увидел, как на зеркальной тёмной поверхности колодца появилась рябь. На свист отозвалась дремавшая до того собака — большой рыжий лохматый пёс. Загремел цепью, хрипло зарычал.

— Ты что там высматриваешь, Виктор? — услышал он голос хозяйки.

Она выплёскивала воду из ведра прямо с порога. Витька впервые услышал своё имя в необычном произношении.

— Да так, смотрю, — стушевался от неожиданности парнишка.

— Будь ласка, набери мне ведёрко воды из колодца. Сможешь? Бадья тяжёленькая, полную не набирай, не вытащишь.

— Смогу! — уверенно заявил мальчик.

Бадья, действительно, оказалась нелёгкой, и Витька, напрягая спину и руки, кое-как тянул её из глубокого колодца.

— Широ дякую, — поблагодарила хозяйка, когда Витька подал полное ведро прямо на порог. — Казбек, хватит, уймись! — приказала собаке.

Но пёс уже перестал хрипеть и смотрел на хозяйку умными карими глазами.

— Он не тронет: видел, как вы со мной во двор входили. Гарный пёс.

Этот украинско-русский говор был понятен и привычен для приезжего. Довольный собой, он дважды прокатился на калитке, посматривая, не видит ли кто. На улице столкнулся с Генкой. Тот с сумкой на спине возвращался из школы.

— Училка заболела! — радостно заявил он.

— Школа далеко отсюда?

— Не-а, тама внизу, — Генка махнул рукой, показывая направление. — Пойду домой, шамать страсть охота, аж слюнки текут.

Напоминание о пище смутило и расстроило Витьку. Он, хмурясь, зашагал вниз по улице. Ни машин, ни подвод не было видно. Сзади, там, где виднелась железнодорожная насыпь, прогремел грузовой поезд. Витька, оглянувшись, увидел последнюю платформу с углём.

«Ночью спать не дадут, — сообразил мальчик, чувствуя, как под ногами вздрагивает земля. — Привыкнем», — успокоил себя, вспомнив, что до войны жили на станции Кавказской рядом с железнодорожными путями.

Несмотря на то, что в небе ярко светило весеннее солнышко, было прохладно, и Витя пошёл к дому. Его встретила Люся.

— И где тебя черти несут? — голосом мамы спросила она строго.

— Отстань! — отмахнулся брат. — А Таня где? — спросил уже спокойнее.

— Таня у бабушки, помогает Генке уроки учить, училка у него заболела, — с готовностью доложила сестра.

— Мама ещё не приходила?

— Нет, не приходила.

Витька снова ощутил запах жареного и чего-то ещё, еле уловимого.

— Мамка идёт! — дoloжила вбежавшая из соседней комнаты Таня.

Ребята и вместе с ними Генка бросились на порог.

Мама принесла буханку свежего чёрного хлеба, пару селёдок и бутылку подсолнечного масла. Масло налила в широкую миску, круто посолила. Дети с жадностью наперегонки макали в масло куски хлеба. К селёдке достала она четыре сваренных вкрутую куриных яйца.

— Насытились? — довольная спросила мать, когда всё исчезло со стола. — Отдохните, да надо устраиваться, разбирать вещи, наводить порядок.

Спать легли рано. Керосиновую лампу зажигать не стали: не было керосина, а от коптилки, которую предложила хозяйка, мама отказалась.

— За войну надоела, — сказала она, — вонь от неё и копать.

Витька не без удовольствия закрыл во всём доме ставни. Хозяйка протопила большую русскую печь — ночами ещё было прохладно, пожелала всем спокойной ночи, закрыла все двери на засовы и бесшумно удалилась в свою, похожую на каморку, маленькую комнатку. Витька, спавший вместе с девочками на полу, слышал грохот железнодорожных составов, гудки паровозов, лай собак.

Когда проснулся, было уже воскресное утро, туманное и холодное. Сёстры давно встали и шушукались о чём-то. Мама всё ещё лежала с закрытыми глазами.

— Пойди, Витя, открой ставни в нашей комнате, темень, — попросила она.

Сын с неохотой встал и, шаркая босыми ногами, пошёл на улицу.

— Галоши надень! Нечего грязь таскать! — догнал его голос матери.

Во дворе ничего не было видно: ни собачьей будки, ни сарайчиков. Тёмными великанами казались деревья. Где-то жалобно блеяла коза. С крыши текло, а с неба беспрестанно сыпались мелкие холодные капли. Но дождя не было. Витька с трудом открыл отяжелевшие мокрые ставни, запотевший шкворень долго не поддавался ему. Мальчишка озяб и бегом бросился в комнату. В доме стоял полумрак. Витька лёг на место и укрылся маминым зимним пальто. Несколько раз к новосёлам робко заглядывал Генка. Наконец, он осмелился и постучал в полуоткрытую дверь.

— Заходи, гостем будешь, не стесняйся, — пригласила хозяйина Таня, — мы уже давно встали, читаем вот с Люсей.

Генка в нерешительности переминался с ноги на ногу. Затем подошёл к лежащему Витьке и заговорщицки прошептал что-то ему на ухо.

— Не хорошо шептаться в обществе, — заметила мама. — А ты вставай, нечего вылеживаться, день уже. Бабушка-то где?

— В церковь с утра убежала, не скоро придёт, — смутился Генка.

Витька натянул шаровары, надел старенький свитер и, увлекаемый Генкой, скрылся за дверь.

— Вы там недолго, завтракать надо, — предупредила мальчишек мать.

То, что показал Генка, не вызвало ни восхищения, ни зависти. Зажигалки, сделанные из винтовочной гильзы, были у всех уважающих себя мальчишек. Простой обыкновенный фонарик и ржавый перочинный ножичек тоже не удивили. Витька с откровенным безразличием, даже с пренебрежением, рассматривал эти привычные для него вещи. Тогда Генка вытащил откуда-то почти настоящий наган. С чёрной рукояткой, с хорошо укреплённой латунной трубкой — стволом.

— У меня термит есть и порох, и настоящая фабричная пуля. Только ты никому не говори, ладно? Это я выменял у одного пацана, конёк у меня был «снегурка».

Тут скрыть своё восхищение, удивление и зависть Витька уже не мог.

— А стрелять ты умеешь? — спросил он

— Не-а, — с сожалением протянул Генка, — ни разу не стрелял.

— Давай сегодня вечером постреляем, я могу.

— Порох намок. Я его спрятал возле забора.

Генка замотал всё в грязную тряпку и куда-то унёс.

— Хлопцы, кушать подано, — донёсся из соседней комнаты мамин голос.

— Пошли, позавтракаешь с нами, — пригласил Витька.

— Мы уже поели с бабушкой, — отказался Генка, — пойду прошвырнусь.

Туман лёг обильной росой только во второй половине дня. Оказалось, что солнце никуда не уходило и было на своём привычном месте. На небе ни одной тучки, только впереди, за дальним лесом, за холмами, возвышался белоголовый Эльбрус.

Ванда Казимировна пришла из церкви уставшая и какая-то растрёпанная. Она прилегла в каморке, решила немного отдохнуть после долгого стояния в храме. Генка всё ещё не приходил.

«И где это он до сих пор шляется, не набегается никак», — думала бабушка.

— Идите, погуляйте во дворе, да ничего там не трогайте и на улицу пока не выходите, успеете ещё, — сказала мама. — А я займусь делом.

Дети высыпали во двор. Люся приманила к себе доверчивых кур, поймала одну и прижала к лицу. Таня кормила козу побегами молодого одуванчика. Витька робко направился к собачьей будке и остановился на полдороге. Казбек с интересом высунулся из конуры, и слышно было, как тяжёлый хвост изредка постукивал по доскам. Идти дальше Витька не решался, в руках у него ничего не было. Последнюю горбушку хлеба съели в обед. Он пошёл вдоль внутреннего забора. И вдруг вспомнил, что где-то здесь спрятал Генка порох с термитом. Внимательно присматривался к каждой кочке, заглядывал в рытвины, обследовал все кусты и кустики, но никаких признаковклада не обнаружил. «Надёжно спрятал», — подумал Витька, и в это время услышал голос мамы, резкий и злой.

— Ну-ка быстро идите домой, сейчас же!

Так мама обычно звала детей, когда те, заигравшись на улице допоздна, не торопились идти домой. Но теперь в голосе было не только недовольство, но и гнев. Она с хозяйкой стояла на пороге. Тут же, на крылечке, облокотившись на поручень, полулежал Генка. «Пришёл уже», — отметил про себя Витька.

— Это ваша работа, признавайтесь? — спросила мама.

Она крепко ухватила сына за руку повыше запястья и потянула к себе.

— Твоя, негодник?! Молчишь!

— Какая работа? — Витька не знал причины гнева и смотрел ей прямо в глаза.

— А то ты не знаешь, паиньку из себя строишь, ягнёнок! Пышку кто у Ванды Казимировны из шкафчика украл? Может быть, я? Или сама она, как колобок, от бабушки ушла?

Витька чуть было не рассмеялся, но только кривая полуулыбка, жалкая и больная, обозначилась на его физиономии.

— Может, кто-нибудь из вас? Смотрите мне в глаза, кого я спрашиваю? — переключилась мама на дочерей.

Те в голос заревели.

— Витька с Генкой днём чёй-то шушукались, помнишь? — нашла Таня. — Вот они и слопали пышку, — добавила она, прячась за маму.

— Не бери чужого, не бери чужого! — мама пыталась шлёпнуть сына пониже спины, но он увёртывался, поворачиваясь и изгибаясь лёгким худым телом.

— Не брал я, не брал никакой пышки, в глаза не видел! — кричал сын.

Он вырвался из рук матери и покатился по ступеням крыльца. Быстро поднялся. Впопыхах долго не мог открыть калитку. Душила обида. Слёзы готовы были брызнуть из глаз, а рыдания уже вырывались из горла. Как доказать им, что он не виноват? Калитка открылась, и мальчик, не закрывая её, бросился бежать. Куда? Он не знал. Ноги

стали подкашиваться, и он упал, споткнувшись о старый трухлявый пенёк. Не обращая внимания на выступившую кровь из изодранной в клочья кожи на локтях и коленях, лежал, сотрясаясь всем телом.

— Пошли, вещи собирайте, пойдём на вокзал! — приказала мать девочкам.

— А Витька? — всё ещё плача, спросила Люся.

— Не хочу его видеть. Пусть идёт на все четыре стороны. Нет у меня больше сына. Господи, да что ж это такое творится! — она заплакала.

Ванда Казимировна, мрачная и растерянная, ходила из комнаты в комнату. Ей было жалко молодую женщину, но держать таких квартирантов она не хотела ни за какие деньги. «Что дальше будет? Это только ягодки. Мой Генка никогда не тронет чужого», — думала она. Когда девочки, плачущие вместе с матерью, собрали вещи, хозяйка молча протянула женщине деньги и ушла на кухню.

Мать взвалила на плечи основную ношу. Таня и Люся с сумками в руках тащились за ней. За калиткой мама остановилась.

— Не могу, девочки, сердце расшалилось, — она сбросила с плеча вещи и тяжело опустилась на скамейку.

Девочки сели рядом и уткнулись в подол маминого платья.

— Найдите Витьку! — мама тяжело поднялась и снова села. — Голова кружится.

С криком «Ви-и-тя!» девочки побежали в разные стороны. Мальчик хорошо слышал голоса. Он уже собирался идти, только не знал куда. Рыдая, размышлял, заранее жалея себя: утопиться в речке или броситься под поезд. Видел себя в гробу бледным, жалким, и слёзы текли по щекам. Витька замёрз, и от этого тело содрогалось ещё сильнее, чем прежде.

— Они пожалеют, что не поверили мне, но будет уже поздно, — вырвалось у него с горечью.

— Люся, Люся, иди сюда, я нашла Витьку! Он здесь лежит, — Таня бросилась на брата, обняла. — Пошли к маме, мы собрали все вещи, пойдём на вокзал.

— Отстаньте от меня, никуда я не пойду.

Подошла мама.

— Не дури, пошли, пока не стемнело, надо где-то устраиваться, хотя бы на ночь. Бог с ней, с этой пышкой. Взял, так имей смелость признаться. Будь мужчиной, — она обняла сына и хотела притянуть к себе.

— Мама, мамочка, честное слово, ей-богу, не брал я никакой пышки, — он выскользнул из рук матери и отбежал в сторону.

— Ладно, — примирительно сказала мать, — бери свой узел и пошли.

Семейство с узлами и сумками понуро двинулось по улице. Дошли до последнего дома, дальше был пустырь, поросший мелкой травой.

— Отдохнём малость, посидим, задохлась я что-то, доведёте мать до гроба.

— Хватит, мама! — заявила неожиданно Люся.

— Ты смотри, от горшка два вершка, а туда же, мать учить собралась! — удивилась мама и неожиданно рассмеялась.

Не успели сесть, как увидели бегущего Генку. Он бежал, спотыкаясь, чуть не падая, и что-то кричал.

— Подождите! — донёсся отчаянный зов мальчика. — Не уходите! Это я, я съел пышку, простите меня, я больше так не буду, — почти прокричал он отчаянно, размазывая слёзы трясущимися руками.

— Теперь это не имеет никакого значения, — равнодушно сказала мама.

И Витька почувствовал, что голос мамы подобрел.

— Тётяшка, миленькая, простите, пожалуйста, мне бабушка сказала, чтобы без вас домой не возвращался.

Он подошёл к Тане и потянул её за руку.

— Что будем делать? — мама переводила взгляд с детей на жалкого, беспомощного Генку. — В какое ты нас положение поставил, ты хоть понимаешь?

— Понимаю, — упавшим голосом вымолвил мальчик. — Не буду больше, простите меня, — он упал на колени и перекрестился. — Эй-бо, не буду, вот те крест!

— Ну, что, дети, простим его?

— Простим, простим! — вразнобой закричали ребята.

Возвращались молча. Генка взял у Люси котомку и, подстроившись под широкий шаг Витьки, что-то тихо говорил ему.

— Опять шушукаетесь? — заметила Таня.

Ванда Казимировна встретила гостей на углу улицы.

— Простите нас, люди добрые. Ведь никогда не брал ничего без моего ведома. Прятала так от себя больше. Воспользовался случаем шельмец, что можно свалить вину на квартирантов. Голодных ртов вон сколь. Эх, Гена, Гена, опозорился перед людьми. Стыдоба! Хорошо ещё, что признался, — она умолкла, вытирая лицо косынкой.

Генка шмыгал носом, подтягивал короткие, не по росту штанишки.

— Испекла пышку с изюмом, думала, почаёвничаем вечером все вместе, познакомимся поближе, и — на тебе! — продолжала хозяйка. — Проходите, кладите барахло, да посидим всё-таки вместе.

Когда через пару минут все собрались на кухне за большим столом, Ванда Казимировна поставила перед каждым красивые чашки с блюдцами, достала из шкафа несколько сухарей, большую головку сахара, плитку зелёного чая. Чай был настоящий, крепкий, душистый. Витька, ложась спать, точно знал, что завтра они с мамой и Таней пойдут устраиваться в новую школу, а потом... потом с Генкой отправятся стрелять из почти настоящего пистолета.

ПОЭЗИЯ



СВЕТЛАНА СЫРНЕВА



Таинственным гулом весь мир населён

Полынья

Грунт осенний по дорогам взрыт,
и вода застыла в колее.
И звезда меж тучами горит,
словно утонула в полынье.

Так мерцает недоступный клад,
брошенный в пучину тёмных вод.
И заиндевелых елей ряд
небо, а не землю стережет.

Ничего не помня, не прося,
тьма застыла в поле и в саду,

словно жизнь переместилась вся
в эту одинокую звезду.

Всяк, кто жил, смеялся и грустил,
не дождавшись счастья и весны,
вверил душу холоду светил,
что порой меж тучами видны.

Где твоя особенная статья,
чистота и мужество твои?
Вспомнились — а их и не достать,
не вернуть уже из полыньи.

СЫРНЕВА Светлана Анатольевна родилась в 1957 г. в дер. Русско-Тимкино Уржумского района Кировской области. После окончания Кировского государственного педагогического института работала учительницей русского языка и литературы, корреспондентом, а затем редактором уржумской районной газеты, корреспондентом кировских областных газет, находилась на государственной и муниципальной службе. Стихи публиковались в коллективных сборниках и антологиях поэзии, в «Литературной газете», журналах «Наш современник», «Москва», «Новый мир», «Сельская новь», «Подъём», «Русское эхо», «Берега», «Волга», «Сура», «Дальний Восток», «Сибирские огни» и многих других периодических изданиях. Светлана Сырнева — автор семи поэтических сборников, лауреат нескольких Всероссийских литературных премий, кавалер ордена Достоевского первой степени, член общественного совета журнала «Наш современник», член редколлегии журнала «Подъём», секретарь правления Союза писателей России. Живёт в городе Кирове.

Кривая берёзка

Это давнего, дивного детства весна,
где природа блеснит, оживая.
И опять во все стороны света видна
в чистом поле берёзка кривая.

Пусть убога, мала, не на месте взошла
и над пашней шумит, не над лугом —
осторожно её борона обошла,
не задело родимую плугом.

Кто её уберёт для себя и детей,
кто пахал этот клин худородный?
Фронтовик, навидавшийся всяких смертей,
иль подросток деревни голодной.

Это было в далёкой советской стране,
это есть колыбель и обитель.

Вот он едет в село на железном коне —
работяга, отец, победитель.

Это жизнь, это в космос Гагарин ушёл,
и туда же качели взвоятся.
И ребёнка спросонья сажают за стол,
где раздольные песни поются.

Это миф, это клад, потонувший в веках,
и подобного больше не будет.
Я спала — и носили меня на руках
богатырские русские люди.

Из огня, из беды вынимали на свет,
в руки добрые передавая.
И стремительной жизни глядела вослед,
удалялась берёзка кривая.

Осенняя оборона

Сгнули ласточки и соловьи,
холодом веет от поздних восходов.
И на пустые дороги твои
яблоки падают из огородов.

Грозных рябин загорелись костры,
яростно светят из каждого сада.
Блещут лопаты, стучат топоры,
словно бы строится здесь баррикада.

Лёг бы и ты в эту пору, уснул —
душу усталую больше не трогай, —
но урожая торжественный гул
неумолимо висит над дорогой.

Что ж, разбирай подъездные пути,
люди угнетённый, но не покорённый!

Брюкву вытаскивай, тыкву кати
в общую цепь круговой обороны!

Полные бочки, тугие мешки,
вилы, сусеки, корзины, корыта —
всё выворачивай! Всё волокити!
Это — последняя наша защита.

Солнцем вспоённая, влагой земной,
тяжких трудов результат и награда,
крепко стоит за твоею спиной
полная жизни живая громада.

Наши леса не пропустят врага,
золотом блещут победно и ново.
И, упирая крутые рога,
в каждом дворе воцарилась корова.

Окраина

Вот и окраина возле моста,
где дровяные задворки прогресса.
В воздухе вешнем печаль разлита
прямо до кромки далёкого леса.

Тут и пройдишь в колее стороной,
словно и сам ты на жизни прореха.
Жалобно жёлоб звенит жестяной,
долго висит бесполезное эхо.

Здесь в почерневших дворах ни души,
словно и люди вовек не жили.
И для кого они так хороши,
золотом неба покрытые дали!

Каждый себя отложил на потом
в жизни своей неказистой, короткой;
каждый глушил себя тяжким трудом,
каждый пропитан слезами и водкой.

Что ты, гармоника, кличешь-зовёшь
стопку, накрытую корочкой хлеба?
Брось, гармонист, — ты еще поживёшь,
зря ты так рано собрался на небо!

Не убивайся, что ты некрасив,
не вспоминай, что тебя истерзали.
И не гляди, не гляди на залив
полными слёз голубыми глазами.

Сельский ангел

Церковь закрыта в двадцать восьмом,
школа — в две тысячи пятом.
Плавают пух сорняков над селом,
силясь приткнуться куда-то.

Женщина выйдет, бледна и худая,
встанет босыми ногами,
время счастливое вспомнит, когда
бомбой нейтронной пугали.

Сорок семей: погибать по одной —
самая худшая участь.
Лучше накрыло бы общей волной,
померли б вместе, не мучась.

Тихо отпрянет куда-то во мглу,
в тёмные, старые сени.
Тянется длинный асфальт по селу,
взрытый пучками растений.

Церковь стоит посредине села,
церковь пустая, сквозная.
Липа ветвями её обняла,
купол собой заменяя.

Ясен и светел над ней небосвод,
солнца и влаги хватает.

Ангел, сказали мне, в липе живёт
и по ночам вылетает.

Чудится: робкий, неслышный, простой,
смотрит всевидящим оком,
кружится долго над фермой пустой,
над обесточенным током.

Белые крылья сложив в вышине,
смотрит и шепчет, рыдая:
«Братья и сестры, идите ко мне,
в двери небесного рая!

Там, в лучезарной долине из роз,
я вас от горя укрою.
Надо — построю вам новый колхоз,
новую школу открою!»

Спит население, лишь от души
хор насекомых стрекочет.
Невыразимо они хороши,
краткие летние ночи!

И уставая бессильно сгорать,
падают звёзды в осоку.
Полно, никто не хотел умирать
по отведённому сроку.

Таруса

Зелёной воронкой из недр выходя,
слиянием листьев и света,
сплошной каруселью садов и дождя
вращались Таруса и лето.

В малинниках душных, в крапиве густой,
в жасминном кусте и в беседке
бродил и варился тягучий настой,
сцепляющий кровли и ветки.

И в полдень тянуло на плиты с Оки
распаренным зноем купален,
и плавилась липы, жужжали жуки,
и травы к ногам прилипали.

И я бы могла, как жучок в янтаре,
неслышно приклеиться где-то,
зелёным кустом прирасти на горе,
где маленький домик поэта.

Здесь сердце забыло бы все миражи,
к которым стремилось когда-то.
Здесь вечером вырвутся в небо стрижи,
в пылающий купол заката.

И будут стремительно падать с высот
в овраги, в росу на поляне.
И снова земля их на небо взметнёт.
И снова обратно притянёт.

* * *

Это сон, это слишком опасная тишь,
значит, лёд на стремнине расколется.
Это двинулась жизнь, и, покуда ты спишь,
подступает вода под околицу.

Твой поток беспощаден, твой рокот силен,
неумолчная ночь разрушения!
И таинственным гулом весь мир населён —
гулом гибели и воскрешения.

Ни единая в небе не светит звезда
над лесами, полями, бараками.

И спасенье идёт, как приходит беда, —
оперённое теми же знаками.

Пусть над чёрною бездной белеет окно
и глядится в своё отражение,
но на части разъять никому не дано
своевольной свободы движение.

Это завтра наступит пора ремесла —
время тяглое, чистое, мутное.
И не вспомнит река, как она унесла
все мосты и заслоны минутные.

Дождь

Ближе движется эта завеса
и крадёт горизонты, крадёт.
Вот не видно окольного леса,
вот и тополь сейчас пропадёт.

Как обманчиво всё постоянство,
как зыбуче дождя вещество!
Занимай же пустое пространство —
по России так много его!

Это будет, наверное, в полдень.
Это там, где мы жить не смогли.
И мучительным гулом наполнен
весь объём от небес до земли.

Это там, где ни дома, ни сада,
где не вспыхнул огонь, не погас,
где растёт дождевая громада,
навсегда заместившая нас.

Лесной царь

Я буду скакать по холмам,
по тёмной вечерней дороге,
где тени, восстав из лесов,
клубятся в тоске и тревоге.

Гори же, прощальный закат,
не меркни, полоска живая!
Вершины вонзились в тебя,
по капле всю кровь выпивая.

Услышат ли топот копыт
в далёком оставленном стане,
где белая церковь стоит
по горло в вечернем тумане?

И скоро её навсегда
ночная завеса закроет.
Восходит на небо луна
и низко висит над горою.

Скачи же, мой преданный конь,
по родине, как по чужбине!
Исчадия ночи и зла
тебя не сгубили доныне.

Во мраке дорогу торя,
лети над родной стороною!
Дыханье Лесного царя
всё ближе у нас за спиною.

Родимый, давай, поспешай!
Заклятье мне веки сковало.
Держись! В нашей жизни с тобой
ещё не такое бывало.

Вперёд, златогривый, вперёд!
Удача тебя не обманет:
тебе же и солнце взойдёт,
тебе же и утро настанет.

Календулы

Уже, чернея в темноте,
ждала машина у калитки.
По дому пыль, и в суете
давно уж собраны пожитки.

И свет погас. Мы вышли в сад,
его навеки покидая.
Кругом тянулась наугад
земля изрытая, пустая.

Предзимняя печаль земли,
от коей ничего не надо!
И лишь календулы цвели,
забытые у края сада.

Они, возросшие в тиши,
взглянули с пажити опалой,

как современники души,
невосполняемо усталой.

И жизни гнёт, и славы тлен,
убогий слог житейской были,
итог предательств и измен
им в этот миг понятны были.

Мы мчались, обращаясь в прах,
во тьме кромешной, первородной,
и я держала на руках
букет календулы холодной.

Цветы смотрели на меня
в моём закрытом кабинете.
Они увяли за три дня,
как увядает всё на свете.

Русский секрет

Достигало до самого дна,
растекалось волной по окраине —
там собака скулила одна
о недавно убитом хозяине.

Отгуляла поминки родня,
притупилась тоска неуёмная.
Что ж ты воешь-то день изо дня,
да уймёшься ли, шавка бездомная!

Всю утробушку вынула в нить,
в бессловесную песню дремучую.
Может, всех убиенных обвить
ты решилась по этому случаю?

Сколько их по России таких —
не застонет, домой не попросится!

Знаю, молится кто-то за них,
но молитва — на небо уносится.

Вой, родная! Забейся в подвал,
в яму, в нору, в бурьяны погоста,
спрячься выть, чтоб никто не достал,
чтоб земля нарыдалася досыта!

Вдалеке по реке ледоход,
над полями — движение воздуха.
Сто дней плакать — и горе пройдёт,
только плакать придётся без роздыха.

Это наш, это русский секрет,
он не видится, не открывается.
И ему объяснения нет.
И цена его не называется.

Романс

Облетает листва уходящего года,
всё черней и мертвей полевая стерня,
и всему свой предел положила природа —
только ты никогда не забудешь меня.

Старый скорб унесли из пустынного дома,
и повсюду чужая царит беготня.
Изменило черты всё, что было знакомо, —
только ты никогда не забудешь меня.

Это грустный романс, это русская повесть
из учебников старых минувшего дня.
Как в озёрах вода, успокоилась совесть —
только ты никогда не забудешь меня.

И остаток судьбы всяк себе разливая,
мы смеёмся и пьём, никого не виня.
Я по-прежнему есть. Я поныне живая,
только ты никогда не забудешь меня.

Зимняя свадьба

Полночь. Деревня. Темно.
Стужа — вздохнуть нелегко!
Треснет в проулке бревно —
гул полетит далеко.

Роща навек замерла,
к небу вершины воздев.
Жучка — и та, как стрела,
с улицы мчится во хлев.

Где-то мерцает огонь,
резво скрипят ворота.
Там самовар и гармонь,
белая чья-то фата.

В эту морозную стынъ
любо мне свадьбу кутить,
мимо бездвижных твердынь
лихо на тройке катить.

Стой ты, дворец ледяной,
мраморный замок любви!

Песней да пляской хмельной
брызнут паркеты твои.

Эх, погуляй, слобода,
но не кичися судьбой:
русского снега и льда
в рай не захватишь с собой!

Долго душе привыкать,
как на чужбине, в раю,
вечно грустить-вспоминать
зимнюю свадьбу свою.

Из невозвратных краёв
немо смотреть с высоты
на белоснежный покров,
на ледяные цветы.

Некому будет спросить:
чем ты, душа, смущена?
И не успела остыть
вровень с бессмертьем она.

* * *

Оседала студёная ночь
серебром на бегущих конях.
Это слёзы застыли в глазах,
это я пролетаю в санях.

Ненадолго нам детство дано,
нет свободы, есть счастье одно:
с этой зимней дороги свернуть —
или сгинуть в снегах — всё равно!

Всё мне чудится беглый мотив
несворотной дороги земной.
И созвездья, на небе застыв,
судьбоносно висят надо мной.

Белый пар отстаёт, словно дым,
не задевши алмазную высь.
О, как чудно, как весело им,
как они с моей жизнью срослись!

Так беспечно я верить могла,
что не будет ни боли, ни зла,
и дорога моя пролегла
в дальний дом, где достанет тепла.

И скрипели ступени крыльца,
и визжала высокая дверь.

Этой жизни не будет конца,
а другая — бессильна теперь.

Всё познавшее сердце! Молчи,
оглянувшись далёко назад.
Я заснула. Я сплю на печи.
И созвездья меня сторожат.

Поле Куликово

Сожалеть об утраченном поздно.
И куда за подмогой пойдёшь?
На единственном поле колхозном,
как положено, вызрела рожь.

Еле слышен, развеян по воле
гул мотора — гляди и гадай:
может, это последнее поле,
может, это последний комбайн!

Весь в пыли, не растерян нисколько,
и откуда сыскался таков —
без обеда работает Колька,
без подмены трубят Куликов.

Ветер сушит усталые очи,
на семь вёрст по округе — сорняк.
К ночи Колька работу закончит.
Так задумал. И сделает так!

И, достав из кармана чекушку,
чтоб победу отметить слегка,

машинально пойдёт на опушку,
на поляну родного леса.

Как отраднo зелёному лесу
охватить его влагою тут!
И грибы ему в ноги ползут,
ему ягоды в руки пойдут.

Солнца луч предзакатный и длинный
намекнёт, где присесть не спеша.
Набери на закуску малины,
Колька, Колька, родная душа!

Передряги твои позабыты,
жив как есть, хоть и вовсе один.
Выше горечи, выше обиды
несмолкающий шелест вершин.

Спи под сводами древнего шума,
здесь не сможет никто помешать.
И не думай, вовеки не думай,
для чего надо жить и дышать.

* * *

Выше тепла и жилья,
словно изверившись в нём,
птиц перелётных шлея
зыблется в небе пустом.

Горних струя воздушей
где-то над нами прошла,
и не она ли гусей
в русле своём повлекла?

Поздно проситься в траву:
тяге земной вопреки
выдержит птиц на плаву
стрежень воздушной реки.

Долго им по небу течь,
плыть без руля и ветрил
мимо встающих навстречу
грозных осенних светил.

* * *

В час закатный стоят над безлюдьем полей,
в небеса вознесясь головой,
силуэты могучих ничьих тополей,
изваянья тоски вековой.

Там, где канули сёла в глубины земли,
где деревни рассыпались в прах,
молчаливо и мощно они возросли
на неведомых миру корнях.

Что из недр пробирается к кронам живым,
для кого этих листьев шлея?
Может, разум вселенский читает по ним
тайну нашего здесь бытия.

Не они ли в подземной сплелись темноте
километрами цепких корней,
общей жилой срослись: от версты и к версте
странный гул пробегает по ней.

И, срываясь, по ветру летят семена,
и в потоке воздушной волны,
шар земной огибая, текут имена,
что не нам и не нами даны.

Прописи

Д.П. Ильину

Помню, осень стоит неминучая,
восемь лет мне, и за руку — мама:
«Наша Родина — самая лучшая
и богатая самая».

В пешех далях — деревья корявые,
дождь то в щёку, то в спину.
И в мои сапожонки дырявые
заливается глина.

Образ детства навеки —
как мы входим в село на болоте.
Вот и церковь с разрушенным верхом,
вся в грачином помёте.

Лавка низкая керосинная
на минуту укроет от ветра.
«Наша Родина самая сильная,
наша Родина — самая светлая».

Нас возьмёт грузовик попутный,
по дороге ползущий юзом,
и опустится небо мутное
к нам в дощатый гремучий кузов.

И споёт во все хилые рёбра
октябрьский мой класс бритолобый:
«Наша Родина самая вольная,
наша Родина — самая добрая».

Из чего я росла-прозревала,
что сквозь сон розовело?
Скажут: обворовала
безрассудная вера!

Ты горька, как осина,
но превыше и лести, и срама —
моя Родина, самая сильная
и богатая самая.



АЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ



Если завтра война...

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

*Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!*

Ф.И. Тютчев

Человек склонен к мистике. Он любит знамения и верит в чудеса. Гадания на кофейной гуще и спиритические сеансы, предсказания сомнабулы и причудливые сочетания чисел, камлания шаманов и откровения загадочных гуру, замысловатые древние календари и новейшие расчёты астрологов — всё даёт пищу воображению и провоцирует сумасбродства. Не то чтобы Номо Sapiens был настолько глуп. Дело не в этом. Человек инстинктивно чувствует нечто непостижимое вокруг себя — такое, чему нет объяснения. Поэтому он упорно ищет тайные знаки и копит свидетельства непознанного. И это упорство тем неотразимей, чем труднее человеку жить. Когда грядут катаклизмы и близится испепеляющий огонь — двуногая тварь желает спрятаться и ни о чём не знать. Человек рождается не для того, чтобы страдать и мучиться. Он жаждет счастья или, как минимум, покоя. Но покоя нет (как выяснилось), и нет исхода из ненавистой действительности. Остаётся лишь одно — уйти в потустороннее, открыть для себя новый мир, в котором нет страдания, нет мучительной неизбежности, но всё

ЛАПТЕВ Александр Константинович, прозаик (род. в 1960 г. в Иркутске). Автор книг: «Звёздная пыль» (Иркутск, 1999); «Как я работал охранником» (Иркутск, 2003); «Благая весть» (СПб., 2007); «Как я был...» (США, Балтимор, 2010); «Сибирская вендетта» (США, Балтимор, 2010); публикаций в коллективных сборниках и журналах. Член Союза писателей России, кандидат технических наук, главный редактор журнала «Сибирь».

легко, прозрачно, безмятежно. Как всё это естественно для слабого, мятущегося человека! В самом деле, что ему остаётся делать, когда он в тупике и нерешительности?

Две тысячи двести двадцать второй год все земляне ожидали со страхом. Четыре двойки сулили беду — любому дураку было ясно. И все они — дураки и умные — с нетерпением и затаённым страхом ждали катастрофу. Откуда её ждать — никто толком сказать не мог. Обрушится ли она сверху на безмятежные головы или налетит ураганом откуда-нибудь сбоку, или вспучит земные недра и накроет всех огненной лавиной, так что не успеешь убежать... — как тут угадаешь? Но особо сообразительные — люди с военной выправкой и немигающим взглядом стеклянных глаз — быстро сообразили, что и к чему. Враг вот он, рядом, его искать не надо! На соседнем континенте, сразу за океаном — притаился и ждёт!

Объединённая Европа обратила взоры на объединённую Америку, а та, в ответ, стала обозревать пустынные воды Атлантики, каждую секунду ожидая крылатых ракет и боевых роботов, от которых нет спасенья и пощады. Австралия упрямо соблюдала нейтралитет, но всё равно чего-то боялась. Африка старалась не вмешиваться, делая вид, что она сама по себе. Но ведь так не бывает! Если грянет Третья мировая война — не поздоровится никому, никакой Северный полюс не спасёт от праведного гнева всех тех, кто на этот гнев имеет законные права! Так в очередной раз совпали бессознательные страхи и вполне осознанный психоз. Природа сыграла с человеком злую шутку, подняв с его души всё тёмное и жуткое, скрепив сей выбор зловещими цифрами из Григорианского календаря. Никому и в голову не пришло разодрать этот чудовищный клубок, сбросить наваждение. Все усиленно готовились к войне и точно знали, что она вот-вот наступит.

* * *

Алексей в очередной раз проснулся злой, со страшной тяжестью в голове и ломотой в теле. Жить не хотелось. Не хотелось подниматься с кровати и идти на кухню пить противный чай, который не полезет в глотку (это чувствовалось заранее). Не хотелось выглядывать в окно и до рези в глазах всматриваться в пепельное небо. Всё было отвратительно, мерзко, гадко и невыносимо. И всё страшно надоело.

Но встать ему всё же пришлось — в прихожей противно захрюкал видеофон. От неожиданности Алексей свалился на пол и, чертыхаясь, путаясь в изорванной простыне, с трудом поднялся и проковылял в прихожую. В последний раз ему звонили три месяца назад, чтобы сообщить о том, что он уволен с очередной работы и что он полный кретин. И уж после этого он окончательно стал никому не интересен. Он первый утратил интерес к окружающему миру. Всё глубже погружался в меланхолию, всё твёрже верил, что жизнь — это грандиозная помойка, куда он угодил против своей воли. И всё настойчивее бился в мозгу вопрос: зачем он живёт? И почему всё так гадко вокруг?

Одумавшись, он обнаружил себя стоящим возле видеофона. С мутного потрескавшегося экрана смотрела на него его бывшая жена. Анемичное лицо двоилось и кривилось, глаза блистали злобой, с губ слетали резкие слова вперемешку с потрескиваниями высохшей мембраны.

— Чего ты там бормочешь? — Алексей непроизвольно напрягся и опустил взгляд. Звук собственного голоса испугал его.

— Дурак ты! — несло с экрана. — Был всю жизнь дураком, дураком и помрёшь.

Алексей согласно кивнул. Повяло чем-то знакомым, словно бы вернулась молодость, когда он мечтал о многом и что-то всем доказывал. Расправив плечи, он посмотрел в лицо своей половине — бывшей, стало быть.

— Ты позвонила, чтобы сказать мне об этом? — он хотел добавить обидное слово, но отчего-то сдержался. Сил на ругань не было. Все силы остались там — за горизонтом событий, вместе с мечтами и амбициями. Теперь не было ни того ни другого. Оно и хорошо — как-то спокойнее. — Говори, чего надо, — быстро произнёс он. — Некогда мне с тобой разговаривать...

— Ой-ей-ей, подумайте-ка, ему некогда! — собеседница подбоченилась, на лице обозначилась саркастическая ухмылка. — Будто я не знаю, что ты целыми днями валяешься на своём вонючем диване. Тебя же отовсюду гонят! Ты никому не нужен. Неудачник! Вахлак! Ничтожество!

— Ну ты это, — возвысил голос Алексей, — не очень-то. Я тоже могу сказать... кой-чего.

— Ты! Мне? Ну ты нахал!

Алексей шагнул к экрану, рука потянулась к сенсору отключения связи.

— Да погоди ты, дурак, я ж помочь тебе хочу! — вскинулась жена. — Ты хоть знаешь, что завтра война начнётся?

— Какая ещё война? — буркнул Алексей. Про ожидавшееся нападение антиподов он что-то такое слышал, но не придавал большого значения. Авось, его не тронут. Ведь он никому не мешает. Живёт себе потихоньку, ничего такого не делает.

— Атомная война! Завтра утром эти мерзавцы из Америки нанесут по городу ракетный удар! Он нашей цивилизации ничего не останется. Ты что, не слышал? Бери скорее свои документы и беги в Институт Времени, может, и возьмут тебя.

— Куда возьмут?

— В будущее! Вот же идиот! Всех желающих отправляют в двадцать восьмой век. Канал там какой-то у них открылся. У меня уже все соседи уехали. Одна я, дура, тут торчу.

Алексей помрачнел.

— Ну ты чего, — не унималась бывшая супружница, — не понял, что я сказала? Завтра в девять утра война начнётся! Не будь же ты таким идиотом, послушай меня хотя бы раз в жизни!

Алексей досадливо поморщился.

— Ладно, не ори.

— Это я ору? Каков наглец! Я своё время трачу, хочу ему добра, а он меня ещё и обзывает.

Алексей набрал полную грудь воздуха и, наконец решившись, нажал указательным пальцем красный сенсор прямо перед собой. Экран сразу погас, стало тихо.

— Вот так, — хмыкнул удовлетворённо. — Хорошо, что я от неё ушёл.

Он обвёл взглядом захламлённую прихожую, глянул на ободранный потолок и вдруг широко улыбнулся. Замечательно! Больше он этого никогда не увидит. И бывшая жена тоже никогда не позвонит. Ни одна ракета не упадёт на его седеющую голову — если только он успеет попасть в этот долбаный институт. В двадцать восьмом веке, поди, всего навалом. И нет никакой войны! Раз его тут не оценили, так и пускай катятся ко всем чертям. Пусть горят в огне, тонут в пучине вод, травятся газом. Пусть сгинут все разом — не жалко!

Подумав так, Алексей окончательно проснулся, то есть пришёл в своё обычное состояние, а ещё лучше сказать — снова стал самим собой.

Чем ближе он подходил к Институту Времени, тем страшнее ему становилось. Кажется, весь город кинулся спасаться! Все, от мала до велика, решили переместиться в будущее. По воздуху летели разноцветные дирижабли, с которых гроздьями свисали скрючившиеся фигурки. Дороги были запружены огромными фурами, карликовыми электромобилями, нелепыми таратайками, омнибусами и чёрт знает чем ещё. За два

квартала до научного городка Алексей вынужден был остановиться — уже и на тротуаре было не протолкнуться. Заполoshные мамы с плачущими детьми, одурелые отцы семейств с тюками через плечо и вокруг шеи, какие-то подозрительные личности, снующие в этом хаосе, словно броуновские частицы, непреклонные старухи и седовласые старцы — все страстно хотели жить. Алексей с тоской поглядел в ту сторону, откуда пришёл, — там уже громоздились новые фуры и омнибусы, отяжёлённые дирижабли цеплялись за верхушки деревьев. Алексей вдруг понял со всею очевидностью, что через полчаса здесь будет жуткая давка, обезумевшие люди будут топтать споткнувшихся, дети будут орать благим матом, а их матери взывать о помощи, но вместо помощи первые получают каблуки и кулаки, а вторые — проклятия, что путаются под ногами и не дают пройти приличным людям. Случится очередной кошмар, какие бывают раз в столетие. Видать, подоспело времечко.

Алексей почувствовал, как его настойчиво тянут за руку. Оглянувшись, увидел мрачного субъекта — из тех, кто сновал среди толпы с заговорщицким видом.

— Чего надо? — бросил он со злостью.

Субъект смотрел на него то ли заискивающе, то ли угрожающе — было не понять. Губы его тронула усмешка.

— Деньги есть? — спросил он, понижая голос.

— А тебе что за дело?

— Сорок тысяч кредиток — и считай, что ты улетел.

— Куда улетел? — вскинулся Алексей, незаметно ощупывая документы во внутреннем кармане.

Субъект осклабился.

— Куда и все! — и показал пальцем на небо.

— А ты кто такой? — уже потише произнёс Алексей, собираясь с мыслями. Предложение было заманчивое. Ясно, что до института он не доберётся; даже если его здесь не затопчут, в капсулу времени он всё равно не попадёт, а значит, жить ему осталось всего ничего — до следующего утра.

Субъект оценил его сомнения.

— Не бойся, не обману, — молвил небрежно. — Деньги можешь сразу не отдавать. Потом рассчитаешься. — Сказал и отвернулся, словно ища кого-то взглядом.

Алексей схватил его за руку.

— Ну так давай, действуй! Тут скоро давка будет. Ты что, не видишь?

Не говоря лишних слов, субъект развернулся и пошёл поперёк общего потока, раздвигая плечом сцепившиеся тела, отбрасывая руки, с силой толкая от себя людей. Алексей старался не отставать, ступая след в след, словно шёл по болоту. Через несколько минут они достигли парадного входа в здание с заколоченными окнами. Провожатый набрал код на крошечном пульте справа от входа и распахнул массивную дверь.

— Скорее заходи!

Алексей протиснулся боком в открывшуюся щель, следом шмыгнул провожатый. Дверь с лязгом захлопнулась, и тут же в неё забарабанили.

— Ишь, чего захотели! — довольно улыбнулся провожатый. — Раньше надо было думать.

Алексей непроизвольно осклабился. Он уже начал постигать нехитрую психологию обречённых на смерть людей. Сначала пусть подохнут все вокруг, а там видно будет. В этом не спасение, но хотя бы иллюзия спасения. И в этом — избавление от немедленного ужаса. Когда ужас застилает взор, невозможно думать ни о чём, кроме как о самом себе. Умереть последним — вот главное желание приговорённого, его катехизис и высшая справедливость.

Они уже поднимались по бетонным ступенькам мимо ободранных стен и распахнутых дверей. Алексей бросал окрест настороженные взгляды и сдавленно дышал.

Такое чувство было, что они следуют в западню, но он удерживался от ненужных вопросов. Что бы ему ни ответили, он вынужден будет принять этот ответ. И ведь от него пока не требуют денег. Когда они придут на место, Алексей обналичит требуемую сумму — только и всего. А его ничемная жизнь никому не нужна. Если бы он был важной шишкой, его бы давно уже прикончили. Но он — мелкая сошка, что-то вроде водяного пузыря под нескончаемым дождём на необозримой водной глади. Пузыри вскакивают и тут же лопаются, а дождь всё идёт и идёт. И зачем это всё: нескончаемый дождь, лопающиеся пузыри и необозримая водная гладь — не знает никто в целом мире.

За такими рассуждениями Алексей не заметил, как они оказались на последнем этаже. Субъект возился с низенькой дверцей, открывавшей выход на чердак. Дверца распахнулась, и, пригнувшись, два человека протиснулись в прямоугольный лаз. Алексей опасливо осмотрелся. На этом чердаке, будь у него с собой деньги, его за просто могли прирезать. Забросали бы золой, по которой он теперь бредёт, вздымая едкую пыль, и никто бы его тут не нашёл. Да и не стал бы его никто искать. Сам он бежит ото всех, и нет ему дела до тех, кто остаётся гибнуть от ракет и адского пламени. Каждый сам за себя! С этого всё началось, этим всё и закончится на нашей прекрасной планете. Гнусная цивилизация зачем-то зародилась, долго боролась за самое себя и, наконец, произвела на свет человека. Полюбуйтесь! Каков подлец! Только и думает о себе. Бежит от малейшей опасности, с поразительной лёгкостью отрекается от породившего его мира. Всё ради продления своей ничтожной жизни, ради того, чтобы просуществовать несколько лишних секунд (по космическим часам). Чем же он лучше комара, который мечется как угорелый и сберегает себя среди миллиона опасностей?

Наконец, чердак закончился, и они выбрались на плоскую крышу. Неподалёку стоял, накренившись, двухместный вертолёт. Округлые бока его были раздуты, словно щёки у капризного ребёнка. Прозрачная броня поблёскивала на солнце. Ужасно длинный винт, уныло свисавший с двух сторон, казался резиновым. Невозможно было поверить, что эта штука способна летать. Но поверить пришлось — через минуту они уже лавировали между крыш, рискуя запутаться в металлических сетках и напороться на растопырившиеся рогатки модулей связи. Иногда налетал откуда-то сверху бешеный вихрь, и тогда их скорлупку кидало и крутило как попало. Просто чудо, что они не упали на головы мечущихся внизу людей. Алексей глянул и крепко зажмурился. Даже если они не разобьются, их непременно растерзают — там, внизу; в это он уверовал сразу и бесповоротно.

Мрачноватый спутник оказался человеком слова. Он сумел посадить перегруженный вертолёт на самый край необъятной крыши Института Времени и сразу повёл Алексея вниз по заброшенной лестнице, загромождённой каким-то хламом, заставленной перегородками, перекошенными дверьми, неподъёмными тумбами и шкафами с поломанными дверцами — так все двенадцать этажей. Уже внизу Алексей с видом сожаления рассматривал порванную в нескольких местах рубашку, косился на измазанные брюки. Субъект криво улыбнулся:

— Не переживай, там тебе новую одежду выдадут. Будешь доволен.

Алексею сделалось неловко за свою мелочность.

— А где эта самая... капсула? — спросил он.

— Да тут, неподалёку, — кивнул куда-то вбок провожатый. — Но сначала надо бы рассчитаться.

— Конечно! — Алексей поспешно вынул банковскую карту из потайного кармана. — Но тут нет банкомата!

— А этого и не надо. Тут есть терминал, переведёте деньги на этот счёт, — он сунул Алексею бумажку с колонками цифр. — Ровно сорок тысяч, как договаривались.

— Да, я помню, — ответил Алексей, разглядывая корявые цифры и собираясь с мыслями.

Терминал выглядел так, будто им не пользовались с сотворения мира. Тёмный, глухой, покрытый пылью, словно кокон. Упреждая недоумение, субъект нагнулся и стал что-то шарить у пола. Алексей отвернулся с задумчивым видом. Снизу слышались царапающие звуки, прерывистое дыхание, потом что-то резко щёлкнуло — и субъект выпрямился.

— Готово! Давайте карточку!

Алексей загородился рукой:

— Я сам!

Тот лишь пожал плечами.

— Сам так сам.

Алексей шагнул к пульту. Поджал губы и, прицелившись, сунул карточку в вертикальную щель. Серый экран озарился зелёным светом. Приглядевшись, Алексей стал тыкать пальцем в сенсорные клавиши. Субъект как бы невзначай придвинулся и стал сбоку смотреть на экран. Алексей хотел возмутиться, но потом рассудил, что все его секреты теперь никому не нужны. Через несколько часов перестанут существовать и этот терминал, и это огромное здание, а может, и вся планета канет в небытие. Подбадривая себя таким образом, Алексей набрал двадцатизначный код и нажал указательным пальцем зелёную клавишу. Машина задумалась на секунду, затем, словно нехотя, сообщила: «Операция выполнена».

Субъект медленно качнул подбородком, затем повернул голову и показал рукой в дальний конец полутёмного зала:

— Иди вон туда. Там дверь. Сам увидишь, — и, не дожидаясь ответа, двинулся к лестнице, по которой они только что спустились.

Алексей хотел броситься за ним, но понял, что это бесполезно. Постояв несколько секунд, быстро пошёл в дальний конец зала, стараясь издали увидеть дверь и увещевая всех богов, чтобы всё это не оказалось подлым обманом.

К счастью, субъект не обманул.

Тяжёлая металлическая дверь открылась без особого труда, видно, ей часто пользовались. Алексей шагнул в проём, сразу погрузившись словно в подушку, в плотную завесу звуков. Посреди огромного зала находился гигантский цилиндр, похожий на древний дирижабль. Он лежал на полу — тёмный и тяжёлый. Справа и слева тянулись толстые перепутавшиеся провода. В центре цилиндра был широкий проход, в который медленно вливалась пёстрая толпа. Сзади напирали, передние спотыкались на пологих ступенях; те, что были по краям, хватались за товарищей, иногда срываясь с метровой высоты и тут же карабкаясь обратно. Алексей заметил, что никаких проверяющих и распорядителей тут нет, документов никто не спрашивает. Дело за небольшим — попасть внутрь дирижабля. И тогда всё будет хорошо!

Он решительно двинулся на толпу. Сначала бормотал извинения, смущался и опускал голову, но получив несколько болезненных толчков и услышав о себе невыгодные мнения, смущаться перестал. Он был среди своих, а значит, церемониться нечего. Важен был первый шаг. А уж потом, втиснувшись в толпу и как бы утвердившись, нужно следовать общему движению, мелко переступая ногами и слегка раскачиваясь в такт вместе со всеми.словно в замедленной съёмке он поднимался по пружинящему трапу, приближаясь к прямоугольному проёму. Казалось, в этом весь смысл и счастье — оказаться внутри залитого ярким светом пространства. Из темноты, из неразберихи и недовольства — туда, туда, где свет и радость, где новая жизнь.

Алексей прикрыл глаза и постарался расслабиться, в то же время чутко прислушиваясь к происходящему. Вот соседи качнулись вправо — он тоже качнулся и сделал шаг вправо. Вот толпа отпрянула, и Алексей безбоязненно опрокинулся на стоявших

сзади, несколько шагов по трапу он сделал в неестественном наклонном положении, как будто его насильно заталкивали в светящуюся дыру. В какой-то момент он почувствовал свободное пространство впереди и рывком принял вертикальное положение. Оставалось преодолеть несколько ступеней. Ещё шагочек, и ещё... кончиками пальцев он ухватился за боковой проём. Тут же последовал толчок справа, рука сорвалась, и его понесло к центру. И вот он уже стоит на самом верху и смотрит поверх голов. Открылась удивительная картина: оказывается, внутри цилиндра был другой цилиндр, и в нём ещё один проход с ярко блестящими краями. Это и была пресловутая капсула времени, а то, что снаружи, — всего лишь защитный кожух. Алексей с удвоенной энергией двинулся вперёд, забыв, что все его усилия будут напрасными. Ускорить или замедлить общее движение было нельзя. И он снова закрыл глаза, отдаваясь общему ритму.

И как всегда, это подействовало. Скоро он ощутил на лице тёплое дуновение, в нос ударил запах разогретого металла, горелой изоляции и множества потных тел. Он уже спускался по гулкой металлической лестнице, держась правой рукой за поручень, а левую прижимая к груди. Спуск был недолгим, и вот он уже идёт внутри тоннеля, а в душе вскипает радость: он ещё здесь, но уже не принадлежит этому миру. Одной ногой он уже там — в сияющем будущем, где никакая война ему не страшна и всем будет исключительно приятно и хорошо! Чувствуя подступающую к сердцу радость, он всё легче ступал по грохочущему железному полу и уже не беспокоился о том, куда он теперь попадёт, в какой закоулок внесёт его людской поток. Эка невидаль! Пару часов можно и на ногах перестоять. Он на всё согласен и ничего для себя не требует. Теперь, когда он оказался внутри, он опять стал скромным и неприметным.

Но на ногах ему стоять не пришлось. Вся внутренность капсулы была нашпигована замысловатыми переходами и закрытыми террасами. Террас было множество, все они были заполнены рядами кресел. Входящие поспешно опускались в кресла и лихо радочно пристёгивались ремнями. Потолки были низкие, а освещения едва хватало, чтобы не сталкиваться лбами. Никто ни о чём не спрашивал, всё делалось по какому-то наитию. Алексей удачно опустился в пустое кресло и, как и все, стал поспешно опоясываться ремнями — накрест через грудь и сверху вниз. Кто-то наступал ему на ноги, иные норовили захватить локтём в ухо — он молча отворачивался и смягчал удары. Всё это было уже неважно.

Наконец, всё успокоилось и утряслось. Вспыхнул яркий свет, под низкими сводами загрохотал отдающий металлом голос: «Внимание! Вы находитесь на борту автономного модуля. Канал телепортации откроется через три минуты. Во время перемещения все должны оставаться на своих местах. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Опасности для здоровья нет. Неприятные ощущения скоро пройдут».

У Алексея сильно забило сердце. Впервые он подумал, что всё это не шутка — вот прямо сейчас он оправится в будущее! С прошлой жизнью покончено навсегда! Никогда больше не увидит он своего дома, не пройдёт по улицам, не вдохнёт знакомые запахи. Всё это исчезнет, сгорит дотла! Ему вдруг стало жалко этот умирающий мир. Всё же было и в нём что-то хорошее! В душу закрадывался страх: а как оно там будет, через пятьсот-то лет? Пять веков... Подумать страшно. Что может произойти за это время?.. Скоро он это узнает. Главное, он будет жить. И все эти люди тоже будут жить. Выбора нет. Любой поступил бы точно так же. В самом деле: глупо умирать, когда есть такой простой выход. Какая же это удача, что изобрели машину времени! Пока её не было — люди умирали там, где родились. Они терпели произвол и насилие. Деспоты изгалялись над беззащитными людьми, держали их за рабов, за скот, понимая, что те никуда не денутся. Миллионы людей гнали на войны, на страдания и смерть. Ради чего? Чтобы кучка негодяев обогатилась? Чтобы какой-нибудь выскочка удовлетворил своё ничтожное самолюбие?

Но вот кардинальное решение проблемы: завтра начнётся мировая война, а сегодня половина населения земного шара покидает театр военных действий. В знак протеста! А ещё потому, что все хотят жить, а воевать никто не хочет. Пусть воюют генералы, если им хочется! Подумав так, Алексей вдруг вспомнил, что видел в толпе нескольких военных, а один был в роскошной папахе, какие носят высокие чины. Это показалось ему странным — эти-то с чего бегут? Он открыл глаза и приподнялся в кресле. Стал осматривать сидящих слева и справа людей, но в полутьме ничего нельзя было разглядеть. Все головы были опущены, всякое движение прекратилось. Алексей шумно выдохнул. В самом деле, какая теперь разница — кто отсюда сбегает и почему? Это уже не имеет никакого значения. Войки в будущем перестанут быть войками, а станут обычными людьми. И больше на Земле не будет войн.

Алексей сжал холодные подлокотники. На секунду ему показалось, что он находится в космическом корабле и сейчас его вдавит в кресло, а пол и стены задрожат как в лихорадке, и всё вдруг помчится, выворачивая внутренности и вселяя в душу ужас. Однажды Алексей отважился слетать на Луну, и с тех пор никуда уж больше не летал. А теперь вот — что будет? Он прислушался. Откуда-то снизу, из жуткой глубины, стал нарастать низкий звук. Всё сильнее, громче, отзываясь во всём теле. Воздух внезапно померк и словно бы сгустился. Алексею опять стало страшно, как в тот раз. Тогда он боялся разбиться или как-нибудь сгореть в адском пламени. Но теперь было ещё хуже — он не знал, чего ждать. Быть может, он превратится в монстра. Или разлетится на триллионы атомов. А то — разорвёт изнутри, выбросит наружу внутренности пополам с кровью и какой-нибудь гадостью... Словно в подтверждение таких мыслей его вдруг потрянуло, по телу прошла волна боли, вспыхнул и погас яркий свет, потом его всё-таки вдавило в кресло, и он, наконец, потерял сознание.

Алексей очнулся от какого-то неудобства. Он полулежал-полустоял в своём кресле, вытянувшись в струнку, словно хотел разорвать стягивающие путы. Голова была запрокинута, а руки выставлены вперёд, словно отталкивали невидимую стену. И, задевая его вытянутые руки, наступая на носки ботинок, мимо него пробирались какие-то люди. Было темно и жутко. И ещё — очень тихо. Ничто не гудело и не вибрировало, не выворачивало внутренности. Алексей рывком подобрал ноги и сжался в своём кресле, пальцы судорожно нащупывали удерживающие замки. Он уже понял: нужно быстро подниматься и идти вместе со всеми. Если он останется, произойдёт что-то ужасное. А если успеет — тогда всё будет хорошо. Было немного обидно за то равнодушье, которое выказывали ему соплеменники. Никто не обернулся, не сказал доброго слова. Всем было наплевать на его терзания и страхи.

Замки, наконец, клацнули и распустились. Алексей поднялся и двинулся вслед за всеми между кресел. Спереди раскачивалась широкая спина какого-то здоровяка, и сзади кто-то тяжело дышал и раскачивался; со всех сторон двигались угрюмые, чем-то пришибленные люди. Радостных лиц не было — и это почему-то вносило неожиданное успокоение в душу. Когда всем плохо — не так уж и обидно за собственную слабость. Нисколько ты не хуже других. Понемногу ободряясь и приходя в себя, Алексей выбрался в широкий проход внутри того самого тоннеля, по которому сюда пришёл. Точно так же была вокруг толпа людей, только уже не шибко толкались, и не сказать, чтобы уж очень спешили. Все чувствовали, что главное произошло. Вот она — земля обетованная! Вот золотой век, куда все так стремились. Ещё немного — и счастливые потомки примут их в свои объятия, окружают заботой и теплом, объяснят, как дальше жить.

Несколько тысяч людей выползли из железного чрева наружу и разбрелись по бескрайнему зелёному полю. Холмистая равнина стелилась во все стороны, убегая за горизонт. В отдалении там и сям виднелись какие-то рощицы. Вились ручейки, проблёскивали голубым и серым овалы небольших озёр. Бескрайний купол неба без

единого облачка блистал в вышине. Лёгкий ветерок шевелил волосы. Дышалось легко. Алексей с изумлением глядел на эту картину. «Так, значит, я в будущем? Это всё на самом деле? — не то думал, не то бормотал он. — Значит, мы уже на месте? А где же город?..»

Города не было. Ни города, ни деревни. Никакого намёка на жильё.

Вопросы множились. Недоумение росло. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, как вдруг прямо с неба зазвучал голос.

— Приветствуем вас на планете Земля!

«Да уж видим, что не на Марсе», — подумал Алексей, незаметно усмехаясь и замечая ироничные улыбки на лицах окружающих. Однако вся ирония пошла прахом — невидимый собеседник вряд ли оценил эти улыбки, и вообще, неизвестно, существовал ли он.

— Вы прибыли в две тысячи семьсот восемнадцатый год и будете некоторое время находиться на этом острове.

— Почему на острове? — слышались вопросы. — Что нам тут делать?..

— Таковы правила, — последовал ответ. — Это делается в целях вашей безопасности. Вы должны привыкнуть к нашему времени. На острове есть всё необходимое для жизни.

Алексей в очередной раз обвёл взглядом зелёную равнину, рощи и холмы. Ни дымка, ни какого сарая...

— Идите в глубь острова, — внушал голос с неба. — Вы найдёте всё необходимое для жизни. Воду из ручьёв можно пить. На деревьях растут плоды — их можно употреблять в пищу. Завтра к вам придут консультанты. Вы получите ответы на все вопросы.

Алексей с облегчением выдохнул:

— Так бы сразу и сказали!

И уже ни на кого не глядя, двинулся прямо на холмы.

Трава казалась мягкой и ласковой. Солнышко приятно грело левое ухо, и всё было так безмятежно и покойно, что не верилось. Это точно был другой мир — с другим воздухом, с иной подоплёкой. Не чувствовалось обычной тревоги. Хотелось лечь на траву и уснуть. Раствориться в этой тиши и необъятности. «Родная ты моя!» — неожиданно прошептал Алексей и сам себе умилился. Никогда и никому он не говорил ничего подобного. И это означало только одно: он стал другим человеком! Гуманным и рассудительным, спокойным и мудрым. Все недостатки остались в прошлом, они и были порождением прошлого. А если бы он сразу родился в двадцать восьмом веке, так был бы подобием ангела. Там, в прошлом, злые люди отравили его существование и превратили в неудачника. Зато здесь, среди такой благодати уж он покажет себя. Во всей своей красе!..

Алексей устроился неплохо. Отдельная хижина, хотя и совершенно без удобств, но очень уютная, тихая, благоуханная. На земляном полу — высушенная трава, тут же и постель. А более — ничего. Правда, стоял у входа глиняный кувшин. Алексей заглянул внутрь, понюхал с опаской и поставил на место. Ведь всё это ненадолго. Им сказали ждать до утра — завтра всё и выяснится. А пока что нечего волноваться. Подумав так, Алексей сдёрнул с ног ботинки и устроился на упругой постели среди душистой травы. На душе было покойно. Он закрыл глаза и некоторое время прислушивался. Было необычайно тихо. Шуршали травинки, шелестел ветерок, иногда где-то снаружи раздавался шорох, будто мышь стремглав бежит в свою норку. Страха не было, и не было тревоги. Все долги и обязанности, все переживания и весь груз остались в прошлом. А здесь пока ещё не было ничего, кроме ожидания каких-нибудь чудес и волшебства. А иначе стоило ли забираться в такую даль?!

На следующий день множество людей бродило среди хижин и деревьев. Людей было много, но и хижин было не счесть. Иногда люди заходили по ошибке в чужие хижины, на что хозяева реагировали как-то странно: вместо того чтобы выгнать наглеца, предлагали остаться, а сами тихо удалялись. Всё было общее, и всё было ничьё — все это безотчётно чувствовали. И ещё все знали, что делить им тут нечего. Кто-то попробовал диковинные плоды с деревьев. Глядя на него, остальные тоже стали пробовать. Фиолетовая мякоть была сочна и душиста, таяла во рту словно сладкая вата, насыщала, как крепкий мясной бульон. Плоды были повсюду, и, бесцельно гуляя среди деревьев, Алексей то и дело срывал фиолетовую грушу (или тыкву?) и брёл дальше, меланхолично жуя свою добычу. Он не хотел ни с кем говорить, ему нравилось быть среди людей и не быть обязанным с этими людьми разговаривать. Но к досаде его какой-то парень вдруг шагнул к нему и тронул за плечо. Алексей медленно оборотился, сдерживая раздражение. Приподняв одну бровь, глянул на незнакомца. Тот был молод и словно чем-то удивлён.

— А ты слышал, — начал он без предисловия, — войны-то никакой и не было!

Алексей не сразу понял, о чём речь. Но на душе отчего-то сделалось нехорошо.

— Какой войны? Ты о чём? — буркнул недовольно.

— Ну дома, там, у нас! — настаивал парень. — Мы убежали, а там всё было нормально. Никто на нас не нападал. Набрехали, а мы и поверили.

Алексей поджал губы. Отчего-то захотелось дать парню по роже.

— Откуда ты знаешь? Путаешь чего-то...

— Я путаю? — вскинулся парень. — Это ты ничего не знаешь, а мне уже всё рассказали!

— Кто тебе мог рассказать?

— Да эти, консультанты.

Алексей огляделся.

— Какие ещё консультанты?

Парень ухмыльнулся.

— Пока вы спали, я поговорил кое с кем. Не веришь, так сам спроси.

— У кого?

— У консультантов!

Несколько секунд они с недоверием смотрели друг на друга. Наконец, Алексей одумался.

— А где их найти?

— Их не надо искать. Позовёшь, сами придут.

Алексей снова замолчал. Он вдруг подумал, что перед ним сумасшедший. Это ничего, что молодой. Смолodu, говорят, ещё легче свихнуться. Психика очень подвижная, а тут такой катаклизм. Удивительно ещё, что все остальные сохраняют нормальный вид. Хотя неизвестно, сколько среди них затесалось идиотов. Эх, зря их всех сюда пустили! Надо было поставить какой-нибудь фильтр...

— Ну ты чего? — тербил парень. — Хочешь, я их сам вызову?

— Не надо, — отрезал Алексей и, повернувшись, быстро зашагал прочь.

К счастью, парень не бросился его догонять. Оглянувшись, Алексей разглядел, как тот приблизился к группке людей и стал что-то говорить, размахивая руками. Алексей приостановился, ожидая увидеть, как парня толкнут в грудь и тот полетит вверх тормашками. Однако ничего подобного не произошло. Трое мужчин и две женщины молча слушали парня, а потом, переглянувшись, стали все разом говорить. Парень согласно кивал головой и показывал рукой куда-то в сторону. Алексей проследил взглядом, но ничего не заметил особенного. Всё те же зелёные холмы, живописные купы деревьев, шалаши там и здесь, и люди — группами и поодиночке. Всё было то же самое, та же тишина и благодать, но спокойствия — как не бывало. Выругавшись

про себя, Алексей направился к своему шалашу, словно надеясь найти там разгадку всех вопросов.

Однако это оказалось не просто. Конусообразные сооружения из еловых веток были похожи друг на друга, а на деревьях не было меток и никаких тебе указателей. Везде голубое небо и зелёная трава, прозрачный воздух и полное отсутствие ориентиров. Постояв в раздумье, Алексей опустился на пригорок. Так даже лучше — всё видно, никто сзади не набросится. А в целом, всё это начинало надоедать. Вдруг вспомнился дом, выдавший виды диван, мутный телевизор, грязный балкон, на котором так хорошо сидеть в ободранном кресле, держа в руке банку с пивом и болтая одной ногой...

А что, если войны и в самом деле не было? Зачем же тогда они бросили свои дома, а кто-то ведь и оставил там своих родных? Ведь все они теперь уже умерли! И домов тех нет. На их месте теперь что-нибудь другое. Никто и не вспомнит о том, что было полтыщи лет назад!.. На душе стало скверно. Жизнь потеряла всякий смысл. Вышибленный из привычной жизни человек впадает в протрацию, теряет жизненные ориентиры. Его можно уподобить существу, которое вдруг потеряло зрение. И вот оно крутится посреди бескрайней равнины, не в силах ничего увидеть и не зная, как дальше быть. Такая вот духовная слепота опустилась на Алексея. Всё было благополучно вокруг — море света и бесконечный простор, но не было главного — осознания своей необходимости в этом мире. Хотя и в своём времени он был, в общем-то, никому не нужен. Но там была привычка, была инерция существования, было хотя бы то оправдание, что он появился на свет помимо своей воли. А раз так, то имеет право на место под солнцем. Даже если он ничегошеньки не делает, всё равно жизнь его имеет оправдание. А тут что? Он прибыл сюда незванным гостем. Кто-то должен теперь о нём заботиться, отвечать на его глупые вопросы, утешать и наставлять на путь истинный. И всё будет фальшиво и ненужно. Потому что была допущена кардинальная ошибка.

Алексей поднял голову и стал всматриваться в неровную линию горизонта. Захотелось уйти за этот горизонт, спрятаться. Быть может, утонуть в этих озерах. Или провалиться в тартарары!..

Он вдруг почувствовал движение сбоку и обернулся. В двух метрах от него стоял человек. Средний рост, обычная комплекция. Ничего необычного. Алексей медленно поднялся с земли, оказавшись почти на голову выше незнакомца. Теперь он ясно видел, что это человек иной расы. Его выдавал взгляд — невозмутимый, пристальный и глубоко равнодушный. Так смотрит натуралист на какого-нибудь жука — строго и взыскующе.

— Я пришёл помочь вам, — проговорил незнакомец без всякого выражения.

— Благодарю, — Алексей чуть склонил голову. — Это очень кстати. Я как раз хотел поинтересоваться...

Незнакомец без всякого выражения смотрел на Алексея, и тот сбился с мысли.

— ... где мы находимся? — наконец нашёлся он.

— На Земле.

— А конкретней?

— Это искусственный остров в Тихом океане. Его специально создали для перемещённых лиц. Таких островов очень много — несколько десятков тысяч. Их создали для людей из вашего времени.

— Так мы на острове, да ещё искусственном? — воскликнул Алексей, оглядываясь. — Вот уж не думал...

Он выдержал паузу, ожидая пояснений, но собеседник молчал.

— А когда нас выпустят отсюда?

— Вы хотите знать, когда вам разрешат свободное перемещение по всей планете?

— Во-во, в самую точку!

— Это произойдёт не скоро. Сначала вы должны подать прошение о натурализации и пройти адаптацию. Но вам могут и отказать.

— Это почему ещё?

— В целях вашей безопасности. Наш мир кардинально отличается от мира, в котором вы жили. Вы же не хотите чувствовать себя неполноценными людьми?

Алексей нахмурился. Такого подвоха он никак не ожидал. Он и в своём времени не блистал успехами.

— А ваш мир, он что, так уж сильно отличается от нашего? — молвил небрежно.

— Чрезвычайно! Я не смогу этого объяснить. Если вы попадёте в современный город, с большой вероятностью погибнете. Нужна длительная адаптация. Всей оставшейся жизни может оказаться недостаточно.

Алексей пошатнулся, земля поплыла под ногами.

— Что с вами? — бесстрастно спросил незнакомец.

— Ничего, сейчас пройдёт, — бормотал Алексей, собираясь с мыслями. — Я всё понял. Вы правы — нам здесь не место. Остаётся лишь одно — отправить нас всех обратно в наше время. Мне тут сказали, что никакой войны не было — там, в нашем времени. Так что зря мы сюда прибыли.

Незнакомец молча выслушал эту тираду и дополнил:

— Это правда. Война в вашей эпохе так и не началась.

Алексей вскинулся.

— Скажите, а почему войны не было? Ведь нас уверяли, что это неизбежно! Выходит, нас обманули? Мы получали сообщения из будущего. Вы же сами пугали нас войной!

— Мы тут ни при чём. Вы получали сигналы из двадцать пятого века, и судя по всему, всё это соответствовало действительности.

— То есть как?

— Война случилась в той реальности, которая была. А в этой реальности её нет.

Алексей застыл с открытым ртом.

— Что значит — в той реальности? А мы теперь где находимся?

— В каждый момент времени существует единственный мир и одна временная линия. Возможно, что вы своим массовым исходом из своего времени что-то изменили в ходе событий, и война так и не началась. Число перемещённых лиц исчисляется миллиардами. Такое не проходит бесследно. Был нарушен естественный ход истории.

— Тем более, нас нужно вернуть обратно! И всё образуется, — уверенно заключил Алексей.

Незнакомец посмотрел на него ничего не выражающим взглядом, потом проговорил как бы через силу:

— Этого никто не знает. Быть может, что вернуться вам будет нельзя.

— Это ещё что за новости? Здесь мы жить не можем, и домой нам нельзя! Что же нам тут всем подохнуть?

— Я не уполномочен решать подобные вопросы. Вы можете подать прошение, и оно будет рассмотрено.

— Что ещё за прошение?

— Просьбу о том, чтобы вам разрешили вернуться домой. Возможно, вам разрешат. Но лучше вам остаться здесь.

— Я хочу вернуться. Дайте бумагу и ручку, я напишу заявление.

— Достаточно устной просьбы. Всё, что вы говорите, фиксируется в центральном накопителе. Ваше прошение уже зарегистрировано и будет рассмотрено в ближайшее время.

Алексей присмотрелся к незнакомцу, и вдруг его осенило.

— Так ты не человек! Робот, чёрт тебя дерит! Верно я говорю?

— Я — биомеханический андроид. Мы следим за порядком, оказываем помощь перемещённым лицам, принимаем локальные прошения. Какие у вас вопросы и просьбы?

— Просьба одна — как можно скорее отправить меня обратно в моё время. Мне здесь всё противно. Так и передайте!

— Хорошо.

— Когда будет ответ?

— В течение суток.

— А как я узнаю?

— Мы вам сообщим.

Сказав это, андроид вдруг растворился в воздухе. Алексей во все глаза смотрел на место, где только что стоял робот. Воздух дрожал, и предметы позади казались расплывчатыми и ненадёжными. Прошло несколько секунд, и всё успокоилось, обрело устойчивость и чёткие формы. Алексей поджал с досады губы. Вот и имей с ними дело! Не-ет, правильно он решил — нужно поскорей сматывать удочки. Пусть сами управляют со своими андроидами. А он и дома как-нибудь скоротает время. Лучше его дивана нет ничего в целом мире. Нет и не будет во веки веков!

На следующий день состоялся великий исход. Все перемещённые лица как по команде потянулись обратно в капсулу времени. Алексей этого не ожидал. Увидев длинную очередь, он опешил. Он-то думал, что он один такой умный. А оказалось, что все остальные рассуждали точно так же. Никто не захотел жить на искусственном острове и питаться дикими плодами, никто не желал чувствовать себя человеком второго сорта. И почти все решили вернуться. Исключение составили несколько тяжело больных, а также десятка два психических — у кого в голове всё смешалось от переживаний. Этим несчастным решили немного подлечить, а потом уж разбираться — куда их девать и что с ними делать. Заходя в железное чрево, Алексей с усмешкой думал об этих крестинах. Вдвойне им не повезло — сойти с ума вдаль от дома! Ну да чего уж теперь. Не поправишь.

Попав внутрь капсулы, он уверенно прошёл по гулкому коридору, свернул в первый проход и занял крайнее кресло. Ряды быстро заполнялись, а сбоку по центральному проходу всё шли и шли люди. Все были возбуждены, всем хотелось поскорей попасть домой. И все, как видно, удивлялись своей опрометчивости. Хорошо, что всё так закончилось. А если бы их не пустили обратно? Или бы все они заболели? Ведь неизвестно же было, как их здесь встретят, какой тут воздух и вообще... Но теперь всё это позади. Прокатились, посмотрели на эти чудеса — и хватит!

Алексей боялся только одного, что капсула времени не сможет вернуться в двадцать третий век. Контуры не настроятся, или энергии им пожалеют. А то ещё промахнутся ненароком. Попадут не в ту эпоху. Он откинулся на спинку и закрыл глаза, стараясь отрешиться от происходящего. Вокруг стоял шум от множества голосов, топота ног, передвигаемых предметов, а ещё низко гудел невидимый генератор, пол и кресла вибрировали противной дрожью. Всё вместе производило донельзя странное впечатление. Это можно было принять за дурной сон, за наваждение! И это было их общее проклятие — за отступничество и за трусость.

Наконец все как-то устроились, движение прекратилось, и наступила та тревожная минута, когда в душе смешиваются отчаянье с надеждой и человек готов на всё, равно хорошее и ужасное. И снова всё повторилось. Гул стал быстро нарастать, всё завибрировало и завихрилось, воздух потемнел и сделался вязким, потом вдруг что-то разорвалось — и все пассажиры огромного ковчега почувствовали, как их вывернуло наизнанку и стало лихорадочно трясти; короткий миг забытья, и вот опять забрезжил свет, воздух стал обычным, а предметы обрели нормальные очертания. Алексей су-

дорожно вдыхал спёртый воздух и с тревогой оглядывался, вытянув шею. Его интересовало лишь одно: на месте они или застряли в каком-нибудь межвременье? Особо нетерпеливые поднимались и спешили в коридор, там уже двигалась беспорядочная толпа. Никто не командовал, всё свершалось спонтанно. Это могло означать только одно — они уже на месте. Прибыли!

Алексей устремился вслед за всеми. Хотелось поскорей попасть на воздух, увидеть знакомые улицы, окунуться в обычную суету, казавшуюся теперь такой милой и необходимой для душевного спокойствия. Сначала он двигался в толпе, напряжённо молчал и следил только за тем, чтобы не наступить кому-нибудь на ногу. Но это плохо удавалось — все толкались и мешали друг другу, но никто не возмущался, потому что все понимали значительность момента. И что в такой ситуации могут значить все эти пустяки?.. Наконец, показался овальный выход — дневной свет хлынул в коридор, повеяло свежим воздухом, по толпе прокатилась волна, и все ринулись в этот проход, к свету, к воздуху, к родному дому!

Алексей плохо помнил, как он попал домой. Какие-то тротуары, бордюры, несущиеся машины, подземные переходы, пьянящий воздух и злые лица прохожих. Потом знакомый подъезд, стёртые ступеньки, обшарпанная дверь — и вот она, его покинутая квартира! Разбросанные вещи, мусор на полу, грязная посуда. Всё это было вчера! Или... Он бросился к телевизору. Как раз передавали новости. Хватило одного взгляда, чтобы сделать невероятное открытие: не было никакого вчера! Он вернулся в тот же самый день, в тот же вечер! И новости всё те же — зловещие предупреждения об эскалации войск противника, о мощной ударной группировке, о ракетах «Земля–Земля» и о мегатоннах взрывчатых веществ, готовых обрушиться на головы каждую секунду. Алексей привычно испугался, но потом вспомнил, что войны не будет! — и сразу успокоился.

Он прошёл на кухню и включил электрический чайник. Подошёл к мутному окну и стал смотреть на улицу. Там был хаос. Медленно двигались беспорядочные толпы, меж них пробирались, беспрестанно сигналив, автомобили. Мелькали военные фуражки, и время от времени взвизгивала сирена. Алексею вдруг стало трудно дышать. Что же это? А если война всё-таки начнётся? Чёрт их разберёт! Сначала говорят, что всех уничтожат, потом заявляют, что опасности не было. И вот теперь — что же это, как не полновесная паника? Забыв про чайник, он направился к видеофону. Быстро набрал номер и стал ждать. Через минуту на экране показалась жена. Несколько секунд голова моталась по экрану, потом остановилась и глянула на Алексея злыми глазами.

— Чего ты трезвонишь? Ещё не уехал?

Алексей открыл было рот, да так и застыл.

— Ну что за идиот! Ну? Чего уставился? Я же тебе сказала, собирайся и дуй отсюда скорей!

— Да я уже был там, — пробормотал Алексей.

— Где ты был?

— В будущем. И вот вернулся.

— Ты был в будущем? У тебя что, уже галлюцинации от страха начались? Эй? Ну-ка, посмотри на меня!

— Перестань! Мы все вернулись, только что. Нам сказали, что никакой войны не будет. Можешь сама проверить.

— Я могу проверить? — казалось, глаза её вылезут из орбит. — Да ты посмотри, что на улице делается! Ему сказали... Какой дурак тебе мог это сказать?

— Ну в будущем, я же говорю. Они там всё уже знают. У них в учебниках написано, — брякнул с чего-то Алексей.

— Так ты был в будущем? — всё не верила бывшая жена.

— Конечно, я же тебе говорю.

— И ты вернулся?

— Только что.

Несколько секунд женщина неподвижно смотрела на Алексея. Потом кивнула своим мыслям и заявила непререкаемым тоном:

— Ну и дурак же ты!

Экран погас, и с минуту Алексей стоял не шевелясь. Потом, очнувшись, повернулся и пошёл на кухню. Чайник уже кипел. Алексей машинально заварил чай и налил в кружку одной заварки. Присел на край табуретки и стал отхлёбывать обжигающий напиток, не чувствуя вкуса и едва ли осознавая свои действия. Наконец, он поставил пустой стакан и с удивлением посмотрел на него, потом перевёл взгляд на парящий чайник, потом глянул на окно и вдруг со стоном уронил голову на руки. Страшная истина вдруг открылась ему. В какой-то ослепительный миг он понял всё — весь ужас и всю непоправимость случившегося. Ему вдруг представились все эти сверкающие болиды, заполненные людьми. Сначала, пронзая толщу времени, они помчались в сверкающее будущее, а вскоре все как по команде вернулись обратно и выпустили наружу ораву свихнувшихся людей. Не тысячи, но миллионы — миллиарды людей совершили этот головокружительный вояж! И вот, круг замкнулся. Всё встало на свои места. То, чему назначено случиться, — обязательно произойдёт. Теперь в этом не было сомнения.

Алексей прошёл в комнату и без сил повалился на диван. В голове стучало как приговор: «Завтра война! Завтра война! Завтра война!» Нельзя было унять этот речитатив. Он молотом бил в голову, всё сильнее и сильнее, пока боль не стала невыносимой. Зажав голову руками, Алексей бросился вон из квартиры. Он вырвался из подъезда и побежал по улице, ничего не видя перед собой. Навстречу ему бежали другие безумцы, они выскакивали из подворотен, прыгали из окон, разбивались о твёрдый камень, позли прочь, оставляя кровавый след... Толпа вдруг заревела — страшно и отчаянно. Множество воплей слились в один протяжный вопль. Словно огромное чудовище, почуяв смерть, ревело в безнадёжной ярости и страхе. А на другой стороне земного шара уже поднимались к небу остроносые ракеты, уже бежали по электрическим цепям высоковольтные разряды, и уже выстраивались цели для уничтожения. Точно так же с этой стороны Земли нацеливались на противника ракеты. Тринадцать миллиардов землян трепетали в ужасе. Спасти их теперь могло лишь чудо. Чудо, которое так и не произошло...



ВЛАДИМИР ГУБИН



Отражённый свет луны

Охота

Вступаю в молчашую чашу,
качаю ружьё на весу
и серые ягоды счастья
в глазах осторожных несу.

Добычей ли тайны я стану
иль стану добытчиком тайн,
спугнув неожиданной сталью
стоянки невиданных стай?

Стальные стволы не спасуют
пред силой сосновых стволов,
но сумерки страхи тасуют,
играют глазищами сов.

Ступаю к невидимой цели
и сам, незаметный, молчу,
но точному верю прицелу
и верить мишени хочу.

ГУБИН Владимир Трофимович — иркутянин по рождению — на Сахалин приехал с родителями в трёхлетнем возрасте в 1947 г. После окончания школы в посёлке Правда три года работал столяром и электриком на заводе, выпускавшем бочкотару для рыбаков. В 1964 г. поступил на факультет журналистики Иркутского госуниверситета и, окончив его, распределился в Южно-Сахалинск, где до этого проходил практику в редакции областной газеты «Молодая гвардия». Учась в Иркутске, был активным участником литературного объединения, а в 1968 г. стал лауреатом иркутской областной конференции «Молодость. Творчество. Современность», заняв на обсуждении первое место. С 1974 по 1976 г. работал в иркутской газете «Советская молодёжь». В 1976 г. снова перебрался на Сахалин, оставил журналистику и посвятил себя рыбоохранной работе в море — осуществлял с борта судов и самолётов контроль за отечественным и иностранным промыслом. Автор двух поэтических сборников *«Следы весла»* (2008) и *«Позёмки»* (2011). Живёт в Южно-Сахалинске.

Альбом

Не убежать от тебя, судьба!
Всё чаще зыби, а штили — реже...
Сечёт ли снегом, дожди ли режут,
ведёт ли вдаль океан, знобя,

мне всё едино, приму тебя,
как принимают и смерть, и роды.
Твои неволи и непогоды
не отведу... Но, других любя,

Я жив лишь тем,
что, судьбы не зная,
живёт на свете душа живая.
А перед ней даже ты слаба.

Ты накопила в моём альбоме
сто фотографий,
где мы — с тобою.
Не узнаю я на них себя.

* * *

Избытые ещё во младости,
почти в небывшие года,
какие горести и радости
вспоминаются, когда

неотвратимостью охваченный,
гляжу в безликий океан.
В нём ничего не обозначено.
Но он — магический экран.

Волнуют волны океанские...
И из беспмятных глубин
всплывают тайны покаянные,
как силуэты субмарин,

что в час несчастный были брошены
и, не простив, давным-давно
ушли — и с тягостными ношами,
и с экипажами — на дно...

В цирке

Два клоуна, игривый и угрюмый,
привычно выставляли напоказ
один — свой вечно неуместный юмор,
другой — непробиваемый сарказм.

И было так, пока один не умер.
Другой не понял юмора и слёг.

И вот уже один сегодня убыл,
а завтра и другого минул срок.

...А в цирке объявили новый номер.
О тяготах забыв, простолоудин
смеялся так, как будто и не помер
и не умрёт, ни разу, ни один.

Позёмки

Позёмками по зимнему шоссе
летел в «сурфе»,

куда, не понимая,
лишь ветер за собою подымая,
не зная, кто же я и где же все,

не ведая, откуда мы и кто
вселился в нас душой огнеопасной
и нами населил в мечте напрасной
великое безмолвное ничто.

Спешат позёмки путь перебежать,
перелететь, внезапной перелиться

слезой в глаза — и мне не заслониться.
Им не уйти, а мне не избежать...

И с места происшествия назад
не повернуть и не свернуть к просёлку.
О родина, зима моя, позёмка,
хочу остановиться, опознать

твой бледный лик... Но ты уже в иных
обличиях, в путях неосторожных...
Позволь тебя увидеть, если можно,
когда-нибудь за далью задорожной.
И прошептать посмертный светлый стих.

Ловушка

Был дом как дом, но что-то в нём
меня манило день за днём.
Наверно, я играл с огнём
неосторожно!

Там женщина жила одна.
Она красива и стройна
была, а также и умна,
вполне возможно.

А в доме крыша не текла,
хватало света и тепла,
из бронебойного стекла
мерцали окна.

Однажды мимо я не смог
пройти, поднялся на порог.
Моя одежда, видит бог,
совсем промокла.

Но, заглянув в зеркальный шкаф,
она дала мне тёплый шарф.
Мы выпили на брудершафт,
смежая пальцы.

Не расстаемся мы с тех пор.
Открыт наш дом, накрыт и стол,
а в телевизоре — футбол...
И я попался.

* * *

Понимаешь ли, в жизни иной
мы ублюдками были и стервами,
что-то очень поганое сделали
и наказаны этой страной.

Не виновны поля и холмы,
осквернённая нами природа.
Только рабская мудрость народа,
только сами, проклятые, мы.

Отбывая пожизненный срок,
мы желаем устроиться прочно.
Но уходим из жизни досрочно,
не усвоив прошедший урок.

В нас молчат до предельной поры
воровские, холопские гены,

чтоб однажды поднять в топоры,
в калаши и мешки гексогена.

И тогда даже лучший спецназ,
охраняющий верхнюю банду,
не охватит зачистками нас,
не загонит в кровавую баню.

Всё сметёт всенародная рать,
совершая трагический подвиг...
...И допустит собой управлять
свору новых жестоких и подлых.

А за то, что мы в жизни иной
были красными, были и белыми,
но прекрасной отчизну не сделали,
мы останемся с этой страной...

У картины

Отражённый свет луны,
на холсте отображённый.
Берег, круто обнажённый,
тень байкальской глубины.

День отъезда, мы одни
в тесноте пустой квартиры.

На стене висит картина.
Перелистываем дни.

Выключаем свет луны,
след любви, преображённой
в равнодушный, отрешённый
взгляд, в котором нет вины.

Ирис

На круглых клумбах,
на щебне или
на щедром иле —
здесь жили-были
цветы, а ныне
стоят полины.

Жильцы уплыли
по белой пене
в солёной пыли.
И пышных пиний
и точных линий
уж нет в помине.

Но что ты ищешь
на пепелище
тысячелистом?

Пройти бы мимо,
да нету силы,
цветок мой синий.

Другой посёлок
у моря вырос,
в распадки вылез.
Мы в новом мире
в песке и в гнили
цветы взрастили.

И мы забыли,
да, извинили,
что изменили...
Но хлынет ливень
и вспомню имя
твоё, о Ирис!

Жёлтый шар

Жёлтый шар, давая фору
городскому светофору,
обозначился по створу
трижды клятой колеи,
уходя всё круче, круче
в перламутровую тучу
как в последнее прилущье,
прочь от сумрачной земли.

Жёлтый шар внизу оставил
маету дорожных правил,
переполненных отравой,
но ещё живущих нас.
Вот он вынырнул из смога
выше крыш, пониже Бога...
А под ним — моя дорога,
в жирных выбоинах грязь...

Жёлтый шар — сигнал опасный,
ведь совсем ещё не ясно,
что зелёный или красный
будут пущены вослед.
Может, там, куда я еду,
ничего уже и нету...
И не ждут меня к обеду...
Но на то обиды нет.

Жёлтый шар — предупрежденье
силы трения скольженья
о конечности движенья
из земного виража.
...То ли по ветру носимый
грустный смайлик Фукусимы,
то ли русская душа
отлетает не спеша...

На вечную тему

Жил в городском захолустье
один неизвестный поэт.
Искал он в словесном искусстве
на вечные темы ответ.

Собравши наличные деньги,
он сборник сонетов издал.
Но все были заняты делом,
а книжек никто не читал.

И был бы поэт бесполезен,
когда бы не свойство одно:
он, кроме изысканных песен,
игристое делал вино.

И часто за чашкою чая
в кругу всевозможных друзей
читал он стихи, наливая
вино из больших бутылей.

Он гостю выкладывал душу,
а тот улыбался и пил...
И кто бы его ни послушал,
довольным домой уходил.

А было известно поэту,
что, сколько ни лей дураку,
а мудрый уносит по свету
запавшую в сердце строку.

Пашня

Пашня настезь распахнута,
пашня плугами пахнет.

Круто сверну с тропинки
через ожог крапивы.

И побегу вразмашку

в чёрное море — пашню.

А упаду — не больно...

И умереть не страшно,

если земля под тобою,

если упасть на пашню.

* * *

Воткнуло утро белые дымы
в кирпичные подсвечники на крышах.
А для глухих, не отряхнувших тьмы,
и для слепых, которые не слышат,

за ставнями, за шторами — ничто
не лучше доморощенного смога.
И, поднимая воротник пальто,
не задержусь у вашего порога.

Прощай, Иркутск! Сметай в проулки снег
и штукатурку рухнувшего года...
Но кто откажет мне ещё на век,
на чёрный день вернуться в этот город?

Оттепель

Светало, всё слабей светили
неоновые светляки,
капли по лицу лупили,
копили воду башмаки.

Домами улица серела.
Сырея, словно на дрожжах,

она сугробами старела,
и воздух почвою пропах.

И теплым ветром окатило,
как будто злой ушёл недуг...

И понял я, с меня хватило
слепых снегов и тяжких выюг.

Довольно! — думал я. — Вот скоро
потоком утекут снега,
и лось взревёт,
 почуя пору,
и птицы вылетят в луга,

и плуг сверкнёт весёлой строчкой,
жаркий, пылая, зацветут,
меня враги забудут, точно,
друзья, забывшие, найдут...

Я думал так, не замечая,
что на пороге, наследя,
стоял декабрь — зимы начало.
Лгала мне талая вода.

Она врала, она-то знала,
что я поверить был готов.
А тучи — снежные! — летали,
летальные, они витали,
как души грешные цветов...

Поезд

Проводами нотные строчки
разлиняют небо в окне
и затянут песню бессрочную,
как петлю, на одной струне.

Он ко всяким привык мытарствам,
знает путь свой он наперёд,
и, заснув у пролива Татарского,
у Анивы, зевнув, сойдёт.

И пойдёт, спотыкаясь на стыках,
по кругам в тоннельных горах
дизель-поезд. И в сердце вспыхнет
подорожный мгновенный страх.

Ну а мне не видать заранее,
долго ль будет судьба хранить...
Лишь короче всё расстояние,
да всё круче вагон кренит.

Полустанков слепые стёкла,
повороты стальной тропы...
А попутчик в ватнике стёганом,
привалившись к стене, храпит.

И всё явственней, непреложней
слышу я, как в той стороне
обрывается песня дорожная
на одной — на моей — струне...

Бересклет

Отыщу я в лесу бересклет
и в саду посажу. То не дерево,
а сосветие красных планет,
говорящих на музыке стерео.

А когда бересклет посажу,
я познаю язык бересклета
и в созвездия слово скажу
под лучом красноватого цвета.

И тогда я скажу, бересклет,
что на свете есть женщина Света,
по душе ей цветы бересклета.

И тогда напишу я сонет,
как она мне открыла секрет,
что ещё моя песня не спета.

* * *

Не сетуй ни во сне, ни наяву,
что жизнь тебя, как женщина, забыла,
как будто никогда и не любила.
Не посылай проклятий никому,

мол, жизнь ушла и в отческом дому
наградами тебя не одарила,
не ставила у вольного кормила
и слову не внимала твоему.

Нет, ты навек причастен ко всему,
что ум твой возмущало и пленило,
и составляло суть и облик мира,
и соль морей и неба синеву...

Когда же ты оставишь всё, что было,
оставь и подпись верную к сему.

Чирпой

Мал, но высокого роста
над горизонта чертой
необитаемый остров
с тёмным названием Чирпой.

Серы удушливый запах
носит воздушный поток
утром на северо-запад,
к ночи на юго-восток.

В бухту, от бури болея,
прячешься — не пожалей.
Буйным ударом борея
может сорвать с якорей.

Справа пещерно оскален
магмы застывший расплав,
слева — наждачные скалы
из вулканических лав.

Там, где на склонах ущелий
стланики ищут приют,
птицы от века не пели,
даже и гнёзда не выют.

Звуки начального слова
о сотворении дней

только и слышимы снова
в бое обвальных камней.

Строгим лицом равнодушен,
думе безумной не рад...
Что же, как в райские кущи,
тянет тебя в этот ад?

Где безответны молитвы,
мир не в ладу с красотой,
можно искусством ловитвы
корень добыть золотой.

И, в избавленье от боли,
бросить в зыбучий песок
розовой родиолы
пеплом покрытый цветок...

...Если ты глуп и отважен,
а остального не жаль,
чалься к приливному пляжу,
где залегла литораль.

Коли не сгинешь в прибое,
верный мотор заглуши
и помолись о Чирпое
и о спасенье души.



ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ



Яблочный Спас

РАССКАЗ

На Спас в храме сладко пахло яблоками. Жители близлежащих сёл принесли освятить первые дары садов, в толпе то дело мелькали наполненные доверху плетёные кошёлки, корзины, ведёрки. Я приехал в эту орловскую глушь к своему училищному другу Мишке Торонову, чтобы наконец-то побывать на родине мамы, которую во время Столыпинской реформы маленькой девочкой увезли из Рассеи в далёкую Сибирь. Поскольку мой приезд совпал в праздник Преображения, то Мишка по пути завёз в старенькую церковь, где мы отстояли службу, а потом поехали к нему домой. Незаметно за разговорами наступил вечер, мне постелили в отдельной комнате с видом на сад. И я, наполненный новизной впечатлений, быстро уснул. Неожиданно я проснулся среди ночи от странных глухих звуков.

Прежде я никогда не слышал, как падают яблоки. Видел, как падают с кедров шишки, слышал шум дождя и града, видел, как срываются и падают камни. Яблоки — никогда. Более того, до семнадцати лет я вообще не видел, как они растут.

...Откуда-то из-за оконной тиши то и дело возникал короткий, как удар сердца, приглушённый стук, который как будто отсекал то, что его держало, и замолкал в ожидании нового толчка. Я уже не мог спать, хотя за окном была августовская ночь. Из темноты то и дело вспыхивали, появлялись летящие точки, они чертили по стеклу

ХАЙРЮЗОВ Валерий Николаевич, прозаик (род. в 1944 г. в Иркутске). Автор книг: *«Непредвиденная посадка»* (Иркутск, 1979); *«Опекун»* (М., 1980); *«Почтовый круг»* (М., 1982); *«Отцовский штурвал»* (М., 1984); *«Приют для списанных пилотов»* (Иркутск, 1984); *«Малая Грузинская»* (М., 1986); *«Истории таёжного аэродрома»* (Иркутск, 1986); *«Плачь, милая, плачь»* (Иркутск, 1994); *«Без меня там пусто!»* (М., 1998); *«Иркут»* (Иркутск, 2009) и др. Член Союза писателей России.

огненную дугу, и следом раздавался очередной приглушённый шлепок. Я уже понял, что этот звук не связан со звёздами. Это падали перезревшие яблоки.

Утром я вышел из дома, и ноги сами понесли меня в сад. Яблоки уже не падали, но ими была усыпана вся трава, жёлтые, красные, с тёмными побитыми боками, они печально ждали своей земной участи. Но те, что сидели на ветках, тугими боками являли миру своё благополучие и зрелую красоту. На боках блестела роса, и, может, оттого они казались наполненными спелым соком. Я хотел поднять яблоко с земли, но какой-то инстинкт заставил меня потянуться к тому, которое висело прямо над головой.

«Вот от этого и началось на земле всё греховное», — сказал я себе, вытирая сорванное яблоко о майку. И, глянув ещё раз на яблоко, вдруг подумал, что с большой высоты, откуда падают звёзды, наша земля, должно быть, похожа на огромное, оберегаемое Спасителем яблоко.

О том, что кроме картошки, репы, лука и турнепса существуют ещё арбузы и яблоки, я узнал из Букваря. С арбуза начиналось первая буква алфавита, а заканчивалась она румяным яблоком. Составителям было невдомек, что существуют на земле места, где хоть месяц скачи на лошади, ни одной яблони не найдёшь. Нет, если побродить у нас по округе, то можно было отыскать черёмуху, смородину или кислицу. И даже найти яблоню-дичку с мелкими, как горох, плодами. Есть их можно было только поздней осенью, когда ударят первые морозы. Тогда они становились мягкими и сладкими. А так — открывай Букварь и пускай слюни.

Как-то мама привезла из города целый пакет настоящих яблок. Но, зная нашу прожорливость, — а нас в доме было пятеро детей, — спрятала их до моего дня рождения, обещая испечь для всех яблочный пирог.

— Всё, что у меня осталось в детской памяти о жизни на Орловщине, так это вкус и запах яблок, — сказала она. — На Яблочный Спас меня брали в церковь — освящать яблоки. До этого дня считалось, что рвать их нельзя. А ещё был Медовый Спас, Ореховый. Это позже о них забыли, а тогда это были одни из самых красивых праздников.

Мама грустно смотрела в своё прошлое. Но мы-то жили настоящим. И в этом настоящем нам всегда хотелось есть. Узнав, что у нас в доме появились яблоки, мои сёстры, когда родители были на работе, перевернули весь дом, нашли их и съели, хотя мама спрятала кулёк в угольный ларь, который был в сених.

— Из-под земли достанут, — грустно улыбаясь, пожаловалась она соседке.

Следует добавить, что это действие произошло без моего участия, в тот исторический момент поисков сёстрами яблок я гостил у бабушки. Не сомневаюсь, что принял бы в этом действии самое деятельное участие. А так, что с них возьмёшь — кто успел, тот и съел.

— Ну что, попробовал яблочный пирог? — спросила меня соседка по парте, с которой я имел неосторожность поделиться намерением мамы сделать мне вкусный подарок. — А из какого сорта она стряпала?

От удивления я даже поднял уши: неужели яблоки могут быть ещё разных сортов?

— Ну, штрифель, апорт, антоновка или симиренка, — начала перечислять Кларка. — Когда я жила в Алма-Ате, то у бабушки в саду ели штрифель, он самый сладкий. Сам во рту тает. А на зиму засыпали антоновские или симиренку.

Разговаривать с Кларкой на эту тему не хотелось, зачем говорить о том, чего не знаешь. Она привыкла везде быть на первых ролях. Всё она знает, везде бывала, всё попробовала. А тут представилась такая возможность!

Почувствовав к себе особый интерес всего класса, она тут же начала рассказывать о дынях, персиках и, что меня особенно поразило, о солёных арбузах и мочёных яблоках. Насупившись, я молча смотрел на гладкое лицо соседки, чувствуя, что начинаю думать уже не головой, а животом. Зависть — прескверная штука. Мне не хотелось сознаваться, что яблочного пирога я не пробовал и что до сих пор не попал в круг

избранных. А Кларка продолжала рассказывать, о том, что ей, когда она гостила у дедушки, делали шарлотку.

— Вкусно, особенно прямо из печи! — воскликнула она, причмокнув.

Нет, это было уже слишком! И слова-то все подбирает не здешние, а какие-то импортные. Надо же так: одним всё, а другим ничего!

— Сама ты мочёная, — буркнул я и ни к селу ни к городу и пропел: — Эх, яблочко, куды котишься, Кларке в рот попадётся, не воротишься.

— Дурак! — обиделась Кларка.

Много позже и у нас на Барабе начали появляться яблоки, а затем и апельсины, что говорило о приближении Нового года. И даже яблочный сок стали завозить в трёхлитровых банках. Но яблоки во рту не таяли, мы их про себя называли деревянными — они были без вкуса и запаха.

А так моя жизнь шла своим чередом, и утверждениям, что каждый человек для здоровья должен съедать по одному яблоку в день, в ней просто не было места. Можно было обойтись и без них. В сенях стояли бочки с мороженой капустой, в подполье была засыпана картошка, что ещё надо, чтобы перезимовать без всяких там штрифелей и антоновок!

Вечером, набегавшись на улице, я скидывал промокшие, обледенелые валенки, брал книгу «Робинзон Крузо», садился на табурет и, сунув ноги в тёплую духовку, начинал читать про удивительные приключения мореплавателя. И всё же краешком сознания я пытался отыскать — были ли у Робинзона на необитаемом острове яблоки. Были какие-то экзотические плоды, был дикий виноград, из которого он делал изюм, который, по мнению мореплавателя, хорошо подкреплял его силы, был хлеб — он собирал и высаживал его по зёрнышку. Мои силы хорошо подкрепляла картошка. Я нарезал её пластиками, солил и кидал на раскалённую плиту. Пластики шипели, я снимал их вилкой и отправлял в рот. «Ну чем не Робинзон! — думал я, перелистывая очередную страницу. — Жареная картошка, пожалуй, не хуже любого штрифеля».

Висящие на дереве яблоки я впервые увидел, когда поступил в лётное училище. В конце июля нас из летних лагерей, где мы проходили лётную подготовку, направили в наряд охранять территории пустующего летом училища. В том углу, где размещалась медсанчасть, мой взгляд неожиданно наткнулся на висящие яблоки. Было их так много, что под некоторые ветки были подставлены подпорки.

— Штрифель, — уверенно сказал Мишка Торонов, который родом был с Орловской губернии. — К тому же Яблочный Спас позади, можно рвать.

Этим он меня сразил окончательно, пожалуй, из всех сокурсников он единственный знал такие яблочные тонкости, о которых когда-то нам говорила мама. Я так и не сумел преодолеть искуса, ночью мы с тем же Мишкой перелезли через забор и набили яблоками карманы. Уже в казарме надкусил одно, потом другое. Зубы тут же начало ломить от оскомины, более кислых яблок я ещё не встречал.

— Вот тебе и штрифель, — с запоздалым разочарованием протянул я. — Врут, что они сами во рту тают. Лимон и тот слаще.

— Скорее всего, это зимний сорт — антоновка, — как бы извиняясь, с забытыми кларкиными интонациями в голосе протянул Мишка. — Надо было забраться поглубже и поискать. Наверняка там есть штрифель.

— Нет уж, с меня хватит, — засмеялся я. — Рвать без спросу — грех, нас не для этого сюда поставили. Узнают, что лазили без спроса, — ещё накостыляют.

— Да ты чего, прожить всю жизнь и не сорвать морковки у соседа, — засмеялся Мишка. — Чужая — она всегда слаще. А здесь столько яблок! На все училище хватит!

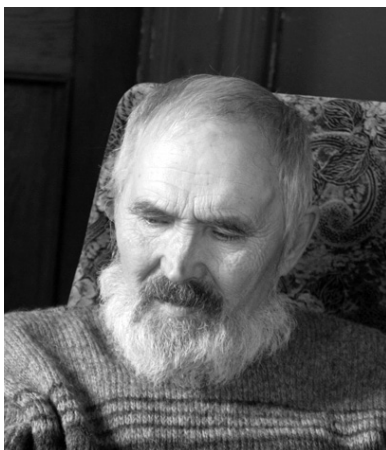
То, что мы крепко рисковали, выяснилось на другой день. Оказалось, что сад принадлежал самому начальнику училища.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Погостив ещё пару дней, я засобирался домой. Решили, что лучше всего до столицы надо добраться на поезде. Меня довели до станции, и я стал вглядываться вдаль, поджидая проходящий поезд. В воздухе было тихо, тепло и сыро. Он вынырнул неожиданно и, поскрипывая железом, остановился напротив, пассажиры тут же начали побыстрее загружать свои сумки и чемоданы в вагоны. Я смотрел на привокзальную суету и думал, что, возможно, вот так же когда-то отсюда совсем маленькой девочкой уезжала моя мама. Мишка затолкал меня в вагон, поезд тотчас же тронулся. Я вошёл в своё пустое купе, и мне стало как-то не по себе — ещё одно расставание, которое напоминало потерю, точно чего-то я долго искал, почти нашёл и вновь это, набирая скорость, уходит в прошлое. И вдруг я почувствовал знакомый сладкий запах яблок. Перед тем как отправить меня в обратную дорогу, мой давний друг принёс огромную парашютную сумку, наполненную только что сорванными созревшими яблоками.

— Штрифель, — с гордостью сказал он. — Не училищный, а наш, орловский! Сам видел, у нас его столько, что некуда девать. А ты побалуешь своих родных и близких. Уж эти-то точно во рту тают!



АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ



Сладкий рай лесного края

Помощник

Ясный вечер сеет росы.
Вслед за солнышком качусь.
«Скрип да скрип», — поют колёса,
Словно дикий серый гусь.

И не валко, и не шатко
По дороге полевой
Быстроногая лошадка
Косарей везёт домой...

Папе, маме помогаю!
Распрягу лошадку сам
И за чёлку поласкаю,
И травы охапку дам.

ГОРБУНОВ Анатолий Константинович, поэт, прозаик (род. в 1942 г. в д. Мутина Киренского р-на Иркутской обл.). Автор многих книг, в т. ч. сб. стихов: «Чудница» (М., 1975); «Осенцы» (Иркутск, 1980); «Звонница» (Иркутск, 1985); «Перекалы» (Иркутск, 1988: Сибирская лира); «Сторона речная» (Иркутск, 2004); сб. прозы: «Тайга и люди» (Иркутск, 1982); «Рыбаки-охотники» (Иркутск, 2008); книг стихов для детей: «Журчинки» (Иркутск, 2000); «Родины свет» (Иркутск, 2011) и др. Член Союза писателей России.

Юный лесовод

Ветер по лесу гулял,
Тряс волнистой гривой
И нечаянно сломал
Веточку на иве.

Принесу её домой,
Посажу в тенёчке

И водичкой дождевой
Напою из бочки.

Приживётся, расцветёт,
Пчёлка растревожит —
Соберут волшебный мёд
С молодых серёжек.

Воздухоплаватель

Весёлый, прыгучий, как мячик,
На зорьку любуясь, конёк
По синему небушку скачет,
Поёт, заливаясь: «Цок, цок»...

Отыщет лесину постарше,
Бесстрашно с макушки нырнёт...
Чем длиннее лесина, тем дальше
И выше парящий полёт!

Лис

Дребезжит от стужи высь.
Ой, зима кусается!
А весёлый рыжий лис
С горочки катается.

По седому склону дня
Скатится — оглянется:
«Интересно, чья лыжня
По сугробам тянется?!»

Домашние куры

В огородах — тишь да гладь.
Пусто в кущах бурых.
В поле зёрнышко клевать
Зачастили куры.

Наедятся — и домой,
Озорные птицы!
Мчатся низко над землёй,
Чтобы не разбиться.

Троица

Солнце в лужах вязнет.
Далеко до шей.
Здравствуй, скромный праздник
Первых овощей —

Лука и редиски,
Хрена, черемши!..

В огородах плиски*
Пели от души.

Ели мы окрошку
С квасом пополам,
А Христос в окошко
Улыбался нам.

*Плиски — трясогузка.

Страус

Ёлки-палки, лес густой!	Любит в бегалки играть,
По овечьим тропам	Пить водичку вдоволь.
Из Австралии самой	
К нам в Сибирь притопап.	Вот опять он скрылся с глаз,
	Словно в море парус...
Не умеет гость летать...	Оставайся жить у нас,
Во лугах медовых	Серебристый страус!

Путешественники

Озеро Фролиха —	Песню волчьей стаи
Маленький Байкал.	Доносило с гор.
Вечер тихо-тихо	
Лодочку качал.	Не боюсь я с папой
	В жизни никого —
К берегу пристали.	Как медвежьи лапы,
Развели костёр.	Руки у него.

Огородный царь

Он страной зелёной правит,	«Кукареку!» — лютуют звоны.
Молодые зорьки славит.	Улыбаются насадки:
Верным жёнам бьёт поклоны.	Скоро вылупятся детки.

Поросята

Удалой подсвинок Борька	Выйдет с кормом тётка Ванда,
К ним приставлен в командиры,	В лужу топнет он копытом,
Грязных пятен видишь сколько	Мигом вся его команда
У героя на мундире!	Соберётся у корыта.

Матрёшки

Хнычет сестрица:	Вышла матрёшка —
Нет у ней куклы.	Некуда лучше!
Как здесь учиться —	Топают ножки,
Путаю буквы?!	Хлопают ручки.
Взял две картошки,	Ловит сестрица
Спичек немножко,	Резвую куклу...
Сделал матрёшку	Как здесь учиться —
Ростиком с ложку.	Прыгают буквы?!

Лентяй

Рукава сияют глянцем.
На ботинках — грязи пуд.
Двойки сыплются из ранца,
Как лошадки, вслед бегут.

Двойки любят неумойку —
Не житьё с таким, а рай!
Ржут залиvisto и бойко,
Хоть в телегу запрягай!

Пустодум

Пьёт от пуза кока-колу
И, в глаза пуская дым,
Пропускает часто школу —
Притворяется больным.

Лень погладить ворот мятый
И учиться тоже лень.

Игровые автоматы
Посещает каждый день.

Из него не выйдет толку,
В мудрой жизни пустодум
Будет лишним, если только
Не возьмётся он за ум.

Рыбачья загадка*

Не лягушка, не скотинка,
Сто копеечек на спинке
И по двести — на боках.
Мошек ловит в облаках.

В небо прыгает, жужжит,
Каждой мошкой дорожит!
Сам не птица, а клюёт...
Кто такой в пруду живёт?

Близкое и вечное

Отплясало в Лене рыбкой
Наше северное лето.
Лист опал с берёзок зыбких,
В чашах стало больше света.

Блудят в утренних туманах
Утки, солнце окликают...
Золотые дали манят
В сладкий рай лесного края.

*Карп — одомашненный сазан.



ВИКТОР КАЛИНКИН



РАССКАЗЫ

Буран и Вовка

В середине девяностых главного кормильца всех, кто жил в Заводи, — леспромхоза — не стало. Некоторые семьи тут же снялись и уехали кто куда.

Но многие всё же остались, надеясь на подсобное хозяйство, да бог знает, на что ещё. Не хотелось людям покидать обжитое место и красивый посёлок на берегу Светлой.

Осталась в Заводи и семья Подшиваловых. Дед Афанасий Никитич, сын его Алексей, Люба, жена Алексея, и маленький их сынишка шестилетний Вовка.

Кроме огорода и хлевов со скотиной, был в небольшом хозяйстве Подшиваловых удивительный конь — Север. Конь этот был огромный, просто сказочный, загляденье!

Купили его Подшиваловы жеребёночком, чтобы подрастить и использовать как рабочую лошадь. Но мужских достоинств лишать не решились: больно хорош был жеребёнок. К пяти годам стал он уже в поселковом табуне главным.

То ли тяжеловес был конь, то ли удачная смесь породистых лошадей, этого хозяева не знали, а просто радовались, что жила сила этой породы в могучем Севере.

КАЛИНКИН Виктор Николаевич родился в Забайкалье в 1950 г., работал в районных, городских и областных газетах. С 1982 по 2002 г. был собственным корреспондентом центральной газеты «Лесная промышленность» по Иркутской области. Печатался в ряде журналов, альманахе «Сибирь» и других изданиях. Автор документальных книг «Гигант на Ангаре», «Помним Братск», сборников рассказов «Случайный прохожий», «Колокола».

Был Север Вовке ровесником. Но к шести годам Север стал большим конём, а Вовка был ещё малышом. И всё же маленький Вовка не боялся Севера. Заходил к нему в загон, гладил и удивлялся: издалека конь вроде бы гнедой, а подойдёшь, сразу видно — вся шёрстка на нём словно инеем покрыта. Потому, наверное, и называли коня Севером.

Север тоже признавал Вовку, обнюхивал его, но всегда, когда малыш вставал рядом, конь немного волновался. Осторожно, бочком, отходил от Вовки, видно, боялся наступить на мальчонку.

Любовались Подшиваловы, глядя на Севера, но одно всё-таки смущало: почему-то не передавалась его мощь другим, соседским лошадям. Хотя все кобылы с начала выгона были его. А если какой-то двухлеток осмеливался подойти, то получал от вожака так, что потом его долго искали.

Сильно хотелось Подшиваловым, чтобы нашлась Северу подходящая пара, да всё не получалось. Но через год, когда Северу было уже семь лет, привезли они весной из сельской глубинки гнедую кобылу с красивым именем — Метель. По всем статьям хороша лошадка, авось, что-то выйдет.

Соорудили для неё стойло рядом с Севером. Захрапел жеребец, зафыркал, закосил горящим глазом на новенькую. Стал доски ломать, чтобы прорваться к соседке. Едва удержали. Недельку смотрели за ним, чтобы не пугал Метель, чтобы привыкла она к коню.

Этого срока хватило. Вышли однажды утром домочадцы и увидели выбитую верхнюю доску загона и стоящих рядом Севера и кобылу, таких ладных, что сомнений не оставалось, — создала их природа друг для друга.

— Ну вот, — улыбнулся дед, — кажись, получилось.

На следующий год, в мае, принесла Метель крепкого, крупного жеребёнка.

Вовка сразу назвал сосунка Бураном. И заявил, что Буран скоро табун водить будет, а Северу пора на покой.

Метель, кормящую мать, вновь отгородили от Севера — мог ведь по нечаянности затоптать своего детёныша.

— А почему Буран, сынок? — спросил Алексей.

— Так понятно: Север! С севера — метель, а за ней — буран.

— Вот умница! — ликовали родители.

Вовка с первого дня, не дожидаясь просьбы отца, взял шефство над полюбившимся ему жеребёнком. Натаскал от старой брошенной пилорамы горбыля, обстругал, напил ровненько и соорудил для Бурана навес от дождя и ветра. А сена туда набросал столько, что Бурана в этом пуховике и не увидишь.

Первое время хорошо кормила Бурана своим молоком Метель. Но как-то приметил Вовка: лезет жеребёнок под мамкин живот, а та отходит. Понял: надо Бурана подкармливать.

Сначала хотел молоко коровье давать, но Люба воспротивилась:

— Телятам, сынок, не хватает.

— Телята не пропадут, — нахмурился Вовка. — Буранка важнее.

— А почему важнее? — неожиданно задала мать непростой, как оказалось, для Вовки вопрос.

Подумал Вовка, потрепал свою короткую стрижку и честно сказал:

— Не знаю, мама, почему. Но точно — важнее!

Алексей слышал разговор, посмеивался, а потом успокоил сына:

— Бурана пора подкармливать, но лучше — ячменём, овсом. Сделай-ка, Вова, кормушку.

Тут же собрал Вовка дощечки, сколотил кормушку и по несколько раз в день смотрел за своим любимцем — подсыпал ему помаленьку овёс, ячмень, отруби — так, чтобы тот был сыт, но в меру.

Летом Буран вместе с Севером и Метелью с утра уходил в луга, за посёлок, где собирался табун. Лошадей в Заводи приходилось держать почти всем, потому что после леспромхоза осталась в посёлке пара-тройка колёсных тракторов, из которых то один, то другой выходили из строя. Вот и завели лошадей. Без них сена не накопишь, огород порой не вспашешь, а главное, много воды с реки надо возить зимой и летом — и для людей, и для скотины.

Север с Метелью тоже постоянно были в работе. С конца июля, от первого сенокоса до сентября оба таскали конные косилки, возили с дальних лугов копейки душистой травы к дому и к стогам, что оставались в лугах на зиму.

Буран до осени ходил за кобылой, а осенью, как положено, оторвали его от мамы, поставили в отдельный загон, где хорошее сено и подкормка помогли ему к новой весне из жеребёнка превратиться хоть и не во взрослого, но крепкого конягу.

Вовка тут же, как подсказал отец, стал учить Бурана ходить под уздой, выполнять разные команды и не мог дожидаться, когда можно будет накинуть потник, закрепить седло и приучать его к верховой езде.

Команды Буран освоил быстро. Вовка ещё зимой и ранней весной надоедал ему: приказывал идти, стоять, поднимать ноги для осмотра копыт.

К лету Буран умел всё, что должен уметь молодой конь, а Вовку всегда встречал довольный, тыкался ему в грудь и получал от хозяина, кем и стал для него парнишка, кусок хлеба или сладкую булочку.

Подшиваловы берегли добротного коня и не нагружали его раньше положенного. А когда Буран стал трёхлетком, он наравне с другими лошадьми впрягся в работу — возил воду, а в свободное время послушно гонял по тяжёлым дорогам с Вовкой, которому интересно было, как быстр и ловок его Буранка при верховой езде. На сенокосе Буран тоже не подвёл: как забаву таскал косилку и перевозил копейки к растущим стогам.

В этот же год, после сенокоса, в табуне между Севером и Бураном произошла первая стычка. Досталось, конечно, Бурану, но он сильно не испугался, отбежал в сторону, а потом то и дело донимал Севера своими попытками сойтись с кобылами. Но не соперник он был пока жожаку.

Так ещё пару лет одолевал Север набирающего силу коня, но давалось ему это уже нелегко. Часть табуна потихоньку отходила к Бурану. И настал осенний день, когда Буран сам набросился на Севера, и сцепились они так яростно, будто знали — это последний бой за табун.

Алексей с Вовкой, увидев жестокую схватку, сели в «уазик» и помчались разнимать соперников. Криками, плётками кое-как разогнали их по разные стороны поля и, успокоившись, вернулись домой.

Темнело, когда в своё стойло вернулся Север. Ни Буран, ни Метель до утра так и не появились. А утром не только Подшиваловы, но все поселковые ахнули: не было табуна на выпасах. Лишь несколько меринов пощипывали последнюю осеннюю травку.

— Сбылось твоё предсказание, Вова, — сказал Алексей. — Увёл Буран кобылиц с жеребятами в лес. Надо бы к вечеру поискать и вернуть.

Но не удалось ни Подшиваловым, ни другим хозяевам, у кого были мотоциклы или «уазики», ни в этот день, ни в следующие найти своих лошадей. Растворился табун в тайге...

— Ничего, — рассуждали мужики, — снежок выпадет, быстро найдём.

Но покрыл засохшие травы первый снег, потом и сугробы в тайге выросли, а следов табуна так никто и не увидел.

— Съели наших лошадей волки, — с укоризной говорили Подшиваловым поселковые. Для Вовки это время стало тяжёлым испытанием. Не раз, еле сдерживая слёзы, просил он отца бросить все дела и искать табун.

Но Алексей почему-то молчал и на что-то надеялся.

С начала зимы мотались они на «уазике» за дичью в тех местах, где машина могла пройти сквозь рыхлый, не прижатый ещё морозами снег. Заодно посматривали — не оставил ли табун хоть какие-то, пусть старые, занесённые ветром следы.

И только в декабре, на очередной охоте, когда Алексей за рулём высматривал место для проезда, Вовка вдруг закричал что есть силы:

— Стой, папа! Следы...

Не успел Алексей остановить машину, как Вовка выпрыгнул из «уазика» и по пояс в снегу погрёб к мелколесью, где что-то увидел.

— Кони! — закричал Вовка то ли с радостью, то ли просто не веря себе.

На открытом, почти безлесом месте сопки ветер наполовину слизал то, что можно назвать следами. И все же подошедший не спеша Алексей подтвердил:

— Табун.

Следы уходили к вершине, в самую чащу, куда охотники вряд ли могли доехать. Но Алексей всё-таки предложил:

— Давай проедем, сколько сможем, а там видно будет.

Проползли они на машине недалеко и, оставив её, двинули вверх через буреломы. В чаще, куда ветер почти не проникал, следы становились всё отчетливее — жив табун! Только вот, что с ним? Волки ведь мимо не пройдут.

Но не зря продвигались Подшиваловы к вершине сопки. Не дошли до неё немного и увидели, что произошло не далее, чем день назад, на небольшой поляне. В поисках такого места, видно, и вёл лошадей вожак. Семи-восьмимесячных жеребят, которые могли стать лёгкой волчьей добычей, окружили лошади и стали намертво.

Бой за жизнь был кровавый. Весь снег облепили красные пятна и куски конской шерсти.

Вовка носился по поляне, пытаясь разгадать итог таёжной драмы, и наконец, на что-то наткнувшись, закричал:

— Папа! Буран порвал их!

Алексей подошёл, взял из рук сына изрядный кусок волчьей шерсти, оторванной у хищника вместе с кожей. Видно, или Буран, или одна из кобылиц подковой так достали серого, что, может, не только кровь пустили, но и ребра переломали.

Вовка прошёл ещё немного по следам Бурана и уже уверенно проговорил:

— Он затоптал и порвал их!

По следам читалось, что лошади остались на поляне, а озверевший вожак гнал волков от табуна, пока те не ушли.

Подшиваловы походили вокруг ещё немного и решили, что ни взрослой лошади, ни жеребёнка небольшой волчьей стае не досталось.

— Наше счастье, — сказал Алексей, — что волки в этих краях проходные.

Вовка знал от отца особенности здешних лесов и понимал, о чём он говорит.

Косуль местных в их тайге мало. Почти все они идут по сопкам и распадкам из-за реки — дальше на север. С давних пор волки преследуют их тем же путём. В большие стаи не сбиваются и надолго тут не остаются.

— Давай пальнём, папа, — предложил Вовка. — Может, Буран поймёт, что мы его ищем, и вернётся.

— Не вздумай, — покачал головой Алексей. — Буран от выстрела уведёт табун ещё дальше. Это зверь глупый смотрит ночью в сторону машин и получает меж глаз пулю. Буран, думаю, вечером уводит лошадей в самую глубь, а может, даже заставляет ложиться. Иначе приезжие охотники с фарами табун давно бы расстреляли.

— Буран всё понимает, — согласился Вовка. — Только придёт ли снова домой?

— Не знаю, сынок, — признался Алексей. — Бывали случаи, когда дичали лошади в тайге и не возвращались.

После этого никто из посёлка следов табуна уже не встречал. Да и не охотились местные мужики в той дальней тайге, куда в декабре пробрались Подшиваловы.

До весны ещё тлела надежда, что с первой травкой появятся лошади на привычном выгоне. Но минула весна, июль был в разгаре, на лугах, отведённых когда-то каждой семье ещё стариками, всюду шёл сенокос, а табуна не было. Тем, у кого лошадей не стало, Подшиваловы, другие соседи помогали набирать сено на зиму с помощью своих конных косилок. Алексей подладил трактор, собирал копёшки на прицепную тележку, а Севера отдала другим. Конь, будто провинившийся, не знал отдыха.

Вовка всё это время не просто ждал Бурана, но и убеждал отца, что Буран и сам вернётся, и табун приведёт.

— Это он, папа, с Севером не хотел больше драться, потому и ушёл.

— Может и так, сынок, — соглашался Алексей, не желая расстраивать сына. Хотя с тревогой думал, что волки могли сбиться в большую стаю и взять табун. Даже Буран в таком случае вряд ли бы выжил.

Вовке в это лето пошёл уже пятнадцатый год. На вид он был всё ещё парнишкой, но в делах от мужиков не отставал, косил и собирал сено до темноты, пока от стана отец не звал его ужинать.

Вечером у костра сидели обычно долго, а на обед время не тратили — перекусят, чай похлебают — и за дело.

Раз вот так же перекусили, поднялись и пошли. Алексей к трактору, а Вовка — укладывать сено в стожок. Вдруг Вовка догнал отца и прошептал:

— Тихо, папа. Резко не поворачивайся. Сам не верю, но, кажется, из леса конь на нас смотрит.

Алексей потихоньку повернулся, всмотрелся в далёкую кромку леса, подходившую к лугам, и еле-еле разглядел лошадиную голову над невысоким соснячком.

— Это Буран, — твёрдо сказал Вовка. — Сейчас, главное, не спугнуть. Ты, папа, стой здесь. Я знаю, что делать.

И Вовка, ускоряя шаг, пошёл, но не туда, где стоял конь, а по краю сенокосных угодий, и, пройдя шагов сто, оказался как раз напротив него.

Большой скошенный луг разделял их.

Вовка постоял и тихо позвал:

— Буран...

Конь не шевелился, но Вовка видел, что он тоже пристально смотрит в его сторону. Вовка шагнул ему навстречу, не спеша, негромко подзывая:

— Буран, Буран...

И тут Алексей увидел, как конь вышел из леса и пошёл к Вовке. И чем ближе они подходили друг к другу, тем больше ускоряли шаг.

Наконец, Вовка не выдержал:

— Буранка! — закричал он и побежал к своему любимцу, за которого переживал почти год.

И Буран побежал тоже.

— Затопчет! — всполошился Алексей и бросился к карабину. Привычно взял коня, как зверя, на мушку, под левую лопатку.

Конь бежал, а мушка карабина плавно двигалась за ним...

Но вот Вовка остановился, и Буран тоже встал.

Алексей видел, что Вовка подзывает коня, и тот послушно идёт к нему. Посреди луга они встретились. Буран привычно ткнулся головой в грудь хозяина. Вовка обнял его за шею. И так стояли они, приветствуя друг друга, как раньше.

Вовка вытер рукавом то ли пот, то ли слёзы и, повторяя «Буран, Буран...», повёл его за собой.

Алексей осторожно поставил карабин между ветками тальника, но так, чтобы оружие было наготове.

И ещё раз в этот день удивил отца Вовка. Он не повёл Бурана к стану, где стояла машина, валялись ведра, спальники... Да и Алексей был ещё в напряжении. Всё это, как рассудил Вовка, могло напугать Бурана. Поэтому он вёл его посередине луга, туда, где была оставлена косилка и вся необходимая упряжь.

Буран позволил запрячь его в косилку, Вовка устроился на жёстком сиденье, и лишь цокнул, как пошёл его любимец по просторному лугу, оставляя за косилкой густой валок сочных трав.

Алексей, словно замороженный, стоял возле табора. Только что на его глазах произошло чудо: могучий конь, набравший к шести годам огромную силу, вожак табуна, не давший его на растерзание волчьей стае, ставший за год почти диким животным, не забыл своего кормильца и друга. И не просто узнал его, а безропотно встал в упряжку, словно хорошо понимал, кто на окрестной земле главный...

Вовка вошёл во вкус и, похоже, не собирался останавливаться.

Алексей полюбовался ещё сынишкой, его взрослым умением обращаться с косилкой и управлять конём и, поглядывая в ту сторону, где были Буран и Вовка, пошёл к трактору. Но, с час пособирав сено, понял, что сегодня он не работник. Руки не слушались, глаза смотрели не вперёд, а туда, где за Вовкиной косилкой вырастали ряды валков.

Он подогнал трактор к стану и заглушил мотор.

Из леса потихоньку выходил табун. Взрослые лошади и ставшие почти полугодовалыми жеребята разбрелись по полю, выискивая в стерне клочки травы, оставленной после граблей.

...Карабин, соскользнув с тальника, валялся в траве. Рядом с очагом, устроенным из валунов, парил котелок с ухой, на рогатине закипал чайник. Небо с восточной стороны стало темнеть, но на западе, над дальними верхушками леса, ещё светлела полоска уходящего солнца. И навстречу этой полоске, всё дальше, веселей, не ведая усталости, с гиканьем, вёл Вовка своего Буранку, пока Алексей не крикнул:

— Хватит, сынок! Встречай — Метель тоже вернулась!

Вовка освободил коня от упряжи, взял его за поводья и повёл к стану.

Буран шёл уверенно, будто никогда не было у него никаких перемен и тяжёлой зимы, полной тревог и борьбы за себя и за жизнь табуна. Теперь, с Вовкой, он ничего не боялся. На Севера, стоявшего неподалёку, даже не взглянул. Бывший вожак всхрапнул и отошёл подальше. Между ними всё было решено.

Вовка стреножил Буранку, снял узду, погладил коня по крутым бокам, словно просил прощения, и пошёл к Северу. Ему стало жалко всеми любимого и самого сильного когда-то жеребца во всей округе. Вовка дал ему с ладони кусочек хлеба и сочувственно похлопал по шее.

Север хлеб взял, но при этом фыркнул, мотнул седеющей гривой и отошёл.

— Обидно, конечно, — согласился Вовка. — Но ведь Буран — твой сын...

Не услышал его ласковых слов гордый конь.

Вовка вздохнул и побежал к стану.

К сентябрю семья перебиралась в районный центр. В Заводи школа сохранилась чудом, и то, скорее всего, её закроют, а Вовка должен учиться дальше, идти в девятый класс. Дело решённое. В Заводи остаётся Афанасий Никитич. С большим хозяйством ему не справиться. Поэтому Бурана договорились держать дома, а Севера и Метель отдать соседям.

Об этом отец и сын говорили у костра, когда уже забрались в спальники.

— Ты не волнуйся, сынок, — успокаивал Вовку Алексей. — Лучше Заводи места на свете нет. Охоту, рыбалку мы с тобой не забросим. Да и деда навещать надо. А летом опять сюда переедем, будешь ты со своим Буранкой...

Вовка потихоньку, чтобы не обидеть отца, повернулся на другой бок, смотрел, как по тальнику прыгают блики костра.

«Уезжать из посёлка, — думал он, — не хочется. Но и плакать не стоит. Папа сказал, что и дедушку, и Бурана, и дом в Заводи семья без пригляда не оставит. Значит, так и будет».

Алексей, переживший сильное волнение во время встречи Вовки с Бураном, долго ворочался и всё удивлялся сообразительности сына и преданности коня, не забывшего хозяина даже после долгой разлуки.

На всякий случай он ещё раз внимательно взгляделся в едва освещённый костром луг. Метель, Буран и Север мирно пощипывали травку.

Вовка, накрыв голову покрывалом, чтобы к утру не заели комары, уже спал.

Позади у парнишки был счастливый день.

Охота на медведя

У тёщи моей была старшая сестра — Анфиса Петровна. А у неё был муж — Иван Иванович, или, попросту, дядя Ваня. Имя он имел солидное, вполне к нему подходящее, а фамилию не очень — Сморчков. И хотя роста был небольшого, но такой могучий в плечах и с такими руками-лопатами, что, глядя на него, любой человек не посмел бы посмеяться над ним и его фамилией.

Дядя Ваня был из тех былинных богатырей, каких теперь и не встретишь. Его родители в начале прошлого века переселились из Белоруссии в Сибирь и основали, как и многие их земляки, одну из лесных деревенок в предгорьях Саян. Раскорчевали кусок тайги, поставили дома, сеяли хлеб, охотились, рыбачили, рожали детей.

От них дядя Ваня унаследовал трудолюбие, силу и любовь к детям. Детей у него с тёткой Анфисой было аж десятеро. Бывало, скажешь с восхищением о том, какой дядя Ваня сильный, а тётка Анфиса покачает головой и уточнит: «Никто не знает, какой он сильный, только я знаю...»

В их краях и среди родни было известно, что дядя Ваня — непревзойдённый медвежатник. Говорят, на его счету было тридцать девять медведей. Дядя Ваня переживал, что не добыл сорокового. И, будучи восьмидесятилетним дедом, размышлял это сделать.

Раз по осени били мы борова в деревне у тёщи, как это делали в такую пору много лет подряд. Дядя Ваня был за бригадира. Сам орудовал ножом, мы были на подхвате. А вот стрелял свиней обычно тесть мой, Игнатыч. Заряжал свою ржавую мелкашку и, не имея навыков, палил в несчастную свинюшку два, три, а то и четыре раза.

Для дяди Вани смотреть на такой срам было мукой, ведь он всю жизнь не свиней в загоне бил с одного выстрела, а куда более серьёзных животных. Однако о своих охотничьих подвигах рассказывал довольно скромно и всегда одинаково:

— Иду по тропце, гляжу — медведь! Прицелился, стрелив, убив!

Спросишь его:

— А если не случайная встреча? Если из берлоги прёт?

А не важно! Рассказ всё тот же:

— Прицелился, стрелив, убив!

Но вот работа на заднем дворе закончена, женщины накрывают стол, ставят жареную вырезку, печень, рёбрышки. Свеженина — всегда праздник.

Дядя Ваня подвыпил, нагнулся ко мне и зашептал, чтобы не слышала тётка Анфиса:

— Витька, ты собак хороших привезти можешь?

Я понял, к чему он клонит, и тоже загорелся:

— С другом приеду, у него лайки породистые.

Сам думаю, дядя Ваня староват, конечно, но ещё жилистый. И как проводника, да и как бригадира на медвежьей охоте лучше не сыскать.

Назначили дату встречи, пожали руки, хлопнули по рюмочке за предстоящий поход.

Поздним вечером хозяева, гости, ребяташки стали готовиться к ночлегу. Народу много. Пришлось стелить на пол матрацы. Так, на полу, большинство и устроилось.

Среди ночи слышу кто-то шарится впотьмах. Пригляделся — дядя Ваня ползает по полу и матерится негромко. Проползёт, сматерится, привстанет и опять хлопает ладошками по половицам, что-то ищет. Наконец, не выдержал, поднялся и в полный голос:

— Да ёшь твою мать! Что за кровать такая! Краев нету! Ведь обмочусь сейчас!

Я встал, провёл старика во двор.

Утром стали собираться по домам. Тётка Анфиса подошла ко мне, прошептала:

— Ты всерьёз об охоте не думай. Какая ему охота, он и в доме-то теперь плуствует...

Я и сам понял, что на медведя мы с дядей Ваней не пойдём.

И горько было глядеть вслед этому замечательному деду и думать, что даже такие могучие «кедры» не вечны.

Портрет Сталина

Летом 1955 года отец, получив отпуск, решил повидаться со своей сестрой Валентиной, жившей тогда в Рязани. По рассказам отца у них когда-то была большая семья — четверо братьев, сестра, отец с матерью, дедушка с бабушкой. Все они жили вместе, пока их не разлучила война. Трое братьев погибли, старики, не выдержав тягот военного времени, умерли. Остался у отца один родной человек из прошлого — сестра, с которой они не виделись с 41-го года, когда отец ушёл на фронт.

Невозможно представить, сколько горя и испытаний пережили они за эти годы, какой счастливой видели их новую жизнь и какой радостной предстоящую встречу.

Мама осталась дома, в Забайкалье, с моей младшей сестрой Иринкой. Меня, пятилетнего мальчонку, отец решил взять с собой. И мы отправились в длинное путешествие на поезде — из Читы в Рязань, через всю страну. Много картинок этой поездки навсегда осталось у меня в памяти. Но один эпизод я помню в таких мельчайших деталях, будто всё это случилось только вчера.

А случилось на одной из станций то, что могло не только помешать отцу встретиться с сестрой, но даже перечеркнуть его фронтовые заслуги, а мою жизнь сделать совсем не такой, какой она состоялась.

На одной из станций мы с отцом вышли из вагона и направились на вокзал подкупить чего-нибудь съестного в буфете. И надо же было отцу войти не в ту дверь. Вместо вокзала мы оказались в тёмной каморке, заваленной всякой рухлядью. Только хотели выйти, как появился какой-то служащий железной дороги и схватил отца за плечо:

— Вы что тут делаете?

Отец пояснил, что ошибся дверью.

Однако строгий мужик его не отпускал.

— Посмотрим, не стащили ли чего, — проговорил он и втолкнул нас обратно в каморку.

И тут произошло нечто жуткое: в самом углу этого хозяйственного помещения, на куче мусора валялся портрет Сталина в золочёной раме, под стеклом. И через всё стекло, наискосок, тянулась трещина.

— Ты что же делаешь, сволочь?! — вскричал мужик. — Портрет разбил! Загремишь, негодяй, на всю катушку!

Никогда не забыть мне растерянности моего могучего отца, героя-фронтовика, офицера, китель которого в торжественные дни светился орденами. Он, почти не надеясь на хороший исход дела, стал просить железнодорожника отпустить его с миром, уверял, что до портрета не дотрагивался, спрашивал, что же будет с его сынишкой, если его арестуют.

Каким-то чудом злобный мужик внял его уговорам и потребовал, чтобы мы немедленно убирались вон. Мы выбежали на перрон, поезд уже трогался, отец схватил меня в охапку и мы едва успели вскочить на подножку вагона...

Об этом случае мы с отцом ни в поезде, ни в гостях у моей тётки, ни после не вспоминали. О Сталине отец весьма сдержанно сказал лишь однажды, когда был разоблачён культ личности:

— Мы и без Хрущёва знали, кто такой Сталин.

Сказал он это в кругу своих друзей, фронтовиков. И никаких споров, не говоря уж об истерике, какая охватывает некоторых нынешних патриотов при неуважительном отношении к Сталину, не возникло.

Конечно, позже мы с отцом нередко беседовали о политике. И он, с вершин своего опыта, говорил иногда такое, что заставляло задумываться и запоминалось на всю жизнь. Он, например, ещё в 60-е годы предсказал распад так называемого социалистического лагеря и даже вечное существование Советского Союза поставил под сомнение. И это притом, что образование имел три класса церковно-приходской школы.

А однажды, когда я, чего-то начитавшись, громил политику репрессий 37-го года, он погасил мой пыл совершенно потрясшими меня словами:

— Говори потише. Не забывай, что 37-й год может наступить завтра.

Да, это было ещё в советские времена. Прошла целая жизнь. Нет уже соцлагеря, нет Союза. Нет и моего батьки.

Но жива мальчишеская злость, которую я испытал когда-то к разбитому портрету. Я понял, что не железнодорожник, а именно этот портрет заставил моего отца пройти через унижение и страх.

Сегодня, спустя многие десятилетия, я бы определил ситуацию, в которую мы попали, как «обстоятельство непреодолимой силы».

Так что пусть не осудит моего отца строгий читатель за то, что он «спасовал» перед мелким служащим, как не осудил его я, пятилетний мальчишка, ни на секунду не усомнившись в том, что отец повёл себя так, как надо. Потому и обошлось без беды.

Розыгрыш

Мой шурин, брат жены, Колька — ужасный спорщик. Спорит со всеми подряд и по любому поводу. Чуть чего, сразу: «Давай на спор!»

А в ту пору, пока мы жили рядом и почти ежедневно общались семьями, я был для него излюбленным объектом разных экспериментов. Почему-то ему казалось, что он сильнее, ловчее и удачливей меня, и он без конца предлагал мне «на спор» различные соревнования. К примеру, я увлекался поэзией, знал многих авторов наизусть. Колька, чтобы разоблачить мою мнимую начитанность, начинает меня донимать:

— Спорим, ты и полчаса подряд не сможешь без остановки читать стихи!

Ударили по рукам, и я больше часа, увлечшись, декламировал любимые строчки. Колька взмолился:

— Ну хватит! Твоя взяла.

Или в выходной день идём с ребяташками в лес, разводим костёр. Колька тут же:

— Спорим, я разожгу с первой спички, а ты не сможешь!

Я берусь за дело первым и решаю эту несложную задачу. У Кольки, как назло, спичка гаснет.

— Хорошо, — не унимается он. — Ты знаешь, что я футболист? Ты знаешь, какие у футболистов ноги? Давай прыгать с места — кто дальше.

Ребятишки оживляются: сейчас будет потеха.

Проводим черту, прыгаем. Я — впереди. Колька нервно закуривает, отходит в сторону. Всеобщий хохот...

Но самый главный наш спор был на рыбалке, когда мы в одно лето частенько ходили со спиннингами на щуку. Колька, имевший с детства навыки в этом деле, предвкушая победу, заранее заключил со мной пари, что его улов всегда будет лучше. А получалось по-разному: то у него удача, то у меня. Потом почему-то щука ушла. Не берёт блесну день, два, неделю...

И вот, необыкновенный случай.

Были тогда у нас добрые соседи, хоть и пожилые, но проворные, хозяйственные. А дед, как настоящий рыбак, спиннингом не баловался, знал места и ставил сети. Жена его нередко угощала нас рыбкой. А в тот день принесла гостинец аж в пять часов утра! Извинилась: мол, уезжаем, если сейчас не отдам, пропадёт добро. И зашла волоком что-то в мешковине. Я перенёс увесистый свёрток на кухню, бросил на пол, развернул. Жена проснулась. Смотрим — перед нами не рыба, а целый крокодил — щука килограммов на восемь-десять!

Я тут же вспомнил, что через полчаса, как мы и договаривались, расставшись накануне поздно вечером, придёт Колька, чтобы опять тащить меня на рыбалку.

Я быстро оделся, натянул болотники. И тут Колька является.

— Молодец, уже собрался, — похвалил он, увидев меня в рыбацкой экипировке.

— Да я не собрался, а только что пришёл. Извини, брат, не утерпел сегодня, ещё на зорьке сбегал, порыбачил.

— И как?

— А ты посмотри на кухне.

Шурик, зайдя на кухню, стал соляным столбом. Долго рассматривал невиданную щучину. Наконец, произнёс со вздохом:

— Везучий ты, Витька!

На рыбалку мы в то лето больше не ходили. И спорить со мной Колька перестал. Чудом каким-то тайна той щуки хранилась в нашей семье долго. Только лет через десять, когда мы, разъехавшись по разным городам, вновь встретились как-то с шурином, я на радостях сказал ему правду.

— Ах ты!.. — не находя слов, подскочил он. — А я ведь все эти годы не мог забыть того случая, переживал! Рыбалку забросил.

Я думал, мы посмеёмся над этой старой историей, но шурина было явно не до смеха.

Мне стало неловко. Всё-таки с этими розыгрышами надо бы поосторожней... Не стоит чужую щуку выдавать за свою. А то получается, кому-то смех, а кому-то переживание на долгие годы.

Случайный прохожий

У нас в Забайкалье в августе бывают прямо-таки тропические ливни. Неделю может идти проливной дождь, после которого даже местность меняется: берега у речки другие, глубоченные овраги посреди улиц...

Но мы в детстве любили эти ливни. Они были тёплые, и можно было, накрыв голову и спину мешком, целыми днями шлёпать по бегущим в деревню потокам, строить запруды, пускать кораблики.

Была и другая любимая забава — встанешь в овраге в песчаную жижу и, притопывая, приговариваешь: «Мышка, мышка, присоси, больше года не проси». Чего не проси? Что за мышка? Да и не важно. Главное, что ноги постепенно засасывает всё глубже, а когда становится опасно, выбираешься из трясины и бежишь дальше.

Вот в такую трясины однажды я и залез в овраге, который был вырыт ливнем посреди села. Рядом были ребята, но они убежали, а я увлёкся. Увлёкся так, что вскоре оказался по грудь в этой песчаной западне. Сверху оврага на голову шли потоки грязной воды, я задыхался, а коварный песок засасывал меня всё сильнее. Вдруг я понял: это конец! В деревне в такой дождь нет ни души, все по домам, ливень льёт так, что хоть кричи, никто не услышит и за двадцать шагов...

Но я всё-таки собрал последние силы и крикнул! И в тот же миг рядом со мной появился незнакомый человек, какой-то дядька в рабочей чёрной одежде. Он прыгнул в овраг, когда я закричал.

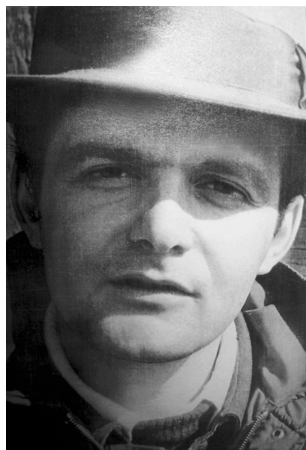
Мужик вытащил меня, спросил, где живу, и повёл домой. Я сказал, что добегу сам, но он всё же довёл меня до дома, передал родителям и ушёл.

...У нас в деревне все знали друг друга. И даже тех, кто жил в соседних деревнях, мы тоже знали. А этот дяденька был не местный. И кто он был, и по каким делам приезжал, и к кому — ни я, ни мои родители так никогда и не узнали.

ПОЭЗИЯ



МИХАИЛ ШЕПЕЛЬ



Темны листы, но светел Горний Дождь

* * *

На лето зримое — незримо
Веду ладонью небосвод.
Замысловатых синих линий —
Их нескончаемый черёд —

Мне кружит голову... Глазами
Я впитываю солнца свет.
И то сравнишь лишь с лаской мамы,
Когда тебе всего пять лет!

Мне холод ясен — даль приметна...
За лёгким шагом тёплых дней
Я вижу небо с пенным ветром
И гладь реки, и птиц над ней.

ШЕПЕЛЬ Михаил Борисович родился в 1954 г. в г. Фрунзе в Киргизской ССР, ныне город Бишкек. В 1959 г. с родителями и старшим братом переехал в Иркутск. В 1988 г. закончил Иркутский государственный медицинский институт. С 2002 г. врач-физиолог (водолазный врач) Байкальского поискового спасательного отряда МЧС России. С 2010 г. преподаватель медицинской подготовки спасателей. Автор книги «Стихотворения» (2013).

Голгофа

Господи, больно мне!
Слёз уже нет.
Птицею пойманной
Вижу рассвет.
Там, розовея, плывут облака,
Медленный шелест стеблей тростника...
Где же ты, ветер, и тень от звезды?
Господи, слышу, как зреют Плоды...

* * *

Опустилась мгла —
Вечерняя река.
А над лесом уплывают облака.
И глаза твои
Все смотрят в вышину,
И ты ловишь голубую тишину.

И ты видишь — тучи в кучи собрались.
И ты видишь — ветер клонит остролист.
И ты слышишь —
Как затихло всё кругом.
Пыль. Дорога.
Зарождающийся гром.

* * *

А. Баснину

Здесь старинно рыдает гармонь,
И на лестнице шелест гитары.
Вечерами бредёшь ты устало
Ни к огню — на огонь, на огонь...

А твой дом и невесел, и пуст,
А ты полон холодным и ранним

Ожиданьем, одним ожиданьем,
Словно зимний заснеженный куст.

Не пришёл. Но приду, я приду...
И пойдём мы с тобой меж домами,
Что стоят в темноте теремами,
Говорить про стихи и звезду...

* * *

Темны листья,
Но светел Горний Дождь,
Врезается прохладною капелью.
Я чувствую, что ты ко мне идёшь.
Не облачаясь серою шинелью

Я выхожу на ветер и во тьму...
Протягивая пальцы, руки, плечи.
Хочу поймать,
и вот уже ловлю
Упругого дождя слепые речи...

Глаза поднявши
К мокрым небесам,
Ищу просвет Судьбы и Вдохновенья...
Не видно ничего моим глазам,
Как будто накатило ослепленье.

Как будто слышу отзвуки Дождя,
По тёмной меди бьющие набатом.
И — лоб горящий —
влагой бороздя,
Меня те звуки называют братом.

* * *

Ю.

И сколько раз я засыпал,
И сколько просыпался снова.
На берегу
 во тьме бывшего
Мерцал стеною краснотал...

И краснотала в темноте
Чуть различимая зарница
Давала радость пробудиться
И очутиться на версте,
Которая ведёт в рассвет...

* * *

Я снова в городе Дождей.
Вы представляете,
 дожди
Мне льют за шиворот весь день,
Встают на всём моём пути.

Так мокро, сыро, неуют,
Но я люблю, что весь сквозим.

Они поют. Дожди поют:
Один, один, один, один...

Но я твержу, что не один.
Я говорю: «Вот ты, вот он».
Но снова слышу впереди
Со всех сторон упрямый звон:
Один, один, один, один...

* * *

И манит страсть к разрывам...

Борис Пастернак

Наплывают зелёные волны земли.
Остывает рассвет — это повесть.
Плеск дневного дождя,
Шум ночного дождя —
Это наша погасшая совесть...

Наплывают зелёные волны земли,
Облака и река, и озёра.
И ветла,
 что стоит на песчаной мели,
И вскипает — на ветреный шорох.

Вот река. Отчего не могу говорить?
Вот рябина. Какое сквозит расстояние
На разрыве —
 сурова незримая нить...
Расставанье — такое сквозит состояние...

Наплывают зелёные волны земли,
С ними взгляд или жест торопливый,
Что раскосой листвою
Между нас пролегли
И наметили время — разрывам.

Там

И Моцарта прохладные слова
Ложились на виски,
И ветер снился...
По ступеням сада
Спускались мы в рассвет
В свеченье волн морских.
В серебряный песок
Мы погружали пальцы,
Чуть касались лбами —

Между нами
Проходила нежность и смеялась,
И говорила нам:
Как мы смешны и рады —
Наш сын родился: «под созвездьем Льва»,
«В год Тигра», «в день морской купели» —
Его хранят «огни святого Эльма»,
И «птица Сирий на священной рукояти».
Наш сын «Летающий тигр»,

Он знает поминутно,
Где искры пламени
И ясности порыв,
Где столб тугого света,
Поминутно...
Но вот мы в дом идём,
В сквозной проём двери,
Куда стремится краб, —

Становимся мы все:
Дорога. Белый день.
И горсти земляники,
И солнца нежный пламень
По-прежнему двуликий...
И Моцарта прохладные слова
Ложатся на виски,
И снится ветер...

Дому Ника

Снег шуршал, летя навстречу,
Задевая наши речи,
Задевая наши мысли,
Ветер, обдувая плечи, —
О твоём судачил доме,
Где живут портреты, листья...
И пучки травы засохшей,
А в стакане перья, кисти...

Снег летел... А там, где полночь
Пробирается к рассвету,
Где в полыни вдоль забора
Спит сейчас усталый ветер,

Он пробудится — проникнет,
Постучится в дом вечерний,
Заполняя стены дома
Голосами, песней, светом...

И, заглядывая в книги,
Прикоснётся он к молчанью...
Шлем, в котором листья, ветки,
Он не знает и не тронет.
Он опять струится влажно,
Обдувая наши лица, задевая наши мысли,
Раздувая искры скорби,
Превращая листья в пепел...

* * *

Что с тобою расстаться мне просто,
Я думал...
Стоит только сказать,
Что с тобою расстаться мне просто...
Но проходит неделя,
Приходит зима — белый остров,
Белый остров зимы

Распылил свои узкие крылья.
И опять это мы!
Остаётся вдыхать
Мириады иголок холодных...
Что расстаться нам просто,
Я думал.
Стоит только подумать...

* * *

Трубачу Сергею Усову

Там, на каком-то километре
Шумит и вьётся полукруг...
В нём морок сосен, дождь и ветер
Сплетаются в летящий звук!

В том звуке осени свечение
Мерцает в небе на весу;
Трубы серебряной сечение
Настигнет нас в глухом лесу!

* * *

Господь задумал и вылепил
Первых людей от Сотворения Мира
Из глины:
Красную расу — из красной глины,
Жёлтую расу — из жёлтой глины,
Белую расу — из белой глины,
Чёрную расу — из чёрных пород...

Как же сошлись все эти глины
На острове
 посередине Байкала?
Здесь же на Острове видели мы
Зелёные, синие глины...
Куда подевал
Две человеческие расы Господь?

Плавание

Я уходил под парусом в туман...

Давид Самойлов

Я берег покидал	И воцарился мир
туманный Альбиона...	На нашем побережье...
Божественная речь,	И нас несло волной
Божественная грусть...	На берега любви
И ветер в паруса,	И курсом корабля,
И солнечной короной	Идущим в Заонежье,
Сияла высотой	Летела к нам любовь...
Над Бригантиной Русь...	Летела впереди...

Письмо

В. Ш.

Ангел мой, ты проснёшься одна на рассвете...
Когда Ветер откроет Окно,
И письмо принесёт от меня тебе Ветер...
А в письме донесёт и Залив, и Волну,
Травянистый, песчано-холмистый,
Священный берег Байкала,
Горький запах травы, неизбывное чувство вины о тебе,
Моя радость, мой ангел — любви о тебе и печали...

На песчано-холмистой, покрытой травой и цветами
Земле каменистой
Гнездятся и селятся чайки...
И в зелёной холодной воде
Купаются птицы,
Где выхватив рыбу,
Летят на холмы и на берег...

Так и мысли мои о тебе
Скользят по холмам и воде,
Где стремительно выхватив в памяти Воспоминанье,
Стремятся на берег,

На котором улыбка твоя,
Мой Ангел, и Радость твоя
Наполняют меня ясным чувством...
И где нежность твоя
Разбудит меня на рассвете...
Прикоснётся крылом твоя нежность
Ко мне, донесёт её Ветер...
Здравствуй!

Из Овидия

Если ты не забудешь,
Как волну забывает волна...

Публий Овидий Назон «Метаморфозы»

Сменяется Время...
Текут минуты, часы, дни и годы...
Они просочатся водою меж пальцев,
Волну на песке обронив.
Она же, в брызги разбившись,
Уходит в песок...

Рассвет сменяет Закат.
Между ними
Такой промежуток покровы ночи,
Где звёзды погаснут —
Задует их ветер
на утреннем небе...

Волна за волною —
Одна забывает другую...
Забвенье — природа всему...
Любовь с этим спорит!

«Из японской тетради»

* * *

Чёрный жук ползёт по песку,
Огибая сухую травинку.
Так удаляется время...

* * *

Крик Одинокой птицы
Нарушает тишину
И безмолвие пляжа
У ледяной полосы берега.

* * *

Сосна покоряется Ветру,
Обретая чудесный изгиб.

* * *

Куда из вечности идти,
Когда песок целует
Ветер лёгкий...

* * *

Степь отворилась в Ночь,
И мириады Звёзд
Обрушили свой свет
На зацветающий чабрец.

* * *

Мой Дом — Тень от Сосны.
Песчаный Пляж — моя постель.
Мой хозяин — морская чайка.

* * *

Рыжая Собака
Одиноко бежит по пустынному
Пляжу,
Растворяясь в Мареве Озера...

* * *

Плещаница Заката
Застилает Небо, Гольцы,
Ледяные равнины Байкала.

* * *

Между голой землёй и Островом —
Полынья...
Там утки и чайки кричат,
Стремительно выхватив рыбу.

* * *

Сухие иголки опали,
Но зелень Сосны продолжает жить...

* * *

Якорь, зарытый в Песок,
Вспоминает Приливы.

* * *

Кладбище лодок и кораблей
У разбитого Пирса
Ветер заносит Песком,
Волна засыпает галькой.

* * *

Как спасти свою Душу
И Дерево на Обрыве?
Вчера вечером мы лечили
Дереву рану...

* * *

Рыжей сухой хвоей
Выстилается пляж песчаный.
Сухие еловые шишки
Рассыпаны на берегу...

* * *

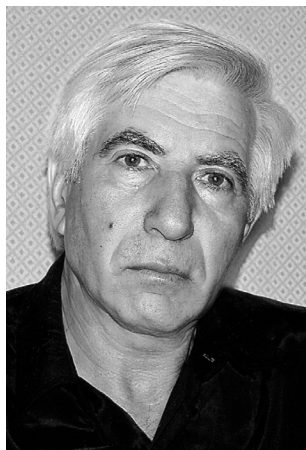
Белая чайка на столбе у Пирса
Высматривает добычу,
Но её срывает Ветер и
Тащит в сторону Суши...

* * *

Байкал —
Светозарное Око Мира.
Ольхон —
Зеленеющий Остров Вечности.



ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО



РАССКАЗЫ

Белолапый

— Дед Фёдор, у вас в сенцах шест притулён, от собак что ли?

— Это не шест, мерка.

— Тыньё подгонять?

— Не-е-е, — дед Фёдор махнул единственной левой рукой, правую под Берлином оставил, нехотя продолжил: — Оказия случилась, не приведи Господь.

— Что за оказия ?

— Да старуха заумирала, отходить, было, начала. Ну, я загоя с неё мерку и снял, для домовины, разумеется. Пошёл к старшему Кольше, да только дверь едва приоткрыл, кошка соседская и прошмыгнула. На неделе схоронили её хозяйку — Матрёну Ксенафоновну. Через два дома от нас жила. Хороший человек была. Я, конечно, сразу смягкитил: старуха моя поправится. Нипочём кошка в ту избу, где хозяйка должна помереть, не прибежит. С того дня мерка в сенцах и стоит. Почитай, с месяц.

Мы сидели за большим, крепко сбитым листвяжным столом, пили чай, говорили о предстоящей глухаринной охоте. Глафира Осиповна — жена деда Фёдора, угощала

ЗАБЕЛЛО Василий Константинович, поэт, прозаик (род. в 1947 г. в пос. Утулик Иркутской обл.). Автор книг стихов и рассказов: *«Ледостав»* (Иркутск, 1984); *«Семи Грехи»* (М., 1988: Приложение к журн. «Молодая гвардия»); *«Возвращение»* (Иркутск, 1990: Стихи по кругу. Вып. 1); *«И пройдут высоким строем птички стаи надо мной»* (Иркутск, 1993); *«Осенний пал»* (Иркутск, 2001); *«Избранное»* (Иркутск, 2007); *«Где родился — там сгодился»* (Иркутск, 2011) и др. Член Союза писателей России.

нас клубничным вареньем и пирогами с морковью. У печи, лениво потягиваясь, сытно мурлыкала пегая кошка. Я спросил:

— Не эта ли?

— Она, голубушка, самая и есть.

— А ваша где?

— Наша-то?... Допрёжь ушла и не вернулась. Должно, собаки задавили. Ни одна деревенская кошка ещё своей смертью не кончилась.

Разговор незаметно с глухарей перешёл на кошек, и дед Фёдор поведал, как в Германии, уже на подступах к Берлину, неделю квартировали у одного бауэра. Немецкий кот был такой же, как хозяин, палевый, но по-русски понимал. Скажешь ему: «Киса-киса» — подходит, скажешь: «Кыш-брысь!» — отскакивает. Но что характерно, приноровился ночью забираться к нему, в то время двадцатилетнему солдату, и прижиматься к правой руке. Солдат кота отшвырнёт, а тот опять к руке прижмётся, греет и мурлычет. И так все пять ночей. Воины по дому наскучались, а кот напоминал о родине, поэтому стали относиться к нему как к родному. Фёдор привык и уже последние две ночи кота не отгонял, и только потом, когда лишился руки (осколком снаряда перерубило плечевую кость), понял, что кот беду чуял и предупреждал. Останься солдат с рукой, про кота бы и не вспомнил, только с той поры стал пристальней наблюдать за братьями нашими меньшими.

Слушая рассказ, я вспомнил про свою кошку из родительского дома, которая спала у меня в ногах. Бывало, откину её, а она опять... и так несколько ночей подряд. Однажды в ограде заправляли бензином мотоцикл, я крутился подле и опрокинул нечаянно бутылку, бензин пролился на ногу и, впитываясь, растёкся по земле. Мотоцикл откатали, а старший брат возьми да кинь зажжённую спичку на землю. Земля вспыхнула, и моя нога тоже. От боли я заорал и, прыгая на одной ноге, заметался по ограде. Братья еле поспевали за мной, пытались ладонями захлопать пламя, и, лишь накрыв рубахой, сумели заглушить. Помню, несут меня в избу, а матушка, прибежавшая на крик, идёт рядом и отчитывает: «Вечно лезешь куда не просят... поделом... будешь знать... скоро картошку огребать...» и т. д. А я думаю, ну чего ругает, мне и так очень больно. А кошка бежит за ней и подмякивает. В то лето я все каникулы до самой школы просидел дома.

Уже потом, когда жил самостоятельно, на одной площадке со мной проживал соседский кот Василий — мой тёзка. Бывало, иду, а он сидит под дверью и просит позвонить в квартиру. Я давил на кнопку звонка, дверь отворялась, и кот, задрав хвост, запрыгивал в прихожую. Жили мы с ним дружно, порой разговаривали. Как-то я ему шутя сказал: «Василий, мышей не ловишь, а выглядишь сытно». Через пару дней под моей дверью на коврике я обнаружил задавленную мышшь. Прознав про мою дружбу с котом Василием, новоселец мурлыка с первого этажа стал его подставлять. Нагадит на нашей площадке, когда никого нет, и скроется. Я, было, стал грешить на соседа, даже однажды поругал незаслуженно. Вскоре по́касть-новоселец был разоблачён и жестоко наказан. Подозрение с Василия сняли, и я его ещё больше зауважал. Прошло какое-то время, и случилось мне переезжать на новую квартиру в другой район. По обычаю в пустую избу сначала запускают кошку, и я решил не изменять древнему правилу, дошедшему до нас с пещерных времён, тем более, что на моё счастье кто-то в подъезд подбросил котёнка и он случайно оказался под дверью моей новой квартиры. У котёнка наполовину были белые лапки, рыжий, почти огненный окрас и зелёные глаза. Я открыл дверь и со словами: «Ну, Белолапый, входи» пустил за порог. Котёнок вытянул шею и, приняхиваясь, осторожно стал обследовать углы квартиры. Так у меня неожиданно появился приёмыш по кличке Белолапый. Котёнок оказался чересчур резвым и на удивление понятливым. Довольно легко, без особых усилий я приучил его справлять нужду в унитаз и во избежание порчи мягкой мебели — от-

тачивать коготки у порога, о пристёгнутую к стулу мешковину. Через год из моего белолоплого котёнка вырос боевой отличный красавец-кот. Ни собак, ни выстрела не боялся, и охотник был неугомонный. Праздно шатающимся и обмякши спящим наблюдать Белолоплого не доводилось. В ту пору многие горожане на окраинах поселения держали подсобные хозяйства. Крыс и мышей расплодилось великое множество, особенно там, где выращивали свиней. Так что моему красавцу было где развивать охотничьи навыки. Наблюдая за ним, невольно подумаешь: вот у кого надо учиться терпению. Полдня, а то и более просидит в засаде, не шелохнувшись, пока не скараулит голохвостую серую тварь. За два года в нашем околотке все гаражи, кладовки, стайки, курятники были очищены им от мерзопакостных грызунов подчистую. Белолоплого знали, любили, просили оставить для охоты на ночь. Вскоре и среди собратьев он сделался бесспорным лидером. И сегодня могу живо представить, как степенно и гордо, с ощущением своей значимости идёт Белолопый проулком к автобусной остановке встречать меня, приехавшего после рабочей смены. И мы вместе возвращаемся домой.

Как бы дружно и плодотворно ни жили мы с ним, но расстаться всё же пришлось. Мне предстояла долгая командировка, и я отвёз Белолоплого в деревню к родителям. Недаром говорится: «Кошка верна пепелищу, собака — хозяину». Для полной воли и счастья Белолопому как раз пепелища и не хватало. Теперь у него была своя изба с подпольем и русской печкой и ограда с Туманом — охотничьей лайкой, с которой он закадычно подружился в первый день знакомства, да так, что после частенько видели их спящими в обнимку в собачьей будке. На новом месте Белолопый неудержимо и ещё большей страстью отдался охоте. Перво-наперво очистил от грызунов родительскую усадьбу, затем перешёл на соседскую, затем на следующую и так далее, пока ни влюбил в себя чуть ли ни всех хозяек, живущих на нашей улице. Наш сельмаг — то самое место, где обсуждаются все житейские новости деревни. Екатерина Ниловна Кушнир в очереди за хлебом рассказывала, как, заполучив у Иулитты Ивановны Белолоплого, оставила его на ночь в курятнике, и к своему испугу и удивлению наутро обнаружила шесть задавленных крыс, сложенных в ряд на пороге. Новость слушали, затаив дыхание. Дело в том, что в каждой избе была своя кошка, но, оказывается, далеко не все мурлыки способны на такой подвиг. Продавщица Шура, она же и заведующая Александра Петровна, после услышанного загорелась мыслью с помощью Белолоплого избавиться от ненавистных грызунов, которые портят продукты и опустошают и без того ветхие закрома, более того, она посулила платить Иулитте Ивановне по двадцать копеек за хвост — стоимость одной булки хлеба. Иулитта Ивановна от вознаграждений наотрез отказалась, но любимца в магазин принесла до поры: пока сам не придёт домой. На шестой день, обвеянный славой, Белолопый вернулся к родному пепелищу. Хозяева обнаружили его спящим в обнимку с Туманом. Результаты охоты ошеломили Александру Петровну: двадцать восемь крыс и полторы дюжины мышей, причём вся добыча аккуратно складывалась к порогу. До Белолоплого были испытаны все возможные методы борьбы: мышеловки, капканы, плашки, битое стекло, которым забивали отверстия в полу, словом, применяли всё, кроме отравы, и только когда грызуны попортили чуть ли не всю вечернюю выпечку, стало ясно, нужен испытанный крысолов. Таким крысоловом, как нельзя ко времени, оказался кот Иулитты Ивановны. Позже, при вскрытии половиц, были обнаружены торные крысиные ходы. За дорогой, напротив магазина, армяне построили свинарник, что и способствовало размножению мерзопакостной твари.

По окончании командировки я приехал к родителям. Белолопый встрече обрадовался, ходил за мной как привязанный, тёрся о ноги, спал со мной на сеновале, даже рыбачили втроём: кот, собака и я. Чудное было время: я закидывал удочку, мои друзья неподвижно сидели подле, наблюдая за поплавком. Поплавок начинал плясать,

друзья, как и я, чутко настораживались, наконец, поплавок резко уходил под воду, я подсекал, и блескучая рыбка, крутясь на крючке, вылетала из воды. Первый трофей доставался Белолопому. О!.. надо было видеть, с каким упоительным азартом он расправлялся с ним, не вздумай кто подходить. У Тумана происходило проще: хватал рыбу на лету и сглатывал...

Заканчивалось моё очередное пребывание в деревне, я уезжал. Белолопый проводил меня до остановки, но несмотря на мои призывы, в город возвращаться не захотел. И так повторялось с каждым моим приездом. Неудержимо текло время, постепенно пустел двор, не стало Тумана, остарел и Белолопый. За последнее время он буквально прилип к отцу. Запрыгивал к нему на кресло, и они вместе смотрели телевизор. Частенько в таком положении их заставляли спящими. От кота оставалась шерсть на кресле и на отцовских брюках, мама ругалась, но родитель ревностно защищал Белолопого и наказывать не позволял. В день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня — 28 сентября, отец почил. Он возлежал на табуретах в простой дощатой домовине, обтянутой багряницей, с застывшим спокойствием на лице. В голове, освещая лик Николая Угодника, мерцала восковая свеча. В горнице было тихо, светло и торжественно. Мы сидели по обе стороны почившего родителя в скорбной задумчивости. Белолопый устроился в голове под домовиной, сидел неподвижно, а когда освободился стул, запрыгнул на него и застыл на всю ночь до выноса, более того, шёл за гробом до последнего отца пристанища. В тот раз меня он не провожал, остался с матерью. Теперь они домовничали вдвоём. Я по-прежнему навещал родительский дом, колол дрова, прибирал ограду, словом, делал по дому всю необходимую работу. Белолопый как всегда встречал и провожал меня. Прыти в нём заметно поубавилось. Однажды он не встретил меня. Я спросил у матери, где наш любимец. Мама ответила, что слышала стоны на сеновале. Там и нашёл я умирающего друга, его покусала собака. Дом остался без кошки, а другую Господь не послал.

Вскоре в последний путь проводили и маму, многотрудную Иулитту Ивановну. После отца она прожила восемь месяцев.

Как Дмитрий Сергеевич бросил курить

Дмитрий Сергеевич Правовеков заядлым курильщиком не был. Работал на железной дороге стрелочником. По обыкновению каждый месяц с получки покупал пол-литра водки «Московской» и два блока папирос «Беломорканал» Ленинградской табачной фабрики им. Урицкого. Точнее, покупала его жена Анна Сергеевна, поскольку деньгами в семье распоряжалась она. Жили они в доме, построенном для путевых рабочих ещё при государе императоре Николае Втором. В ту пору строили на века: гранитные фундаменты, вековые лиственничные брёвна, заготовленные в крещенские морозы, печи, сложенные из увесистого клеймённого кирпича, про который в советское время говорили, что кирпич этот от царизма до коммунизма доживёт. Коммунизма у нас не случилось, а печи по сей день топят исправно, и дым Отечества, как сказал поэт, нам сладок и приятен. В первой половине дома проживали три семьи. Двери каждой квартиры выходили в общий коридор, так что жильцы запросто, без приглашений, заходили друг к другу за солью, спичками, хлебом, скоротать за разговорами долгие зимние вечера, поиграть в лото или в карты, да мало ли ещё по какому житейскому случаю приходилось общаться соседям.

Семья Правовековых состояла из девяти человек: трое взрослых и шестеро наследников. Анна Сергеевна курить в доме разрешала только в зимний период, и только

в открытую топку печи. Говоря по правде, Дмитрий Сергеевич, как любой курильщик со стажем, знал, понимал и чувствовал, что курить само по себе плохо и для здоровья, и для души. С того рокового дня, когда отец отсыпал ему половину отпущенной на производстве махорки, поскольку рабочие на собрании взроптали, дескать, сын не курит, а долю берёт, прошло много лет. Волей-неволей Дмитрию Сергеевичу тогда пришлось взять эту никотинную гадость в зубы и пустить дым на виду у всех. Уже через месяц он деловито закручивал махру в газетный обрывок, склеивал слюной, подкуривал и глубоко, во все лёгочные меха, блаженно затягивался. Но поначалу непорочный семнадцатилетний организм дюже до рвоты сопротивлялся, в конце концов впал в рабскую зависимость, да такую, что порой, оставшись без курева, Дмитрий Сергеевич изводился настолько, что готов был отдирать половицы в поисках прошлогоднего окурка, выпавшего изо рта при стяжке пола. Спустя годы Дмитрий Сергеевич угрюмо шутил, что полжизни, и даже больше, идёт на поводу у «бычка», «сорочка», «чинарика», словом, обезволил. Несколько раз пытался было бросать, но тщетно. Как говорит наша святая Церковь, бес держит крепко и выпутаться из его бесовских сетей без Божьей помощи вряд ли получится. Так что терпежа Дмитрия Сергеевича хватало на два-три дня, не более, после чего он с ещё большей жадностью восполнял пробел, высасывая «беломорины» одну за другой. Единственное правило, которое он соблюдал по настоянию матери, — не курить на голодный желудок. В армии, случалось, надолго задерживался завтрак, некоторые сослуживцы по три-четыре раза успевали покурить, он же непреклонно терпел, соблазну не поддавался. Позже, уже будучи отцом семейства, Дмитрий Сергеевич перепробовал почти всю отечественную табачную продукцию, после чего от махорки отказался напрочь, остановился на папиросах «Беломорканал». И мундштуки были из белёной высококачественной бумаги, приятно в рот взять, и табак высокой очистки легко подкуривался и не имел того смрадного запаха, от которого брезгливо отворачивались некурящие особы. Девицы того времени в деревнях не курили вовсе, а те, кто курил, таились: не дай бог, узнают и ославят, с таким довеском девичьей нечистоплотности за доброго парня замуж не выйдешь. Были, правда, ещё в продаже элитные папиросы «Казбек», но их курили в основном работники прокуратуры, высокопоставленные чиновники, директора предприятий и, как известно из песни, Костя моряк из Одессы, который приводил шаланды, полные кефали. Дмитрию Сергеевичу «Казбек» был не по карману, хотя для куража по молодости несколько раз покупал.

Обычно Дмитрий Сергеевич брал на дежурство пачку папирос. Двадцать пять штук ему вполне хватало. Но в последнее время в связи с расширением и реконструкцией станции появилось много «стрелков», на посту постоянно крутились командированные, заходили на дымок погреться, попить чайку, перекурить, порой, дожидаясь мотовозной дрезины с инструментом, просиживали часами. Народец, как выяснялось при разговорах, в большинстве своём заселял городские окраины, был резвый и бесцеремонный. С порога только и слышалось: «Сергеич, дай закурить!» Большой ошибкой Дмитрия Сергеевича было то, что он по простоте душевной при первом знакомстве открыл пачку «Беломора», а к обеду, опустошённая, она сгорела в печке. И Дмитрий Сергеевич заскучал. Стрелять стыдился, а от предлагаемых ему «Прибоя», «Звёздочки», «Памира», или, как называли его в народе «Нищий в горах», и прочей низкосортной табачной дряни во рту образовывался гадливый привкус, будто сто кошек ночевало, мутило и выворачивало нутро. И так продолжалось несколько дней. Дмитрий Сергеевич мучился, мрачнел, табак другой марки организм не принимал, и поневоле в очередной раз пришлось раздуматься, как освободиться от рабской зависимости табакокурения. В семье появился шестой ребёнок, и Дмитрий Сергеевич решил: дурного примера перед глазами у него быть не должно. Поскольку резко бросить не получалось, Дмитрий Сергеевич составил график постепенного освобождения: с

двадцати пяти папирос перейти на двадцать, через пару недель — на пятнадцать, потом — на пять, пока окончательно не изживёт эту богопротивную привычку. Поделился замыслом с женой. Анна Сергеевна, прижимая к груди новорождённого сынишку, только и сказала: «Зарекалась свинья в грязь не лазить», и с таким сожалением взглянула на своего Митю, что у бедняги печёнку закололо. Но, как говорится, сказано — сделано, и Дмитрий Сергеевич приступил к борьбе с самим собой.

Вечером следующего дня в красном уголке по случаю наступающих ноябрьских праздников собрали путейцев. Начальник станции огласил приветствие и зачитал фамилии особо отличившихся в упорном коммунистическом труде. Тут же представили нового работника связи Леонида Самуиловича Карасёва, переведённого с Приморской железной дороги. Так Дмитрий Сергеевич впервые познакомился с новым соседом, который поселился в пустующую квартиру. По заведённой традиции премию отмечали скопом. Дмитрий Сергеевич от своих двадцати пяти премиальных выставил пол-литра «Московской» водки. Наскоро сообразили нехитрую закуску, состоящую из чайной колбасы, сала, вяленого омуля, маринованных огурцов с капустой и отварного рассыпчатого картофеля, без которого в Сибири не обходился ни один стол. Выпили за крепкую Советскую власть, за железные дороги, которые обеспечили подвоз Сибирских дивизий на выручку Москвы. Каждый железнодорожник высказывался как истинный стратег мирового масштаба. Когда после третьей рюмки разговор коснулся личности Гитлера, Леонид Карасёв между прочих высказываний вставил анекдот: «В день Победы на Эльбе встретились за одним столом солдаты союзных армий: русский, англичанин и американец, выпили за общее дело трофейного шнапса, закурили... — тут Леонид Самуилович сделал паузу и попросил папироску у Дмитрия Сергеевича, затянувшись, продолжил: — Англичанин и говорит, была бы его воля порвал бы Гитлера на куски. Американец: а я бы повесил за то место, которое вслух не называется, затем американец на ухо англичанину, дескать, давай русского спросим, им-то больше всех досталось. Спросили. Русский солдат пристально с прищуром посмотрел на них и ответил: я бы нагрел лом докрасна и холодным концом воткнул ему в задницу. Англичанин: почему холодным? — А чтоб союзники не смогли вытащить». Произошло некоторое затишье, после хохотнул один, другой, и наконец раздался всеобщий сотрясающий хохот. «Ну, Лёнька! Ну, выдал!» — только и слышалось со всех сторон.

Домой Дмитрий Сергеевич и Леонид Самуилович возвращались вместе. Под ногами поскрипывал молодой снежок, над крышей, окутанная ворсистой шалью, матово светила луна. Домой идти не хотелось, хотелось ещё немного подышать свежим остудным воздухом, который сладко тянул из хвойного распада. У крыльца Дмитрий Сергеевич остановился, посмотрев на луну, сказал:

— Шаль — к ненастью.

— Как узнал? — Леонид Самуилович заступил было на ступеньку крыльца, но, отёрнув ногу, обернулся.

— Почисти стрелочные переводы с моё, не то будешь знать, — с нерасполагающей к разговору интонацией ответил Дмитрий Сергеевич.

Что-то в новом соседе ему не глянулось сразу. Какой-то нагловатый и уж чересчур свойский. Своего не упустит и с чужого походя сдерёт. Эта черта выказалась в тот момент, когда он, рассказывая анекдот, стрельнул закурить, прихватив из протянутой пачки две папиросы. Одну — в зубы, другую, про запас, — за ухо. Благо, оттопыренные уши к этому располагали. Тем не менее, Леонид Самуилович как ни в чём не бывало, попросил ещё. Дмитрий Сергеевич вопреки нежеланию достал папиросы. Фокус повторился. Прикуривали от одной спички, и Леонид Самуилович доверительно вкрадчивым голосом продолжил:

— Знаешь, Митя, я ведь сейчас один, Маша с детьми подъедет только через пару недель, по-соседски уж выручи — займи десятку.

— Бог с тобой, Леонид Самуилович, у меня от премии всего восемь рублей осталось.

— Хотя бы восемь, с первой полочки отдам, уж выручи.

И опять вопреки нежеланию Дмитрий Сергеевич полез в карман за деньгами.

На душе было скверно. Мало того, что ввалился домой подвыпившим, вдобавок без денег, и обет, данный младшенькому, нарушил. Анна Сергеевна взглянула на мужа и ни о чём расспрашивать не стала, попросила только вести себя потише, дети спят. Ну, ничего, успокаивал свою совесть Дмитрий Сергеевич, у Бога дней много, с утра начнём заново. Но утром случилось ЧП. Мела метель, и Дмитрий Сергеевич, чего никогда не допускал, принял смену на слово. Пошёл проверять стрелочные переводы без флажков. Одна из стрелок с побочного пути на главный оказалась непрочищенной, и маневровый паровоз, разрезав её, сошёл бегунком с рельса. Дмитрий Сергеевич бежал навстречу паровозу, размахивал руками, но машинист то ли не видел, то ли не понял, чего от него требуют, затормозил слишком поздно. И началось: разборки, комиссия за комиссией, разного рода проверки, после чего Дмитрия Сергеевича с движения перевели в ремонтную бригаду забивать костыли. Хорошо, что не посадили. Долгое напряжение в качестве подследственного Дмитрий Сергеевич глушил никотином, теперь и двух пачек на день не хватало. Благо, Анна Сергеевна вовремя спохватилась и стала сама выдавать папиросы по норме, как до ЧП, при этом всячески старалась успокоить мужа. Мало-помалу жизнь Дмитрия Сергеевича обрела былую размеренность и определённую. Великое чувство, когда человек, засыпая, знает, что будет делать завтра. Дети росли, когда старшие заканчивали учёбу в школе, младшие только переступали порог. И всё-таки многолетнее желание бросить курить напоминало о себе всё чаще и чаще, не давало покоя. И, как ни странно, этому стремлению, приглушённому, казалось, навсегда, способствовали сосед, Леонид Самуилович, с его вечным: «Дай закурить! Маша задерживается» да утренний после сна кашель, раздражающий гортань.

В долгожданный день получки Дмитрий Сергеевич растопил печь и по обычаю поставил на стол чекушку водки и два блока папирос, которые принесла только что вернувшаяся из магазина Анна Сергеевна, продолжил кочергой шуровать в топке горящие угли. В это время скрипнула дверь и показалось ухо Леонида Самуиловича. Надо сказать, что сосед поистине обладал собачьим чутьём. Вот и сейчас с порога он обратился с испытанной фразой, которую неизменно произносил в день получки или аванса: «Митя, Маша ушла в магазин, с минуту на минуту должна вернуться, удружи папироску». Дмитрий Сергеевич, глядя на соседа, поднялся с корточек, лицо внезапно посуровело, в ответ неожиданно для самого себя, рывкнул: «Смотри, рыба! С этого дня я больше не курю!», схватил и молниеносно закинул в топку один за другим два блока папирос. Анна Сергеевна ахнула на происходящее и замерла. Таким своего Митю никогда видеть не доводилось.

Прошло несколько лет с тех пор, как Дмитрий Сергеевич поведал мне эту историю. Я спросил, хотелось ли ему курить после того, как бросил. Он ответил, что только первое время, даже снилось, но перетерпел. «Бывало, во сне курю, курю и думаю: ну что же я — слабак, слово не сдержал, просыпаюсь и понимаю, что во сне, думаю, слава Богу, не наяву. Поначалу месяцы, годы считал, шесть лет не курю, десять, потом и с этим покончил. Освободился навсегда, очистился... — и добавил: — Знаешь, как здорово человеком себя почувствовать!»

Когда цветёт черёмуха

Что за дурацкая нездоровая романтика кружила нам головы и чернила неокрепшие души! Мы, поселковые ребята, не хотели быть просто парнями и девушками, мы называли себя чуваками и чувихами. По вечерам, сбившись в кодлу, направлялись к месту отдыха приехавших горожан. Там каждые две недели для нового заезда зажигали костёр и под баян устраивали игры и танцы. Мы шли по грунтовке через лес и, распевая, орали во все молодые глотки, правда, уже успевшие познать туманный гнёт никотина и алкоголя.

*...Ты прости меня, пацаночка,
Уберечь родимую не смог.
По твоим по косам шелковистым
Бил чекиста кованный сапог...*

Или

*... А меня, быть может, под конвоем
Далеко на Север уведут...*

Казалось, ах, как это здорово, идти под конвоем на Север в зековской без воротника телогрейке. Впрочем, большую часть наших чуваков действительно увели под конвоем расширять и крепить ударные комсомольские стройки страны, чтоб навсегда отбить охоту к ссорам, браням, дракам, к безудержным пьянкам. В ту пору две режимные зоны в нашем краю осуществляли строительство печально известного комбината и города на берегу Байкала. Какую культуру отношений, точнее, бескультурья усваивали юноши в шестидесятые, покрытые блатной плесенью годы? Как позже выразился об этом времени поэт:

*...Прямые отравленные всходы,
Какие вы взрастили семена?..*

Странное наполнение имеют слова с приставкой или предлогом *бес*, *без*. Как правило, они означают пустоту и трагическое разрушение. *Бессовестный*, *безобразный*, *безобразный*, *бессердечный*, *бессемейный*, *бездетный*, *безбашенный*, *беспредел* и так далее, в любом случае в них присутствует *бес*, тот самый, рогатый. И мы, чуваки беспечные, не думая о последствиях, блуждали, ведомые им, ходили на турбазу приехавшим барухам титьки шупать, затеять очередную ссору, похулиганить, подраться.

Было время цветения черёмухи. Берега горной реки Утулик, где расположилась база отдыха, буквально кипели в белопенном цвету. Лёгкий бриз доносил из распадков аромат волчьего лыка, который смешивался с пряными запахами луговых трав, свинячьего багульника, ольхи и тополей чозении, — и вся эта обволакивающая смесь природных ароматизаторов пьянила и дурманила лихие головы, будоражила романтическую память уже вошедших в могучие лета людей. А мы, одержимые вышеупомянутой нездоровой романтикой, шли и орали:

*... А на Байкале музыка играет,
А что там делают?
А там барают тех,
Кого поймают...*

Ах, как это необычно, как заразительно грубо, мерзко и пошло! Только это уже оценится потом, спустя годы. А пока, геройски перевернув по пути две урны с мусором, развязно и шумно выкатились к открытой танцплощадке. Она, как и берега реки, утопала в черёмуховом цвету. Играл баян, кружили пары, и черёмуха при каждом колыпании ветерка осыпалась на них натающим снегом, украшала причёски, костю-

мы и платья, кропила площадку. Наконец, баянист сдвинул меха, разошлись танцующие пары, и культмассовик объявил следующий номер. На середину площадки вышел светло-русый парень нашего допризывного возраста, просто и опрятно одетый в белую рубаху и чёрные брюки. Вихрастый чубчик слегка дрогнул на лбу и повис над бровями. Баянист проиграл вступление, и парень запел вчистую, без микрофона, свободно полился ручьистым тенором, выказывая удивительно мягкий тембр:

*Я встретил вас — и всё былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...*

Один из чуваков хотел было освистать, уже заложил пальцы в рот, но рядом стоящий одёрнул его. И песня продолжала проникновенно звучать и разливаться, заворачивая красотой звуков присутствующих и всю округу. Казалось, даже река и деревья, заглядевшиеся в её зеркало, замерли, слушая романс.

*Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенётся в нас...*

Должно быть, я раскрыл рот и, ничего не помня, внимал исполнителю романса. Божественные звуки струились, обволакивали и захватывали душу настолько, что я забыл про себя, кто я и зачем. Наверное, то же самое испытывало большинство из моих сотоварищей. Конечно, повторить ничего не возможно, но тот, самый прекрасный из вечеров в моей жизни и по сей день живёт во мне. По сути, с него началось для меня осознание понятия «моя милая Родина, малая и большая». Каждый год, когда цветёт черёмуха, воспоминания обостряются с новой силой. А тогда по окончании романса я побрёл к реке, вытащил из рукава запрятаный на случай драки разводной гаечный ключ и закинул подальше в омут. Вечер прошёл тихо и спокойно. Домой мы возвращались молча.

Много позже, во время службы на флоте, я узнал, что романс был написан на стихи великого русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева. Спасибо Фёдору Ивановичу за то, что встал на моём неверном пути указующим вектором. Всё наносное, блатное, пошлое отпало ненужным охвостом, как мусор и гнус при отвеивании благодатных зёрен.



ВЛАДИМИР ХОДИЙ

Их подхватил ветер шестидесятых...

«Благословенные годы ТОМа»

В таком исторически зазывном городе, как Иркутск, немудрено было сбиться в артель начинающим писателям. Но артель эта, или Стенка, как называли себя мы после знаменитого Читинского семинара, образовалась не механическим путем. Мы собрались в Стенку по душевной потребности, научившись кое-чему у классиков, развенчивая дутые величины, стараясь помочь друг другу...

Геннадий МАШКИН

13 ноября 1962 года в областной газете «Советская молодёжь» появилось сообщение под заголовком «ТОМ говорит «Здравствуйте!» Читая: «Младенца назвали ТОМом. ТОМ — слово 20-го века, где длинный смысл выражен минимумом звуков и букв. Полностью имя и отчество ТОМа — Творческое Объединение Молодых. Матерью ТОМа стало Иркутское отделение Союза писателей СССР, отцом — огромное желание творческой молодёжи спаяться для работы, споров, поисков. Может быть, это будет Том Сойер — лукавый маленький правдолюб, а может, это будет большой том, первый том творческих судеб молодых поэтов, прозаиков, художников, музыкантов Иркутска. Первое заседание ТОМа состоится 15 ноября в 6 часов вечера. Первое слово предоставляется студенчеству. В дальнейшем эстафету молодёжных «четвергов» при Союзе писателей (ул. 5-й Армии, 36) подхватят и понесут остальные члены объединения. Слушайте голос творческой молодёжи Иркутска!»

А через несколько дней газета сообщила: первая страница ТОМа открыта! «Написанная нескладно, с густыми перечеркиваниями, она имела и строки истинного вдохновения. Первым вышел к круглому столу невысокий Гена Бутаков из ИГУ (впоследствии журналист, редактор газеты «Восточно-Сибирская правда». — В. Ходий). Глуховатым голосом он прочёл стихи о ветрах, которые гнали людей в поиски, о старине, наполненной соловьиными голосами. Белые стихи о горячем чувстве дружбы к Кубе, Индии, Китаю прочитал Дмитрий Лобанов... Слушали собравшиеся и стихи Юркина и Волкова, прозу М. Хензыхенова. А потом спорили, что-то принимая, что-то отвергая...»

ХОДИЙ Владимир Васильевич. Родился в 1937 г. Журналист, публицист. С начала 1960-х гг. — студент отделения журналистики Иркутского госуниверситета, активный автор газет «Советская молодёжь» и «Восточно-Сибирская правда». В последней работал литсотрудником, заведующим отделом, ответственным секретарём, заместителем редактора. С 1981 по 2012 г. — собственный корреспондент ТАСС (ИТАР-ТАСС) в Иркутской области. Печатался в альманахе «Ангара», газетах «Правда», «Известия», «Советская Россия» и других. Автор книг «Адреса студенческого лета» (1968), «Память и судьбы» и «На крутом повороте» (2012).



Александр Вампилов

И вскоре — снова объявление, о том, что состоится очередное заседание Творческого объединения молодых. В повестке — разговор о стиле современной прозы, выставка работ молодых художников.

Так возникло уникальное в масштабах СССР объединение молодых писателей, поэтов, художников. В инициативную группу по его созданию входили Юлий Файбышенко, Александр Вампилов, Вячеслав Шугаев, Юрий Скоп, Владимир Трофименко, Сергей Иоффе, Геннадий Машкин, Владимир Пинигин и другие. Их рассказы, очерки, стихи, рисунки охотно печатали местные газеты. Но им хотелось большего — «спаяться для работы, споров, поисков».

Незабываемо, как в те зимние вечера 1962 года и позднее шумной ватагой участники заседаний ТОМа вваливались в наше располо-

женное по соседству с Домом писателей студенческое общежитие университета, горячо продолжая дискутировать о достоинствах и недостатках поэтических и прозаических произведений своих коллег. Многие потом расходились по домам, а иногородние, Иннокентий Новокрещенных из Ангарска, Борис Ротенфельд — из Усолья-Сибирского, Виктор Соколов — из Шелехова, оставались у нас до первых утренних электричек.

Интересное было время! «Знаменитые 60-е, отогретые хрущевской «оттепелью» — назвал впоследствии те годы Валентин Распутин. «Тогда, — вспоминал он, — богато пошла переводная западная литература, причем, лучших образцов... а вместе с нею этак бочком, бочком и часть отечественного запрета — Бунин, Есенин, полный Достоевский. Хемингуэем, Ремарком зачитывались громко, до опьянения и повального подражания, свое же впитывалось органически, наращивая душу... Это было необычайно урожайное на отечественную словесность десятилетие, прорыв сквозь идеологический асфальт. Его, спохватившись, пытались снова закатать, особенно по отношению к русскому слову, но тщетно. Ничего удивительного в этом нет: созрело. Созрело и принялось разрывать бесплодный поверхностный слой».

Разрывать этот «слой» с ходу попытались и иркутские «правдолюбцы» (Распутин в 1962–1966 годах жил и работал в Красноярске, но исключительно в городе на Ангаре печатал свои первые рассказы и лучшие очерки и был духовно связан с томовцами). Причем они, не ограничиваясь заседаниями, пошли, что называется, в народ — устраивали встречи с читателями, выступали в молодёжных аудиториях. Одна из таких встреч состоялась в областной библиотеке имени Ивана Молчанова-Сибирского. Одиннадцать начинающих прозаиков и поэтов представили на суд собравшихся свои стихи, рассказы, повести, и на них резко критически откликнулась областная партийная газета «Восточно-Сибирская правда», поместив подборку писем и редакционный комментарий. Она усмотрела в творчестве молодых «низкий идейно-художественный уровень», «увлечение историей, другими странами, нередко просто пустяками, такими «образами», как феи, автобусные окна, какие-то абстрактные глаза и т. д.»



Борис Черных



Юлий Файбышенко

Вот, например, оценка творчества шести молодых художников: «Портреты Гимова и Воронова, 12 «новаций» Старикова, графика и офорт Протасова и Шипицына, портреты и натюрморты Пинигина... От многих произведений веяло духом абстракционизма». Особенно досталось Сергею Старикову за его «Человека с лунами», «Христоса», «Снятие Христа», «Богоматерь». «И странно, — писала газета, — что ведущий эту встречу Ю. Файбышенко пытался защищать подобные произведения, а другие члены объединения молча соглашались с ним, таким образом разделяя его ошибочное утверждение».

Тут же «перегибами» ТОМа озаботились другие идеологические структуры. В январе 1963 года состоялось совещание творческих работников города, на котором вступительное слово произнёс секретарь обкома КПСС С.А. Меркурьев. Резкой критике произведения молодых подвергли литературовед А.Ф.

Абрамович, искусствовед В.И. Фалинский, писатель Г.Ф. Кунгуров, художник В.С. Рогаль. Их оценки: «...Они не только слабые в художественном отношении, но и явно претенциозные, с налетом пессимизма и пошлости, а подчас подражающие образцам западного абстракционизма и формализма...» Речь шла, прежде всего, о художниках, «которые вольно или невольно скатываются на путь протаскивания буржуазной идеологии, ее эстетических идеалов». Однако явное неодобрение присутствующих вызвало и творчество прозаиков Санина (Вампилова), Машкина, поэта Файбышенко.

В таких непростых обстоятельствах для только что рождённого объединения руку поддержки ему протянули литературно-художественный альманах «Ангара», который посвятил молодым один из своих номеров, и та же «Восточно-Сибирская правда», опубликовавшая на этот раз обзорную статью-рецензию Леонида Ханбекова «В добрый путь, ТОМ!» Вот её начало: «Много споров, больших и малых, вызвал своим рождением ТОМ... Многие упреки старших товарищей по перу и кисти были для томовцев суровыми, но справедливыми. И второй номер альманаха «Ангара» за этот год можно с полным правом назвать первым ответом ТОМа на все добрые пожелания и критические замечания. В этом ответе стихи Владимира Березина и Леонида Хрилева, Иннокентия Новокрещенных и Глеба Пакулова, рассказы Бориса Лапина и Евгения Суворова, очерки Юрия Скопа, Вячеслава Шугаева и Бориса Новгородова, рисунки художников Владимира Пинигина, Сергея Старикова, Николая Протасова и т. д.»

И ещё, кто не остался в стороне от «забот» о ТОМе, так это, конечно, комсомол. Секретарь обкома ВЛКСМ по идеологии Анатолий Степаненко так обрисовал ситуацию: «В нашей области двухтысячная армия комсомольцев и молодежи представляет молодую творческую интеллигенцию. Это работники театров, молодые художники, писатели, журналисты, учащиеся музыкального, театрального и художественного училищ. Но еще очень слабо работают комсомольские организации этих объединений и союзов, слабо руководят ими райкомы ВЛКСМ... Хорошим начинанием было создание «Творческого объединения молодых», но не вмешался своевременно комсомол, не нашлось хорошего руководителя. Мы считаем, что «Творческое объединение молодых» надо возродить и руководить им, а не отдавать в руки незрелых людей».



Сергей Стариков. Автопортрет



Геннадий Машкин

Так что вскоре у ТОМа появился куратор от обкома комсомола — инструктор отдела пропаганды и агитации Борис Черных (впоследствии изгнан из комсомола и партии, диссидент, политзаключённый, писатель). 14 ноября 1963 года в «Советской молодёжи» под рубрикой «ТОМу — 1 год» выходит его статья «В награду за годы бессонниц...». Начал он её как в воду глядел: «Иркутская литературная молодёжь в последнее время заявила о себе серьезно и вполне оригинально, и, видимо, не будет большим открытием, что в ближайшие годы на сибирской земле вырастет еще не один настоящий писатель...» Впрочем, делает паузу автор, «подождем, время нынче строгое на авансы». «Можно, — считал он, — по-разному оценивать очерки Новгорода, Скопа и Шугаева, но бесспорно одно: герои этих очерков — правильные люди. Не с тою меркой правильности, как любила, да и вынуждена была говорить о правильных героях критика недавних лет, а

по-настоящему живые, с чужинкой и не без недостатков. Главное же в них — их утверждающая добро правота». Схожая его оценка и позиции героев повести Скопа и Шугаева «Сколько лет тебе, парень?», рассказа Санина (Вампилова) «Станция Тайшет», произведений других авторов.

Завершил свою статью куратор объединения, как было принято тогда, строго и назидательно: «Сделано за год многое — ТОМ сумел найти дорогу к молодежной аудитории. И теперь его задачей должно явиться дальнейшее сплочение сил творческой молодежи — и сценической, и литературной, и музыкальной. Большой отряд молодых художников также должен сказать свое слово на ТОМе... В гущу народа, в гущу идейной борьбы, в гущу сражения за коммунизм призывает нас партия... Поэтому впереди — гора работы, тяжелой и кропотливой, но праздничной».

В тот же день, 14 ноября, состоялось организационное заседание Творческого объединения молодых. В повестке — отчёт и выборы нового состава его бюро, обсуждение плана работ. Председателем бюро был избран Вячеслав Шугаев, заместителями — Александр Вампилов и Сергей Иоффе.

«Благословенные годы! Прежде всего — годы иркутского ТОМа, — вспоминал спустя десятилетия Сергей Иоффе. — Вел бы подробный дневник — написал бы историю творческого объединения молодых: разговоры, споры, обсуждения рукописей, застолья, поездки... Но нет такого дневника, а отрывочные записи в блокнотах и газетные подшивки сохранили скудные отчеты о поездках томовских бригад по области да о конференциях «Молодость. Творчество. Современность». Хорошо хоть хватило ума упрятать в папку кое-какие документы».

Кстати, о конференциях «Молодость. Творчество. Современность». Они чуть старше ТОМа, и в отстаивание идеи их проведения и организацию много сил вложил к тому времени приобретший опыт и авторитет поэт Марк Сергеев. Первая конференция в виде трёхдневного совещания была проведена ещё в мае 1959 года, и именно на ней с юмористическими рассказами дебютировал студент Иркутского госуниверситета Александр Вампилов. Следующая подоспела через два года, и к её открытию рукопись Вампилова стала книгой «Стечение обстоятельств», также как увидели свет сборники стихов для детей «Почему-то» жительницы Ангарска Аллы Стародубовой и лирической поэзии ещё одного студента университета Владимира Гусенкова «Корабли выходят на орбиты».

Очередная конференция весной 1964 года прошла уже при активном участии ТОМа и собрала в несколько раз больше участников благодаря тому, что появились новые секции — художников, артистов, музыкантов, кинематографистов. Объявление в газете «Советская

молодёжь»: «5 марта состоится очередное заседание ТОМа. Будут заслушаны отчеты бригад о поездках по области в связи с предстоящей конференцией «Молодость, творчество, современность». Просьба к молодым прозаикам и поэтам принести свои произведения для коллективного сборника ТОМа».

Трудно сказать, о каком коллективном сборнике шла речь, но в том же 1964 году в Иркутске были изданы три сборника с участием томовцев: «Принцы уходят из сказок» — очерки Вампилова, Скопа и Шугаева, «Бригада» — кассета из небольших книжек стихов Березина, Иоффе, Пакулова, Михаила Трофимова и «Ветер странствий» — сборник рассказов Вампилова, Владимира Жемчужникова, Машкина, Новгородова, Дмитрия Сергеева, Суворова.

Геннадий Машкин, пожалуй, единственный, кто оставил более-менее подробные свидетельства внутренней жизни Творческого объединения молодых. Вот подмеченное им из «воспоминательного повествования», названного «Стенкой и в одиночку»:

«На тех достопамятных сходах писателей, актеров, художников высказывались мнения от души, без идеологического давежа, спорно, однако полюбовно.

<...> В минуты упадка духа... мы собирались всей Стенкой и начинали разрабатывать новые замыслы. Эта причастность к коллективному творчеству надолго сохранилась в Стенке. И никто не стеснялся прорабатывать свой личный сюжет на товарищеском собрании. Поэтому мы знали почти все значительные варианты рассказов, повестей романов и пьес друг друга.

<...> Стенку отличало юморное отношение к трудностям жизни, невзыскательность к бытовым неурядицам и спортивный азарт. Мы даже напрямую устроили футбольную встречу в октябре 1963 года на стадионе «Труд». Молодые да ретивые, мы решили творческим активом «Советской молодежи» сыграть матч с командой радио-телевидения».

И, предваряя заключение, приведу два документа из той папки, о которой с самоиронией вспоминал Сергей Иоффе. Обратите внимание, с какой решительностью ТОМ встал на защиту своего куратора от комсомола, с какой для того времени смелой и убедительной аргументацией он отстаивал свою позицию!

*«В бюро Иркутского творческого объединения молодых
От Черных Б.И.*

28 августа 1964 года мне пришлось выступить по телевидению в диспуте о молодом герое советской литературы. Некоторыми товарищами в докладных на обком комсомола моя позиция на диспуте была истолкована ошибочной. Решением бюро обкома комсомола от 15/X-64-го я был освобожден от занимаемой должности.

Прошу рассмотреть вопрос о моей работе в бюро ТОМа.

18/X-64 год. Подпись».

*«Бюро Иркутского промышленного обкома ВЛКСМ
Выписка из протокола заседания бюро Творческого
объединения молодых от 20 октября 1964 г.*

Присутствовало: 7 человек.

Решили:

Тов. Черных подняты спорные вопросы, и они заслуживают обсуждения. Однако бюро ТОМа полагает, что Б. Черных (так же, как любой из нас) вправе иметь свою точку зрения на то или иное произведение советской литературы и даже отстаивать это мнение в творческой дискуссии. Это право, на наш взгляд, сохраняется за каждым советским человеком, где бы он ни работал.

Нам думается, что воспитание нового человека немыслимо без творческого обмена мнениями по всем животрепещущим вопросам времени, в том числе литературы и искусства. В наше время должны навсегда уйти в прошлое попытки подменить методы убеждения и творческого спора — администрированием, скоропалительными выводами и поспешными решениями.

*Председатель бюро В. Шугаев
Заместители председателя А. Вампилов, С. Иоффе»*

Это было последнее громкое заявление ТОМа. В начале 1965 года вдвоем — один с повестью «Бегу и возвращаюсь», другой с пьесой «Прощание в июне» и начальным вариантом «Старшего сына» — Шугаев и Вампилов отправились «переупрямить» Москву, и пробыли там несколько месяцев. Еще раньше по разным обстоятельствам покинули Иркутск Файбышенко, Скоп, Трофименко. По существу, объединение осталось без лидеров. Да и всем было очевидно, что оно стремительными темпами начало перерастать себя, наиболее подготовленные его представители были на пороге вступления в разряд профессиональных литераторов и живописцев.

В сентябре того же года в Чите прошел семинар молодых прозаиков, поэтов, драматургов Сибири и Дальнего Востока, и на нём первая группа иркутян была рекомендована в Союз писателей. За первыми выстроились следующие... То же самое произошло и с художниками: многих из них, хотя и не всех талантливых, например, не вписавшегося в каноны соцреализма Старикова, рано или поздно настигло желаемое официальное признание, персональные выставки, вступление в свой Союз. Вот и получилось, что заявленный при создании ТОМа «первый том творческих судеб молодых» в целом состоялся. Как писала тогда «Советская молодёжь», «мы являемся свидетелями мощного, качественно нового броска в литературной жизни области. Броска за пресловутые рамки провинциализма. Без преувеличения можно сказать, что выросшая за последние годы «стенка» молодых иркутских литераторов — это событие».

Но «выросшая «стенка» — это уже не ТОМ, это — другая история...

«Легкомысленно мечтал о Лондоне, Бразилии...»



Вячеслав Шугаев на встрече с иркутскими коллегами. 1980-е гг.

Летом 1960 года в коридорах «Восточно-Сибирской правды» появился несуетливый, вместе с тем энергичный, среднего роста, смуглолицый, с проницательным взглядом зелёных глаз молодой человек. Это был Вячеслав Шугаев — будущий яркий представитель иркутской писательской «стенки», а тогда начинающий журналист. Ему исполнилось 22 года, и он приехал на преддипломную практику из Уральского государственного университета, где уже много лет готовили ди-

пломированных «акул пера». В Свердловске ещё до Великой Отечественной войны училась заместитель редактора газеты Елена Ивановна Яковлева, а в описываемый период аккуратно два раза в год выезжал на сессии студент-заочник и одновременно ответственный секретарь редакции Михаил Израилевич Давидсон. Но с кем сразу сошёлся практикант, так это с литературным сотрудником редакции Юрием Скопом, который был на два года старше Шугаева и на три года раньше окончил Уральский университет.

Слава, так в редакции он всем представлялся, в отличие от Юрия, не с первого раза поступил на отделение журналистики университета. Он родился 10 февраля 1938 года в небольшом городке Мензелинске Татарской АССР, в одиннадцатилетнем возрасте вместе с матерью переехал в Свердловск. «Легкомысленно мечтал после школы о Лондоне, Бразилии, хотел широкого общения. Но не набрал баллов при первой попытке, стал работать учеником расточника на Уральском заводе тяжелого машиностроения. Понятие о

газетной практике дали рабочие, подбавив романтики. В роли внештатного корреспондента заводской многотиражки узнал, насколько ответственно говорить о людях труда, как важно быть правдивым и многому учиться», — признавался он впоследствии. Активно печатался в других газетах. В университетской по итогам студенческого диспута на тему «Коммунизм начинается сегодня» вместе с двумя однокашниками опубликовал целую полосу. А самым показательным его становления как журналиста был выход в свет на третьем курсе в Свердловском издательстве небольшой по объему книжки-очерка «Прокатчик Иван Никонов».

Сразу сойтись со Скопом в «Восточно-Сибирской правде» помогло важное редакционное задание — подготовить серию репортажей с открывшейся областной выставки достижений народного хозяйства. Они писались двумя перьями, и их публикация сопровождалась броской, рисованной, что тогда было редкостью, рубрикой, а также восторженными, хлесткими заголовками «Большое созвездие семилетки», «Золотой пояс Сибири», «Ленинская пометка», «Разбуженная людьми...». Восторженной была и концовка серии: «Мы уходили с выставки. Вечереет. На карте области вспыхивают огни новостроек. Их много, этих огней, и каждый — как маленькое знамя, полыхающее на башнях будущего...»

А вот как описывал спустя годы этот свой дебют в «Восточно-Сибирской правде» сам Шугаев: «Мы днями пропадали на выставке, разглядывая и запоминая диаграммы, графики, действующие модели различных механизмов и машин, записывали в блокноты цифры достижений и побед... Наконец, однажды вечером сели за стол друг подле друга, аккуратно и любовно огладили, поправили листы чистой бумаги и принялись искать слова, покрасивее и позвончее, которыми следовало, на наш взгляд, рассказать об увиденном. Гору сигарет выкурили, часто возникали темные, пропитанные мгновениями взаимной неприязни, паузы или утомительное подначивание друг друга... Мы бились и мучились, к примеру, над описанием работающего экскаватора — как пустой ковш лязгает, как груженный плывет медлительной ладонью, как вгрызается он в угольный пласт, опять же, с каким звуковым сопровождением и с какою жадною непреклонностью... Ухитрились сочинить пять или шесть таких репортажей, втолкнув в них и описание рассветов, и беллетризованные биографии знатных людей области, и разносезонные пейзажи. Печатались они в нескольких номерах и были сочувственно встречены на редакционной летучке».

Вслед за этим уже в одиночку практикант подготовил репортаж с завода имени Куйбышева о содружестве инженеров-конструкторов и рабочих-сборщиков, съездил на трассу строящейся ЛЭП-500 Братск — Иркутск и привёз несколько очерков и документальных зарисовок о её монтажниках. А в заключение снова со Скопом опубликовал пространную рецензию на спектакль Иркутского драматического театра по популярной в ту пору пьесе Афанасия Салынского «Барабанщица». Авторы ничтоже сумняшеся поставили в вину постановщику Ефиму Табачникову чрезмерное увлечение «формальными поисками лица спектакля» и то, что он «не раскрыл до конца всей драматической многоплановости пьесы...»

Эта связка «Ю. Скоп, В. Шугаев» если не в то лето, то уж точно через год, когда Вячеслав приехал уже на постоянную работу в «Восточно-Сибирскую правду», была замечена иркутским журналистским, да и писательским сообществом. Нет, двумя и даже тремя, а то и четырьмя перьями писали и до них. Но это были обычные рутинные корреспонденции с отстающих предприятий, ударных строек, весенних и осенних сельскохозяйственных полей. А тут серии репортажей и очерков — лёгких, цветистых и размашистых — о первопроходцах, романтиках, покорителях...

«Сочинять мы собирались вместе, то есть в две головы, в два пера и, разумеется, в два сердца, — вспоминал позднее Шугаев. И уточнял: — Объяснить нашу склонность к соавторству, так сказать, в «двухперьевой системе» лишь боязнью одиночества за рабочим столом, юношеской охотой быть всегда на людях, в компании вряд ли возможно, хотя долею это объяснение приемлемо — на миру ведь и смерть красна. Уместней предположить в основании нашей склонности иную боязнь. Когда представишь, со всею живостью, сколько народу читает каждую новую строку — придиричового, дружелюбного, насмешливого, — аж испарина выступает на висках: так ли сказано, не ради ли красного словца, не

рассмешит ли, не огорчит выпирающая строка? Предположим, читает сто тысяч человек, со всем вниманием знакомится с твоим сочинением, и под пристальной тяжестью этих взглядов начинаешь поёживаться, замедлять перо, чаще переводить дух: ох ты, господи, зачем же ты поставил эту толпу за плечами! Со временем это чувство публичности, принародности исполнения каждого слова притупляется, и тогда раздается страшное: «Ну, этот исписался, как попало слова валит», — а по молодости скованность, робость, стократная оглядка на каждое слово, некий трепет при его написании и рождали обостренное чувство ответственности за сочинительство, схожее с юношеской застенчивостью, этой спутницей душевных и житейских неловкостей. Так вот, стремление наше к соавторству происходило, по-моему, из желания разделить ответственность за слово, принять ее на две пары плеч. Не то чтобы легче, но не так страшно. А если уж дадим маху, то у Скопа будет оговорка, что из-за меня грех вышел, а у меня — из-за него...»

И ещё одно позднейшее признание: «Сочинительство «о две головы» помогло прояснить и резче обозначить нашу тягу, если можно так выразиться, к словоподбирательству, к свежим и точным словам. А вкус к этой точности и свежести укреплялся во взаимных, перекрестных, что ли, предложениях, спорах, ссорах. Вообще в Иркутске в ту пору собирались начинающие газетчики (А. Вампилов, В. Распутин, Е. Суворов), истово ценившие слово и истово пытавшиеся служить ему. Поэтому от репортажа требовали очерковой осмысленности и психологической тщательности, от зарисовки — сюжетной завершенности рассказа, от очерка — стереоскопических измерений повести. Даже информация в номер должна была отличаться известным изяществом слога и выдумки — написать фразу, «подсчитав свои возможности и резервы», пусть в совершенной спешке, и в голову бы не пришло, легче было утопиться, чем произнести ее».

29 августа 1961 года в «Восточно-Сибирской правде» появилась первая небольшая зарисовка нового штатного сотрудника В. Шугаева — «Радость и гордость людская». Она шла в полосе «Предсъездовская трибуна» (страна готовилась к XXII съезду КПСС, провозгласившему, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме) и в какой-то степени смягчала, «очеловечивала» и по стилю, и по содержанию сухие, написанные в канцелярском стиле другие материалы. Зарисовка начиналась так: «Рабочий Петухов пришел на участок нарядным, в шелковой ковбойке и темных брюках от выходного костюма. Спецовка ждала его дома, потому что Петухов работал во вторую смену, а время сейчас показывало двенадцать дня. Если бы кто-то любопытный поинтересовался: «Ты чего, Петухов, не вовремя пришел? Успеешь еще наработаться», то услышал бы в ответ: «Да так. Живу рядом». И заключение всего лишь 80-строчной заметки: «Почему, вы спросите, они такие, эти люди с Иркутского станкостроительного завода? Почему работа для них — прежде всего? Да очень просто. Потому что они все меряют одной мерой — трудом. А это — радость и гордость людская...»

Эта установка на неторопливую повествовательность, образный рассказ о людях, их делах и заботах и привела Вячеслава, как и Юрия, в писательство, в профессиональную литературу, но это было потом. А пока прошло три недели, и на второй полосе с переходом на четвертую в газете появляется очерк под заголовком «Письмо, законченное на рассвете». Ему предпослана рубрика «По принципам Морального кодекса», а также редакционная врезка со словами: «Современник! Ты живешь в год, который никогда не будет забыт на нашей планете. Потому что именно в нынешнем году страна, в которой ты живешь, учишься, трудишься, сделала великую заявку на будущее. Имя ему — коммунизм». И обещание читателей: «Восточно-Сибирская правда» начинает публиковать серию очерков о людях, живущих сегодня по принципам Морального кодекса строителей коммунизма».

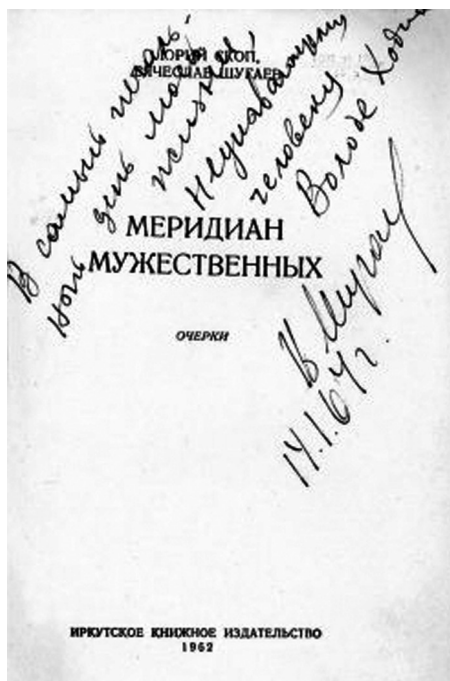
Авторы Юрий Скоп и Вячеслав Шугаев съездили в Братск и попали в котлован строящейся ГЭС — «пожалуй, самый знаменитый в то время котлован страны». Здесь они познакомились с бригадой Михаила Кулаченко. В беседах с рабочими они узнали об их переписке со строителями из города Лаутаверка Германской Демократической Республики и после долгих раздумий решили уложить повествование в рамки воображаемого письма Кулаченко своему немецкому коллеге. Такая форма позволяла рассказать и о суровости

сибирского климата, и о том, как бригада участвовала в перекрытии реки Ангары, и о ликвидации аварии на воздухопроводе при сооружении открытого распределительного устройства, и о многих иных совершаемых ею трудовых подвигах.

Буквально на следующий день увидел свет под этой рубрикой и второй их материал — «Цветы были в росе». Он тоже из Братска, и вот его лирическое начало: «Девчонки красят солнце. Красят его солнечной, веселой краской. Солнце лучит в окна, и окна полны солнцем. Вот почему кажется, что девчонки красят не окна, а солнце...»

Вслед явились другие очерки из других мест — свежие, раскованные, не похожие на остальные материалы в «Восточно-Сибирской правде»: «Провода оживут в восемь», «Встретимся на горизонте»... Их охотно перепечатывают центральные издания — газеты «Советская Россия», «Литература и жизнь» (впоследствии «Литературная Россия»), журнал «Молодая гвардия». И как итог — в Иркутском книжном издательстве выходит первая совместная книга молодых авторов — «Меридиан мужественных».

В редакции Шугаева поначалу определили литературным сотрудником в отдел промышленности и строительства (Скоп занимал такую же должность в отделе информации). Как известно, главная обязанность литсотрудника газеты — готовить к публикации авторские заметки, статьи и корреспонденции, а также писать свои — по заданию или собственному желанию. Однажды Вячеслав получил задание написать на первую полосу материал о почине работников Восточно-Сибирской железной дороги в скоростном режиме продвигать грузовые поезда на плече Слюдянка — Иркутск — Зима. Этот почин потом поддерживали на других участках Транссибирской магистрали вплоть до Москвы. Чтобы избежать фраз типа «подсчитав свои возможности и резервы», он свой репортаж начал так: «Байкал, Байкал, ты даешь жизнь Ангаре — легендарной сибирской реке. Прославили ее люди, построившие Иркутскую ГЭС и возводящие величайшую Братскую. Байкал, Байкал, ты даешь начало и другой реке. Реке из стальных рельсов — крупнейшей в мире электрифицированной магистрали Москва — Байкал. И эта железная река не уступит славе знаменитой Ангаре. Пусть железнодорожникам не приходится умирять ледяные волны, покорять стихию, но их дела не менее известны и важны».



Автограф на титульном листе книги «Меридиан мужественных»: «В самый печальный день моей жизни неунывающему человеку Володе Ходию. В. Шугаев. 14.01.64 г.»

Другой репортаж — из Иркутского кожевенного завода — он снабдил стихами поэта «с ясными глазами и открытой душой» Джека Алтаузена, который лет 40 назад работал на этом заводе: «Пускай наш путь трудней, зато он ближе... Нам нужно больше нефти и сырца. Но мы нашли горячее, что движет без остановки песни и сердца...»

Мимо читательских глаз, конечно, не прошла и публикация-размышление Шугаева под заголовком «Вслух о «мелочах». Поводом для неё послужил такой факт. Коллектив Иркутского локомотивного депо, борющийся за звание предприятия коммунистического труда, посетила делегация со знаменитой станции Москва-Сортировочная. Коллеги — инициаторы этого тогда всенародного движения — ходили по цехам, дотошно расспрашивали, внимательно рассматривали. И вот в одном из цехов, светлом, чистом и даже с аквариумом посредине пролёта, машинист электровоза, потомственный железнодорожник из Москвы Николай Петров, лукаво спросил у иркутян: «А чего это замочки на шкафчиках-то висят? Опасаетесь за добро, или как?..»

Между тем выход в свет книжки «Меридиан мужественных» окрылил молодых сотрудников «Восточно-Сибирской правды». В июле 1962 года они взяли отпуск и поехали на трассу строящегося нефтепровода Туймазы — Ангарск с намерением на этот раз написать повесть. По Сибири в это время многие литераторы ездили и собирали материал, чтобы изложить его в форме повестей и романов, причём литераторы эти с гордостью сообщали о своём собирательстве по радио и в газетах. Вот и Скоп с Шугаевым посчитали, что тоже не лыком шиты... Нефтепроводчики стояли близ города Зима, на берегу реки Оки. Журналисты жили в вагончиках, с водителями ездили на полигон за трубами, перекуривали со сварщиками и трубоукладчиками, присматривались к их жизни, запоминали разные байки и истории, которыми богата жизнь кочующих строителей, искали столкновения идей и характеров. Пока определялись с героем будущей повести и событиями в его окружении, писали и печатали в газете очерки и зарисовки с трассы... А повесть «Сколько лет тебе, парень?» вскоре вышла в альманахе «Ангара», потом была издана и отдельной книгой под названием «Мы придем в город утром».

Ещё через год друзья затеяли путешествие от истоков до устья реки Лены, меняя буксиры на теплоходы, теплоходы — на лихтеры, лихтеры — на самоходки. Из-под их перьев буквально взлетали на страницы «Восточно-Сибирской правды» лёгкие, образные, брошские заголовки — «Луна стоит на капитанской вахте», «Мы переходим экватор», «Гавань разлуки моей»...

Однако на этом завершилось трёхлетнее содружество в газете Скопа и Шугаева. Юрий решил сменить профессию, быть ближе к жизни и через это заняться исключительно писательским трудом. А Вячеслав, оставшись в редакции, к тому времени, по его признанию, близко, или, как встарь писали, душевно сошёлся с Александром Вампиловым, который закончил учиться в Москве на годичных курсах журналистики в Центральной комсомольской школе и вернулся в Иркутск ответственным секретарём «Советской молодёжи».

В июне 1963 года оба газетчика каждый в своей «конторе» взяли командировки и надолго вдвоём улетели на Север. Остановки сделали в бывшем районном центре Нижне-Илимске, на месте которого вскоре заплескались волны Усть-Илимского водохранилища, в селе Кеуль, на месте которого вскоре заплещутся волны Богучанского водохранилища, и ещё даже не в городе, а в небольшом пионерном посёлке строителей Усть-Илимске. Своими впечатлениями, увиденным и услышанным они поделились в путевых заметках, озаглавленных под стать их тогдашнему настроению — «Голубые тени облаков». Они были опубликованы в четырёх номерах «Советской молодёжи» — четыре истории одной поездки. Первая история — встречи в обречённом на затопление Нижне-Илимске, вторая — в Кеуле, третья и четвёртая — в палаточном Усть-Илимске. Кроме того, Вячеслав в своей газете напечатал собственные очерки «Утинский ключ» и «Будни, которым завидую», Александр в своей — «Билет на Усть-Илим» и «Белые города». Они вошли в увидевший свет на следующий год в Восточно-Сибирском книжном издательстве коллективный сборник трёх авторов — Вампилова, Скопа и Шугаева. Из помещённых в книге 13 очерков название ей дали шугаевские «Принцы уходят из сказок».

«Тема дружбы, товарищества буквально пронизывает все его произведения», — сказал о Вячеславе Шугаеве кто-то из критиков. В уже названных и последующих своих путевых, портретных, публицистических очерках и зарисовках он утверждал приоритет высокой готовности людей послужить общему делу, был убеждён: «В Сибири, как, может быть, нигде, товарищество требует ежечасной, ежеминутной отзывчивости сердца. Товариществу служат здесь преданно и неустанно, возвышая это служение до подвижничества...»

Шугаев, перейдя в отдел информации на освободившееся после Скопа место литературного сотрудника, а затем, будучи заместителем ответственного секретаря (его не прельщали должности выше), не замыкался в редакционных стенах, а постоянно выезжал в командировки. То на перекрытие Енисея, то на слюдяную Маму, то на Нижнюю Тунгуску — в самый северный Катангский район, сравнивая себя с лесковским очарованным странником. И всюду находил подтверждение тому, что «товарищество освящает землю

Сибири...» Это чувство товарищества, внимания и отзывчивости к людям было и личным качеством Вячеслава. Когда уже в 70-е годы старшему коллеге по писательскому цеху, участнику Великой Отечественной войны Дмитрию Сергееву исполнилось 50 лет, он в «Восточно-Сибирской правде» посвятил ему пространное слово «О товарище». «Мы (я подразумеваю здесь и своих сверстников), — писал Шугаев, — пришли в литературу примерно в одно время с Дмитрием Сергеевым, хотя по возрасту приходились ему как бы младшими братьями. Но ни в ту пору, ни позже не разделяла нас временная река, на одном берегу которой стояли солдатская юность, житейский опыт, а на другом — беспечное студенчество, безоблачная суeta мирных дней. Берега эти соединились, сомкнулись, а точнее — возвели меж собою мост товарищества, замешанного на любви к русскому языку». И тут он расширяет само понятие товарищества, полагая, что, «помимо некоей житейской, профессиональной привязанности, оно подразумевает и нравственное взаимоотношение, когда сердечный поиск одного человека откликается в сердце другого».

Ещё одному уцелевшему в пламени войны жителю Братска Иннокентию Черемных Шугаев помогает довести до издательского состояния фронтовые записи — повесть о разведчиках. Он покровительствует приёму в Союз писателей Валерию Хайрюзову, во всяком случае благодаря ему в столичном журнале «Молодая гвардия» были напечатаны вышедшие из-под пера молодого автора рассказ «Командировка в Киренск» и повесть «Отцовский штурвал». Многих журналистов настойчиво уговаривал писать и активно печататься в газете, в том числе меня: «Ты знаешь, старик, в мои обязанности входит освещение спорта. А я в нем мало что понимаю. У тебя хорошо получается, поэтому приходи и бери это дело а свои руки...»

В конце 1964 года Вячеслав тоже решил (Вампилов это сделал в начале года, а Валентин Распутин проработает в «Красноярском комсомольце» ещё две зимы и одно лето — до марта 1966 года), что пора уходить, как тогда говорили, на вольные писательские хлеба. В первых числах января 1965 года они с Александром едут в столицу — «во что бы то ни стало добиться своего, переупрямить Москву или судьбу — еще неизвестно, кого труднее...» Вначале помыкались по гостиницам, и тут как раз проявились напористость, организаторские и даже лидерские качества в первую очередь Шугаева (не случайно в это время ему доверили возглавлять бюро Творческого объединения молодых (ТОМа) при областной писательской организации, а его заместителями были Вампилов и поэт Сергей Иоффе). Ребята связались с писателем Борисом Костюковским, который раньше жил в городе на Ангаре и переехал в столицу вслед за Георгием Марковым — секретарём, а затем первым секретарём и председателем правления Союза писателей СССР. Костюковский был одним из руководителей Всероссийского совета по работе с молодыми писателями, благоволил к землякам и чем мог, тем помог Вячеславу и Александру, в том числе предложил им жить до весны на своей даче в подмосковном посёлке Красная Пахра. Здесь им посчастливилось общаться с Александром Твардовским и другими живыми классиками отечественной литературы.

«Переупрямить» Москву в какой-то степени удалось. Тем более что иркутяне прибыли в Белокаменную не с пустыми руками. Так, в портфеле Шугаева была вышедшая в альманахе «Ангара» повесть «Любовь в середине лета», и он заканчивал следующую — «Бегу и возвращаюсь». Вампилов имел готовую пьесу «Ярмарка», сменившую потом название на «Прощание в июне», и писал «Нравоучение с гитарой», ставшей впоследствии «Старшим сыном». Они пошли с ними по редакциям журналов, издательствам, театрам.

В «Юности», выходившей тогда тиражом в 1 миллион 480 тысяч экземпляров, у Вячеслава приняли «Бегу и возвращаюсь». Повесть увидела свет в одиннадцатом номере того же 1965 года, и предисловие к ней написал член редколлегии журнала Василий Аксёнов. Слово признанного корифея молодёжной «исповедальной» прозы заслуживает того, чтобы привести полностью: «Зимой этого года в коридорах редакции «Юности», где постоянно происходят всякого рода интересные встречи, мне довелось познакомиться с Вячеславом Шугаевым, молодым прозаиком из Иркутска. Тогда же мы все в «Юности» с интересом и одобрением прочли его повесть «Бегу и возвращаюсь». И вот после редак-

ционной работы с автором мы представляем нового писателя читателю. В центре этой повести молодой инженер-строитель Матвей, работающий на стройке алюминиевого завода в Восточной Сибири. Можно было бы по трафарету сказать, что Матвей «ершист», «неуживчив», «неумен» и т. д., все это так, но повесть была бы очередной штамповкой на животрепещущую тему «о становлении молодого специалиста», если бы не посвящалась она совсем другим вопросам, более тонким и сложным. Дело в том, что Матвей нетерпим к малейшим, даже самым невинным проявлениям фальши и пошлости в отношениях между людьми и в своем собственном внутреннем мире. Именно это качество делает его современным героем. Тонкое ироническое исследование разного рода мелких и, казалось бы, безобидных фальшивочек делает и саму повесть интересной и необычной. Весьма приятно, что повесть Шугаева встретила одобрение и на семинаре молодых писателей, который недавно был проведен в Чите».

Действительно, вместе с «Любовью в середине лета» на семинаре молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Чите эта повесть стала для Вячеслава прямым пропуском в Союз писателей. На следующий год обе они вышли отдельными изданиями в Москве.

И вообще едва ли не каждый год вплоть до 90-х у Шугаева в столице, Иркутске и Новосибирске выходили в свет книги — «Осень в Майске», «Проводины», «Забывший сон», «Петр и Павел», «Вольному воля» и другие. Его творческая активность была через край, и это заметили. В 1971 году ему присуждается областная литературная премия имени Иосифа Уткина. Не последнюю роль в том сыграла написанная в соавторстве с Валентином Распутиным повесть о молодых строителях Усть-Илимска, названная «Нечаянные хлопоты». Это был так называемый социальный заказ обкома комсомола, с которым по общей оценке заказчика и критики авторы справились неплохо. «Писали по главам. Главу — Распутин, главу — я, но не поочередно, а одновременно. Обговаривали в принципе содержание глав, намечали стыковочные вехи, пытались заранее согласовывать словесную тональность — здесь было больше всего издержек и, позволительно сказать, к общему словесному знаменателю приходили позже, в рукописи...» А ещё спустя несколько лет Вячеслав за произведения, отражающие идейно-нравственное становление молодого современника, награждается премией Ленинского комсомола.

Легко посчитать, что жизнь Шугаева сложилась из трёх примерно равных по времени периодов — уральского, сибирского и московского. Последний ведёт отсчёт с 1978 года, когда он становится членом редколлегии и заведующим отделом прозы журнала «Молодая гвардия». Потом в столичной писательской организации был секретарём правления, возглавлял секцию прозаиков. Как её руководитель часто устраивал поездки коллег в Дом-музей Чехова в Мелихове, занимался сбором средств на реставрацию могилы выдающегося русского писателя. Сопричастность к чеховскому творческому наследию подвигла его в начале 90-х годов при поддержке Министерства печати Российской Федерации и финансовой группы «Мост» основать, издавать и редактировать литературный альманах «Дядя Ваня», одним из меняющихся эпиграфом-девизом к которому были слова классика: «Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своей совестью...»

Да, в те сложные для многих годы Вячеслав вспомнил о журналистике, причём не только газетно-журнальной, но и телевизионной. На столичном телеканале (МТК) он принял участие в создании телепрограммы «Добрый вечер, Москва!» и был её популярным ведущим.

Что всё же касается литературы, то Шугаев до последних дней жизни вёл семинар на отделении прозы в Литературном институте. Как заметил кто-то из его семинаристов, «он был мастером малой формы, умел в сжатом виде выразить существо дела, не терпел многословия и пустословия, органически не выносил фальши, легкомыслия, ложного добродушия критики и кумовства». А вот признание известного в театральном мире режиссёра, актера и драматурга Николая Коляды: «У меня над столом висят фотографии моих любимых учителей: по театальному училищу — Вадима Михайловича Николаева и по Литинституту — Вячеслава Максимовича Шугаева».

Он умер от той же болезни, что и Чехов — туберкулёза, отягощённого раком, не дожив до 60 лет. Похоронен на столичном Ваганьковском кладбище в ограде семьи Есениных-Райх. Такова воля его второй жены Марины — внучки поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх. Первая жена Шугаева — Эльвира — училась с Вячеславом на отделении журналистики Свердловского университета, в 1960 году вместе с ним проходила практику в «Восточно-Сибирской правде», затем работала на областном радио и в «Советской молодёжи». Творческую карьеру закончила первым заместителем главного редактора литературно-художественного и общественно-политического журнала «Москва», она член Союза писателей России.

В Иркутске на кончину Вячеслава отозвались обе старейшие областные газеты. Некрологи подписали Геннадий Машкин, Евгений Суворов, Владимир Жемчужников, Альберт Гурулёв, Ростислав Филиппов, Борис Ротенфельд и другие. Вот строки из «Восточно-Сибирской правды»: «Товарищ нашей молодости, талантливый и энергичный представитель иркутского литературного братства 60-х годов... он был яркой личностью, обладал блестящим аналитическим умом и гражданским темпераментом, что позволяло ему всегда находиться в центре литературной жизни России. Одной из главных черт шугаевского характера было неизменное чувство товарищества, удивительной отзывчивости. Не только приятелям-иркутянам — он многим помогал и в литературных делах, и в сложных житейских ситуациях. «Нет уз святее товарищества», — любил повторять Слава Шугаев известный гоголевский девиз. Сегодня в этих словах нам слышится прощальный завет нашего незабвенного товарища».

В заключение — небольшое воспоминание о Вячеславе его однокашника, заведующего редакцией научных журналов издательского центра «Наука» Российской академии наук Эдуарда Молчанова: «В университетской литгруппе «Alma mater» встретился я впервые и с уралмашевским парнем Славой Шугаевым, несколько настороженным и скованным просто потому, что был он тогда первокурсником. Худощавый, угловатый, немногословный, он надевал на первых порах, как и рекомендовалось, значки — комсомольский и ГТО I ступени. В журналистику его «делегировали» из литературного объединения Уралмаша, которым руководил поэт Ефим Ружанский. После школы Шугаев успел поработать на заводе расточником, опубликовал рассказ «Первое испытание» и написал пролетарский очерк «Работяга».

В середине 60-х, когда я стал работать в Чите на радио, мы встречались уже в Иркутске. «Я, старик, знаешь, стал ревизионистом, — говорил он, — перечитываю, пересматриваю, заново обдумываю многое из того, что нам преподносили. Да что обо мне... Ну а ты чего молчишь? Убегаешь от разных неурядиц? Не пришлось бы возвращаться... На Урал тебя вроде тянет? Отвлекись от починов всяких, от текучки, да перечитай хотя бы «Остров Сахалин» Чехова, да пройди отрезок его маршрута от Байкала по Даурии через Нерчинск до Сретенска, где он сел на пароход. И прорежется, глядишь, второе дыхание. Не по казённым надобностям ехал Антон Павлович на перекладных к острову каторги и среди диких степей, где бродяга тащился, судьбу проклиная, вдруг воскликнул: «Забайкалье великолепно! Превосходный край!» Примечательно, что ни в Перми, ни в Екатеринбурге, ни в Томске не возникало у него такого настроения. С чего бы это? Что-то ведь располагало?» «Для души рассуждаешь, дорогой, — пытался я выдержать тон. — А женат ведь не первый год, но мечтательный какой...»

Вячеслав стал участником Читинского совещания молодых писателей, названного Владимиром Чивилихиным, руководителем одного из творческих семинаров, легендарным. «Россыпь литературных талантов обнаружила тогда наша бригада, — писал он. — Лишь напомним читателю некоторые имена, чья известность зародилась в Чите, — прозаиков Валентина Распутина, Владимира Колыхалова, Вячеслава Шугаева, Геннадия Машкина, Дмитрия Сергеева, безвременно и трагически погибшего вскоре в Байкале драматурга Александра Вампилова...»

Неразлучными и безграничными друзьями мы не были, но успех его радовал, словно бы у партнёра по шахматам, с которым прежде играл на равных, а теперь рассматриваешь

его партии из престижных турниров на страницах журналов и книг. И, ей-богу, сюжеты и герои его произведений, хотя кое-что в них устарело, не оставляют равнодушным меня и теперь. По нынешней рыночной моде, пожалуй, все это недостаточно круто — ни эротики, ни детективщины, ни лексики ненормативной. Зато нашли отражение зримые приметы памятной еще многим «оттепели», с вдохновенным порывом созидания и великими надеждами. Книги его прочно вошли в круг чтения молодого российского читателя последней трети минувшего века.

Многие из тех, кто покидал Сибирь, даже и своё время декабристы, испытывали рано или поздно некую ностальгию. Что ни говори, а в столице, слезам не верящей, мостовые талантами вымощены. Но и там, вдали от Исети и Ангары, Шугаеву сопутствовала удача. Рассказывают, что в Литературном институте имени Горького, где впоследствии преподавал Вячеслав Максимович, одному из своих подопечных, увлечённому драматургией, он настоятельно рекомендовал не писать пьесы, а переключиться на «чистую» прозу. Однако тот не послушался и создал позднее более 60 пьес, многие из которых поставлены на театральных сценах России, СНГ, а ещё и в Англии, США, Германии, Франции, Италии, Швеции. Но такая промашка Шугаева-наставника, вероятно, была навеяна горькой памятью о стихии Байкала и трагической судьбе драматурга Александра Вампилова, его лучшего друга.

От себя замечу: Слава в детстве мечтал о Лондоне и Бразилии, мечте не удалось сбыться, зато он гостил на острове Магадаскар, бывал во Франции, Монголии, на Сахалине, а самое главное — оставил добрую память в сердцах знавших его иркутян.

Последний романтик театра



И. Дворецкий и режиссёр Е. Табачников на репетиции пьесы «Взрыв». Начало 60-х гг. Иркутск

В середине и второй половине прошлого века Прибайкалье одарило отечественный театр целым созвездием драматургов: Павел Маляревский, Белла Левантовская, Игнатий Дворецкий, Александр Вампилова, Владимир Гуркин, Михаил Ворфоломеев, Юрий Князев... У каждого из них свой жизненный путь, свой путь к театру, разное его видение и разная творческая судьба. У Дворецкого путь к храму искусства оказался наиболее долгим и сложным.

Достаточно сказать, что его первая пьеса была опубликована, когда ему исполнилось 40 лет. А родился Игнатий в 1919 году в городе Слюдянке на берегу Байкала. Среднюю школу окончил

в Иркутске. Увлечённый, как и многие из его поколения, романтикой воздухоплавания, мечтал учиться в Дирижаблестроительном институте (был такой в Москве), но не получилось. В 1937 году оказался в Херсоне (невольное совпадение: в том же году я родился в этом городе). Он устроился на местную судовой верфь, потом токарем — на завод сельхозмашин, а через год снова отправился в столицу, где поступил в Институт государственного права и управления и успел проучиться два курса. «Связался с компанией воров, — писал он в автобиографии. — С группой других студентов, участников этой компании, арестовали по статье 162-й... Должен был получить срок 1 год. Но всех нас не судили, а по социальной принадлежности, как она определялась в то время, вынесли решение на Особом

совещании и всем дали по 8 лет срока и статью «социально опасный элемент»...» Попал на Колыму, был землекопом, лесорубом, рыбаком, трактористом, а в последнее время — руководителем лагерной агитбригады. Во время войны несколько раз подавал заявления с просьбой отправить на фронт, но ему объясняли, что «здесь своим трудом он участвует в укреплении обороны, а туда отпускаем только особо ценных военспецов или безнадежных уголовников, которые для дела самые бесполезные люди, а героями могут стать».



М. Сергеев, И. Дворецкий, В. Трушкин. 70-е гг.

В 1946 году по амнистии Дворецкий вышел на свободу, вернулся в Иркутск, где жила мать, работал в автобазе «Верх-нелентранса» и управлении промысловой кооперации. Его тягу к сочинительству заметили сразу. «Не забуду, — вспоминал впоследствии литературовед Василий Трушкин, — как зимним вечером 1947 или начала 1948 года появился на одной из «Литературных пятниц» в Доме писателей никому неведомый Игнатий Дворецкий. Его рассказы о Севере, рыбаках на Охотском

море захватили слушателей суровой романтикой, свежестью и яркостью красок. Вскоре они появились на страницах альманаха «Новая Сибирь».

Первая публикация Дворецкого на местном материале — зарисовка о девушке-слюдянице, без отрыва от производства закончившей с золотой медалью среднюю школу («Медаль Иды Семиусовой»), случилась в октябре 1948 года в «Восточно-Сибирской правде». Отвлекусь и скажу, что писать для газеты он продолжал и тогда, когда к нему пришла известность драматурга. Недавно перечитал его очерк «Прохожу створ плотины» (а это 1963 год) — о первых строителях Усть-Илимской гидроэлектростанции — и убедился, как на то время мэтр не то, что отставал, а впереди бежал «комсомола». Ведь уже после него на том «створе» побывали будущие писатели Александр Вампилов и Вячеслав Шугаев, блеснувшие тоже очерком в «Советской молодёжи» под заголовком «Голубые тени облаков». Вот как Дворецкий описывал село Невон, рядом с которым потом выросли плотина ГЭС и белокаменный город: «Скоро маленький Як превратился в точку. Мы еще постояли, глядя вслед, и пошли. Снег сразу кончился, началась грязь, сапоги вязли. И началось село. Кондовые избы с витиеватой резьбой, и дворы с крепкими амбарами, и сильные собаки, спокойные, с могучими шеями — за каждым заплотом. Но что-то село, конечно, утратило теперь от угрюмоватой таежности...»

Но вернёмся в Иркутск конца 40-х — начала 50-х годов, где у Дворецкого всё складывалось как нельзя лучше. Он получает предложение работать в штате редакции газеты военного округа «Советский боец», входит в круг творческой молодёжи города, знакомится со своей будущей женой Марией, которая до их отъезда в Ленинград работала заведующей педагогической частью Театра юного зрителя, его рассказы охотно печатают журналы Новосибирска и Москвы. Многообещающий автор получает заказ от Иркутского книжного издательства, едет в передовой леспромхоз и пишет документальную повесть «Тайга весенняя». Она выходит отдельной книгой, вслед за которой увидел свет сборник из восьми рассказов «Полноводье». Потом ещё один сборник и повесть, навеянная наступившей в стране «оттепелью», — «Командировка». Его принимают в Союз писателей СССР, направляют учиться на Высшие литературные курсы в Москве.

И вот однажды там, в столице, в разговоре с одним известным прозаиком и драматургом он поделился впечатлениями о встрече с человеком необычной судьбы и характера — уволенным в запас генералом, возглавившим в Иркутской области строительство

знаменитой ЛЭП-500, о которой потом написала песню Александра Пахмутова. Этого человека звали Александр Степанович Южаков. «У него, — рассказывал впоследствии Дворецкий, — была огромная воля, масса житейских знаний, дьявольская напористость, переходящая в столкновении с равнодушием в неистовый гнев и грубость. Он плохо владел дипломатией, но умел быть терпеливым; с людьми, в которых чувствовал страсть к делу, был бесконечно добрым и доверчивым... Он умел ободрять людей. Но он был требовательным без уступок».

«Да это же готовая пьеса! Садись и пиши», — услышал Игнатий в ответ. А на следующий день позвонила заведующая литературной частью театра имени Пушкина: «Вы написали пьесу, дайте ее нам почитать...» «Нет никакой пьесы, есть только сюжет очерка для журнала «Москва»...»

Тем не менее в указанный театр, где тогда выступали Фаина Раневская, Борис Чирков и другие мастера сцены, он пришёл, и таким образом уже набравший силу прозаик становится драматургом (это счастливое «становится» вскоре произошло и с Александром Вампиловым, также начинавшим творческий путь с рассказов и очерков). А что касается пьесы, названной «Трасса», то премьеры спектаклей по ней прошли триумфально, причём день за днём в январе 1959 года в столичном театре имени Пушкина и Ленинградском Большом драматическом театре, которым руководил Г. Товстоногов.

Право первой постановки следующей пьесы «Взрыв» два года спустя Дворецкий предоставил Иркутскому драматическому театру. Её сюжет был также взят из жизни, из столкновения характеров реальных людей. Автор восстаёт против всех форм подавления личности, «пигмейской» психологии, социального зла, насаждавшегося в эпоху культа личности Сталина и оставлявшего глубокий, незаживающий след в душах людей. Затем на афишах многих театров, и не только нашей страны, стали появляться одно за другим названия других его пьес — «Большое волнение», «Мост и скрипка» («Буря в стакане»), «Мужчина семнадцати лет»... Вот любопытная заметка в «Восточно-Сибирской правде» от 29 августа 1962 года: «На днях на имя иркутского драматурга Игнатия Дворецкого пришло письмо из Берлина: «Ваша пьеса «Большое волнение», — пишет переводчик Гюнтер Янихе, — принята нашим театральным издательством для распространения. Постановка пьесы состоится сразу в шести театрах республики. Большое вам спасибо за нее». После Болгарии и Чехословакии ГДР — третья страна, в которой идут пьесы драматурга-сибиряка».

Премьера «Моста и скрипки» («Буря в стакане») на сцене Иркутского драматического театра (режиссёр — Борис Райкин) прошла летом 1964 года. Постановку «Мужчины семнадцати лет», правда, уже в середине 1970-х годов, в Иркутском ТЮЗе осуществил Лев Титов, а в ролях были заняты Александр Булдаков, Валерий Елисеев, Виталий Зикора, Олег Матеосов, Галина Солуянова и другие.

В период хрущёвской «оттепели» Дворецкий задумывает драматическое произведение, основанное на личных воспоминаниях о пребывании на Колыме. Пьеса ещё не была дописана, а её уже официально приняли два столичных театра — «Современник» и имени Маяковского. Автор выбрал второй, возглавляемый Николаем Охлопковым, который в заключение читки и обсуждения на труппе сказал: «Эта пьеса должна быть прекрасной трагедией о нашем современном человеке. Огромная философская вещь, которая заставляет думать. Очищение человека — это несет пьеса...»

Казалось бы, всё шло хорошо: среди актёров распределялись роли, готовилось оформление, начались репетиции. Но вскоре над «оттепелью» стали сгущаться тучи, и даже такой авторитетный деятель культуры, как Охлопков, не смог добиться постановки пьесы. Не удалось это сделать и в других театрах, например, Ленинградском драматическом имени Пушкина, где роль главного героя — бывшего секретаря крупного сибирского крайкома партии Алыпova — готовился сыграть другой «тяжеловес» советского искусства Николай Черкасов. И только спустя четверть века — уже после ухода из жизни автора и в пору другой «оттепели» — горбачевской — «Колыма» взойшла на сценические подмостки страны.

Всего Игнатий Дворецкий написал около 20 драматических произведений. И самый большой, можно сказать, ошеломляющий успех принесла ему пьеса «Человек со сторо-



И. Дворецкий читает свою новую пьесу в Ленинградском ТЮЗе им. А.А. Брянцева. 1980 г.

тоже были прототипы, они, если судить по тексту пьесы, трудились в реально существовавшем в Иркутске Бюро технической информации и имели отношение к весьма обычным, приземлённым делам.

Но не только это интересно. Интересно, во-первых, совпадение по времени появления двух произведений: в 1970 году напечатана «Утиная охота», в следующем — «Человек со стороны». И, во-вторых, — полярность, абсолютная полярность их героев. Чешков — человек активный, одержимый целью добиться успеха на вверенном ему участке, беспощадный к апатии, лени, неправде. Зилов же — личность с порушенными нравственными устоями, лишённая духовной энергии, как кто-то сказал, «внутренне устранившаяся от живой реальности, выпавшая из времени». Поэтому существовавшая тогда государственная идеология с трудом воспринимала пьесу Вампилова с таким героем, и она, к сожалению, впервые увидела сцену лишь через четыре года после автора, да и то на «окраине» страны — в Прибалтике. Но эта тема заслуживает отдельного разговора.

Мы же размышляем о героях Дворецкого. Достаточно конфликтные, способные вслед за Чешковым брать на себя ответственность, не боясь дела и возникающих в связи с этим проблем, они, можно сказать, беспрепятственно выходили к зрителям. Это касается и главного персонажа «Саши Беловой» (называю только премьерные спектакли) в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, и «Ковалевой из провинции» с Алисой Фрейндлих в театре имени Ленсовета, и «Проводов» — в московском театре имени Маяковского с Татьяной Дорониной и Арменом Джигарханяном, и «Веранды в лесу» — в театре на Малой Бронной со Станиславом Любшиным и другими исполнителями.

Названные в предыдущем абзаце пьесы, за исключением «Ковалевой из провинции», имеют отчётливые сибирские истоки. Хотя Дворецкий покинул Иркутск в середине 60-х годов, выбрав местом жительства Ленинград, его творческие интересы были постоянно связаны с малой родиной. Живя или приезжая в наш город, он не проходил мимо редакции «Восточно-Сибирской правды». В моей памяти картина студенческих лет: открываешь дверь в свободный кабинет, надеясь там уединиться с листом бумаги, а он — сидит за столом, куда-то звонит, что-то записывает. К нему подсаживались знавшие его сотрудники, в том числе ещё молодые Юрий Скоп и Вячеслав Шугаев. А работавший тогда в «Советской молодёжи» Владимир Ивашковский рассказывал: «Частенько в редакцию заходил Игнатий Дворецкий. Они обычно уединялись с Вампиловым. Преуспевающий драматург легко находил общий язык с младшим собратом, а мы, чтобы не мешать, разбредались по другим кабинетам».

В одну из командировок Дворецкий познакомился с учёными-физиками Иркутска, съездил на Саянскую солнечную обсерваторию. Так родилась идея написать пьесу «Саша Белова», по которой затем был снят шестисерийный художественный фильм «Солнечный ветер» с Анной Каменковой в главной роли, актёрами Николаем Ерёменко, Ниной Ургант, Леонидом Марковым, Майей Булгаковой, Михаилом Глузским и другими.

ны» (она увидела рампу более 50 зарубежных театров и вместе со спектаклями по ней удостоилась свыше 150 рецензий и статей только в отечественных газетах и журналах). У героя этой пьесы — инженера Чешкова — существовал прототип. «Я приехал в свое время на завод, — рассказывал автор, — на очень большой завод под Ленинградом, который связан одновременно с машиностроением и металлургией. Прожил там три месяца безвыездно... В общей сложности я провел на заводе больше года. И снова еще раз убедился, как нужны прототипы, как важно наблюдать людей конкретных в их обычных, каждодневных условиях, а не вообще знать жизнь».

Прототипы — нередкая субстанция в драматургии. У персонажей «Утиной охоты» Александра Вампилова — Зилова и его товарищей —

Ещё в период увлечения прозой он побывал в Баргузинском заповеднике на Байкале. Те впечатления легли в основу повести «Источник». Прошли годы, драматург снова посетил эти места и обнаружил там сложнейший узел социальных и нравственных проблем. Так возник замысел новой пьесы, названной «Веранда в лесу». В ней автор, отмечала критика, «оказался послушным учеником Чехова и даже не скрывал этого». И далее: «Если взять широко известную пьесу Дворецкого «Человек со стороны» и смешать ее в равной пропорции с еще более известной пьесой А. Чехова «Три сестры», то получится спектакль А. Эфроса «Веранда в лесу» по пьесе Дворецкого...»

Была и поездка в Иркутск в связи с участием в не совсем обычном событии в нашем городе — семинаре драматургов Сибири и Дальнего Востока. Выступая на нём в качестве руководителя, он говорил: «Драматургу надо иметь не только смелость правдиво изображать своих современников, но и мужество отстаивать свою позицию. В этом суровая правда нашей профессии. Но в ней есть и особая привилегия, о которой нельзя забывать, привилегия и особое доверие — разговаривать с современником только о самом насущном, самом больном, ибо без конфликтности нет драматургии...»

В Ленинграде Дворецкий прожил больше, чем на своей родине после Колымы. Там, на берегах Невы, кроме написания собственных пьес, он на базе местного отделения Всероссийского театрального общества создал драматургическую мастерскую. Занятия в ней, по свидетельству участников, проводились регулярно и посвящались конкретным обсуждениям рукописей, которые предварительно и тщательно отбирались. Анализируя ту или иную пьесу, наставник уделял внимание построению сюжета, характерам, завязкам, финалам, отмечал владение репликой, интонацией, следил за театральностью действия, любил приводить примеры из своего опыта, рассказывал о работе с разными театрами и режиссёрами. В то же время его принципом было: ничего не навязывать молодым, спорить с ними на равных, отводя себе роль «играющего тренера».

Среди тех, кто учился у Дворецкого в 1970–80-е годы, была мощная плеяда представителей так называемой «новой волны» в драматургии. Это Александр Галин, известный пьесами «Ретро», «Стена», «Восточная трибуна», Алла Соколова («Фантазии Ферятьева»), Сергей Коковкин («Пять углов», «Триумф на Триумфальной», «Демарш энтузиастов»), Семён Злотников («Пришёл мужчина к женщине», «Мутанты», «Инцест»), Александр Кургатников («В гостях у донны Анны», «Практически счастливый человек»), Людмила Разумовская («Дорогая Елена Сергеевна») и другие.

Все, кто знал Дворецкого, отмечали в нём незаурядный социальный и творческий темперамент. Он более всего ценил романтиков, увлечённых, фанатически преданных своему делу людей. Ему принадлежат слова, сказанные на одной из встреч с коллегами: «Раньше люди задавали себе вопросы: что делать, как жить? Теперь задают: какой счёт, счёт успехам, карьере, деньгам? Это страшно! Не суетитесь! Что нужно творческому человеку? Семья. Два-три друга. И письменный стол».

По случаю его 60-летия Алексей Арбузов — автор знаменитой пьесы «Иркутская история» — адресовал юбиляру через «Литературную газету» открытое письмо. Приведу фрагмент из него: «Уже 25 лет прошло со дня нашего знакомства в Иркутске, когда Вы, юный 35-летний мужчина, подарили мне тоненькую книжечку своих рассказов. «Бросьте свою прозу! — сказал я Вам тогда. — Вы прирожденный драматург». «Но почему?» — удивились Вы. «Ваши герои разговаривают репликами. Они просятся быть произнесенными актерами. Это — редкое качество...» В начале своего пути Вы написали «Трассу». Это была яростная пьеса, и наши театры с непривычки не знали, как с ней быть. Но Вы не успокоились, и был написан «Человек со стороны». Им Вы утвердили себя в отечественной драматургии и заняли лично Вам предназначенное место... Ваш герой не был функцией — желая добра, он делал ошибки; не щадя окружающих, не щадил и себя... Пьесы, написанные Вами впоследствии, по-прежнему носят свойственный Вам беспокойный характер, они полны тревожного поиска, и Вы все ближе и ближе подбираетесь к человеческой душе...»

Игнатий Дворецкий ушёл из жизни в 68 лет. Похоронен на Волковом кладбище в Ленинграде (Санкт-Петербурге).



ЛИДИЯ СЫЧЁВА



Из жизни Любарева

РАССКАЗ

Улица Сапёрная уходила вниз, к морю, к Карантинной бухте. Теперь она кончается тупичком, потому что в лихие годы, после падения Союза, мафиози с Волги построил прямо на дороге мрачный замок с узкими окнами-бойницами и загородил выход. Пожить бандиту в крепости не довелось — вскоре его убили в разборках, а виллу потом несколько раз перепродавали. В замке и теперь никто не живёт, серой громадой он закрывает вид на море и небо.

Любарев, приезжая к матери, всё время выслушивал страшную и назидательную историю мафиози, эту легенду Сапёрной улицы. Впрочем, он толком не вслушивался. Любарев садился на скамейку у стола, задумчиво и радостно смотрел на синий виноград «Изабелла» — беседка во дворе была густо и причудливо оплетена им. В маленьком родительском дворике всё было знакомо до боли, до умиления — сарайчик, в котором мать держала кур, крошечная кухня, площадка для мангала, старая смоковница с сизыми, грушевидными плодами. За спиной у Любарева, в открытую форточку гудел холодильник «Донбасс», он был дорог матери, потому что они его покупали вместе с отцом. Всё в этом маленьком, вдовьем домике было связано с прошлым — лепная розетка с хрустальной люстрой, потемневшей от времени, лепной же карниз под «античность», плюшевый ковёр с чуткими, настороженными оленями

СЫЧЁВА Лидия. Родилась в 1966 году в с. Скрипниково Калачеевского района Воронежской области. Окончила исторический факультет Воронежского пединститута и факультет прозы Литинститута. В 1998 г. дебютировала с рассказами в «Новом мире». Автор 11 книг прозы и публицистики, многих общественно-политических и литературных изданий, лауреат литературных конкурсов и премий. Главный редактор интернет-журнала «МОЛОКО» («Молодое око»). Живёт в Москве.

над двуспальной кроватью. Отец был инженером-корабельщиком, и судьба Любарева тоже должна была соединиться с Чёрным морем, которое глухо ворочалось рядом, в двухстах метрах от дома.

Он любил, а в Москве и тосковал по сухим и лёгким крымским ночам. Здесь, на берегу Карантинки, у громадных известняковых валунов, так и не отшлифованных ветрами и волнами, ещё мальчиком он чувствовал дыхание тысячелетий, слабый пульс канувшей в Лету Римской империи. Что-то трагическое и безжалостное, как прибрежные скалы, было в его родном солнечном городе, и такую же трагедию обещала ему судьба; море сверкало и играло под солнцем, оно призывало не бояться, помериться силами — и, если надо, безропотно умереть.

Во дворе дома на Сапёрной улице рос инжир, слива, а у входа цвел огромный розовый куст, выше человеческого роста. Стебли были мощные, с крепкими светлыми иглами. Аромат у цветов — слабый, но стойкий, если растереть лепесток между пальцами, то запах розы держался долго, весь день.

Такой же, обманчиво-романтической, была и его первая юношеская влюблённость. Саша была тонкая, с длинными светлыми волосами, с широкими тёмно-голубыми глазами. Время от времени она являлась в его сны — как мучительно-желанная грёза о невозможном счастье. Судьба этой девушки, к которой он даже не смел прикоснуться (да что там — даже взглянуть пристально не смел!), сложилась трагически: выйдя замуж, она попала в автомобильную катастрофу. Говорили, что лицо её и тело так изуродованы, что её невозможно узнать... Любарев после школы (она училась в младшем классе) никогда её больше не встретил.

В женщинах Любарев больше всего ценил внешнюю красоту. Умом он понимал, что это неправильно, что облик красавицы может маскировать ужасные душевные язвы, но ничего не мог с собой поделать. Он не был бабником, «юбочником» и циником. Парни из его класса уже хвастались (привирая, конечно) множественными победами, а Любарев лишь мрачно и гордо молчал, хотя ему тоже было чем поделиться.

Как у ювелира сжимается сердце при виде драгоценного камня, так и у Любарева всё замирало внутри при виде красивой девушки. Ему нравился только один тип — высокие, белокожие блондинки, с длинными волнами волос и точёными, правильными чертами древнегреческих камей.

Он был мальчиком-подростком, когда впервые пережил чувственные отношения. Мать всегда брала на лето отдыхающих, обычно семейные пары, иногда с детьми, а в тот раз поселила молодых людей — Максима и Свету. Они жили в крошечной летней кухоньке рядом с домом.

Максим был фанатом плавания, ныряния и рыбалки. Днями он пропадал на море — мускулистый, с хорошо развитым торсом и чуть кривыми, волосатыми ногами. Смешливая Света звала Любарева играть в карты. Она любила жульничать и беззастенчиво пользовалась его растерянностью — Любарев больше следил за выражением её лукавых глаз, чем за количеством выбитых тузов и шестёрок. Они играли на щелбаны, и он с душевным трепетом подставлял свой чистый лоб под лихие щелчки её тонких и крепких пальцев.

Как верный пёс, он служил этой властной и кокетливой повелительнице, ходил за ней как привязанный.

Максим уехал в Форос к приятелю на ночь. Они долго сидели в беседке, увитой виноградом, под рассеянным светом фонаря.

— Ну всё, пора, — сказала Света, смеясь.

Внезапно погас фонарь — это бывало, что электричество ночами отключали. Он коснулся её ладони — по правде говоря, случайно. Она не убрала руку, и его затрясло от волнения, как от электрических разрядов.

— Пошли ко мне, — тихо и повелительно сказала она.

Он, как загипнотизированный, вошёл в тесную кухню. Между электроплиткой, столиком и постелью было ровно столько места, что они могли только стоять рядом. И тогда они стали долго и мучительно целоваться. Она была чуть выше его ростом, и всё тело его вытянулось в струну, наполнилось напряженной, сладкой мукой.

Он чувствовал, что совершает ужасную ошибку, грех, и в то же время испытывал эйфорию, восторг, наслаждение от своего неожиданного и чудесного падения. Он слышал эгоистичную, алчную жадность её гибкого, крепкого тела, она долго его томила, капризничала, пока, наконец, он с невозможной для него грубостью и истерическим иступлением не набросился на неё и не добился, наконец, торжествуя и ненавидя, последней близости.

Разгорячённые, они лежали рядом. Постель пахла Максимом — его спортивным, мускулистым телом. Света тихонько смеялась — наверное, Любарев ей казался агрессивным котёнком. А у него из глаз бежали слёзы облегчения — он чувствовал себя вором, которого не поймали, путником, упавшим в пропасть и чудесно спасённым.

Врач походил на огородника, который осматривает плоды, чтобы определить «спелые — зелёные», или на мангальщика, ворочающего угли под зарумянившимся шашлыком. С холодным ужасом Любарев понял, что здесь он непременно умрёт, если не вырвется из лап вежливо-учтливового доктора Геббельса.

— Бухенвальд, — шептал он, лёжа под капельницей.

Наутро ему стало лучше. Он почувствовал себя почти здоровым. И в этой неожиданной бодрости он вдруг ощутил не вчерашний ужас близкой бездны, а прежнее мужество жителя морского города: «Ну и что, что умру? Не я первый...»

В его первой женщине чудилось что-то мифологическое, сказочно-коварное, овеянное легендами Херсонеса.

Любарев был мальчиком из хорошей семьи: отец — инженер, мать — учительница. Он был не варваром, а эллином, и мечтал покорить мир не животной силой, а культурой и интеллектом.

Зачем этой гедонистке Свете было совращать подростка Любарева? Из озорства? Из женской мести мужскому племени? А может, Любарев ей хоть чуточку нравился?

Он запечатлел свою первую чувственную страсть в романе, который имел успех (относительный, конечно, литература стала уделом избранных). Где теперь коварная Света и что случилось с её крепышом Максимом?! Переживания Любарева переплавили бытовую, в общем-то, историю в высокую трагедию. Он и сам многое понял, когда, вглядываясь в прошлое, писал эти сцены подростковых метаний, наполненные страстью, желанием и стыдом...

Он приехал вступать в наследство и сгоряча чуть не продал белый материнский домик на Сапёрной улице — с увитой виноградом беседкой, с розовым кустом у порога, с терпким запахом перезрелого инжира, с летними сухими ночами, когда над головой так близко висит Большая Медведица. Но потом он остыл, одумался и договорился с татаринном Мехмедом, соседом, что тот присмотрит за домиком в обмен на сдачу его постояльцам в курортный сезон.

Он уезжал от моря огорошенный и будто оглушенный. В чём была суть его жизни? В укреплении родового гнезда, в возведении на месте домика виллы с высокими коваными воротами? Или в чём-то ещё? Он не знал...

Сидение на двух стульях продолжалось. Он должен был добывать хлеб насущный, быть «не хуже других», что ж, в этом тоже просматривалась некая логика. И когда он попадал в компанию крепких, уверенных в себе мужиков, рулящих денежными потоками, он почти готов был отречься от всего эфемерно-идеалистического, неуло-

вимого, что составляло его суть; но потом он оставался наедине с собой и с ужасом понимал, что все эти особняки-джипы-депозиты — муть, что всё, сделанное для себя, не имеет смысла; оно, то, что для себя, должно появляться как бы ниоткуда, из работы для других, а литература, да, она, конечно, была для всех.

Но это его убеждение подавляющим большинством воспринималось как блажь, как болезнь (нормальные люди вертели пальцами у виска), или как никчемное занятие неудачника, возмнившего о себе невесть что. Тогда Любарев переставал верить в себя — против общественного мнения, то есть народа, не попрёшь, он впадал в мизантропию, белый свет становился не мил. До тех пор, пока — по словечку, по абзацу — он не возвращался к заветным писаниям.

И был момент, когда жизнь его приобрела ещё одно стыдное, тяжелое, двойное дно — в шестнадцать лет заболел шизофренией сын. В периоды обострений Борис становился буйнопомешанным. Были и жестокие санитары, и психлечебницы, и доктор со зловещей фамилией Черносвитов, который доил Любарева несколько лет, обещая чудесное исцеление. Нет, ничего не помогло. Только официальная медицина давала небольшие просветы в болезненных состояниях. За что, спрашивается, Боре такие испытания?

Любарев жил в чужом городе, с чужой, в сущности, женщиной, которая по документам была его женой, с несчастным больным сыном, к которому иногда Любарев испытывал чувство ненависти, — и жутко потом каялся; потому что Боря мешал, мешал ему!

Так, может, Любареву надо было бросить творчество?! Если всё — против? К чему эта война с судьбой?

Получив заказ, Любарев погружался в проектирование, с наслаждением решал математические задачки, мозг его работал весело и нагруженно, как мотор, который нёс машину в гору. В конце плодотворного дня он испытывал законное чувство довольства, и тогда он спрашивал себя: почему бы ему не утешиться долей толкового инженера, вполне благородной и уважаемой профессией, дарящей общественную «стабильность»? Почему его несёт куда-то дальше, в неизвестное?! Каждый шаг в сочинительстве был мучителен, будто он шёл по гвоздям, хотя, возможно, этот путь был ошибочен или просто банален; каждый глубинный поход обещал скорее позор и забвение, чем славу и почести, и всё равно он, таясь, писал, просиживая дни напролёт в библиотеке; писал свой жизненный дневник — изрядно приукрашенный. Не потому, что он боялся «реализма» или правды. Нет, он хотел сочинить ту жизнь, которую мог бы прожить, если бы у него хватило сил, воли и ума.

Иногда его кидало в подражание, и, чуя заёмные интонации, он с холодным мужеством уничтожал написанное. Стоило же ему начать сочинять по-своему, проза выходила скучной или пошлой. Не хватало таланта. Что ж, он верил, что дар можно — хотя бы частично — возместить трудолюбием и усердием.

В материнском домике на стене висела чеканка — девушка-горянка несла кувшин на плече. Рядом — небольшой этюд — подарок местного художника, ученика матери. На картоне грубо, но старательно, изображена охотничья собака — вислоухий сеттер с раскрытой пастью, розовым языком.

Каким спокойствием и объяснимостью веяло от этих стен!.. В распахнутые окна было слышно, как в соседнем дворе осипший тенор, молодой петух, пробовал голос — «ку-ка-ре-ку». Получалось вымученно, обречённо.

«Вот так же и мои писания», — усмехался Любарев. Но петух не сдавался, всё разрабатывал и разрабатывал голос — такой в нём был задор и жажда жизни.

Борис Жуковский, странный молодой человек, «маньяк от литературы», с мощной гривой волос, с красивым, чуть удлинённым, «лошадиным» лицом, высокий, голена-

стый, с аристократически тонкими запястьями и лодыжками, бывший студент филфака (учение он бросил после первого курса, убедившись, что ему только «портят вкус» за его же деньги), остановился у книжного лотка «Всё по сорок».

Боря с увлечением рылся в развале. Он промышлял на жизнь журналистикой и производством немудрящих сайтов для маленьких фирмочек. Кое-какие деньжонки водились. Впрочем, он не собирался ничего покупать — план чтения у него был расписан на несколько месяцев вперёд. Но, будучи завзятым библиофилом, он не мог отказать себе в удовольствии порыться в книгах.

Жуковский с азартом кладоискателя погрузился в развал. Без нагрузки он всё-таки не ушёл — зацепил сборник некоего Любарева, писателя искреннего и наивного.

Любарев, так жаждавшей своей первой книги, наконец-то обаял издателя (это стоило ему многих походов в ресторан, кутежей с коньяком и дорогими закусками, разговоров «за жизнь» и пр.). Теперь тираж скорбными пачками — «гробиками» — лежал у него в гараже. В магазины книгу брали плохо. Издатель дулся, хотя палец о палец не ударил для продвижения нового автора.

Грёзы Любарева, что книгу будут покупать, обсуждать, что общественное внимание хотя бы на время сфокусируется на его труде (как ему казалось — не рядовом), постепенно растаяли. От литературы ждали развлечения и досуга, а вовсе не поисков смыслов бытия.

Не прельстились его сюжетами и киношники — чужая проза им не нужна, «сами сочиняют».

Любарев приехал к матери, медленно отходил от полученного удара. На четвёртый день купания, хождения по берегу, лежания на камнях, он вдруг почувствовал тягу к письму. Он открыл общую тетрадку «с замыслами», куда отрывочно, эскизно, заносил мысли, идеи и сюжеты, и ахнул: сколько ж тут добра! Так, наверное, хозяин, поднявшись на чердак и увидев милые сердцу вещи, тоже радуется забытому сокровищу — самовару с распаянным краном или детской кроватке с проваленным дном... Можно, можно ещё попить чайку или родить ребёнка... По крайней мере, теоретически.

Любарев, листая тетрадь, ощутил прилив нежности к никчемному занятию, погубившему его жизнь, — нет, не надо ни денег, ни признания, ни славы. Ему нужно только время, чтобы осуществить задуманное. Пусть эту прозу выбросят в мусоропровод на следующий день после его смерти, но зато он сумеет выразить себя, как, допустим, выражает себя картиной художник, а композитор — симфонией.

Терпкий запах сохнувшего винограда «Изабелла», безмолвие, периодически нарушаемое гудением холодильника «Донбасс», да грусть по навсегда ушедшей юности сопровождала его в этот приезд к матери. Одна она его любила и жалела — бескорыстно, нежно и понимающе.

Костя Белоглазов был младше Любарева, но постоянная пьянка его состарила, и он походил на доброго дедушку из советских мультфильмов — лысый, с носом «башмачком» и мудрым прищуром выцветших глазок. У Кости — большие рабочие руки, мощная шея в расстегнутом вороте рубахи (он не признавал костюмов и галстуков — «нам, пролетариям, это ни к чему»), и трезвый, несмотря на то, что три дня в неделю он пил не просыхая, взгляд на жизнь.

Любарев сошёлся с Костей на почве любви к литературе. Белоглазов писал много, легко и занимательно, это была крепкая проза, одобренная ненатужным юмором и виртуозной детализацией. От впадения в заурядность Костю спасало то, что он в молодости был художником и обладал прекрасной, фотографической памятью, которую не смог пошатнуть даже алкоголь. Его внутренняя оптика оригинально преломляла жизнь: Белоглазов не заморачивался с сюжетами и прототипами, он последовательно описывал весь родственный куст, включая двоюродных и троюродных братьев и се-

стёр, жён (их было три), наиболее запавших в душу любовниц, муз (то есть женщин, к которым он питал платоническое чувство), собак (когда-то он увлекался охотой), соседей по коммуналке, собутыльников, художников, попутчиков по трамваю и пр. Из незначительной детали — найденной в ящике сломанной броши, он легко, не заморачиваясь, выдувал целую повесть (это был любимый формат) и, поставив точку, обычно ничего не правил.

Писание, впрочем, и для него было мукой, в том смысле, что на протяжении всей работы, допустим, двух месяцев, он не брал в рот спиртного. «Чтобы не потерять нить», — объяснял он Любареву технологию. То есть найденная брошь являлась как бы кончиком нити, которую он «тянул» из глубин небытия, ткал из неё волшебный ковёр-самолёт, переносящий в счастливое прошлое.

Закончив повесть, Костя, разумеется, расслаблялся и напивался в стельку, дабы снять стресс от перенесённой каторги.

Костя свёл Любарева со столичной литбогемой, и новичок даже попробовал «зашибать» наравне со старожилами, но вскоре сошёл с дистанции, убедившись, что тут ему первенство точно не грозит. Да и никакого толку от посиделок не было, кроме наречения себя гениями, пьяных слёз и братания.

Но Белоглазов всё-таки отличался от этой спитой клаки. Он был добрым малым и первым похвалил Любарева за книгу (другие завсегдатаи застолий, поди, и не открыли её), сделав, между прочим, несколько дельных замечаний.

Любареву творческий метод Кости не нравился. Он видел в его бытовщине слишком простой путь, на который сам не отваживался. Любарев хотел мыслить вечными категориями и описывать эпохи и драмы народов, а не внутреннюю пустоту миленьких женщин и непутёвых родственников.

Они спорили с Костей до хрипоты.

— Рассудочность убивает художественность, баранья твоя голова! — восклицал Белоглазов.

— Да все эти свадьбы-разводы-свидания-квартирные вопросы запечатлены тысячу раз и никому не интересны, это всё равно, что натюрморт с сиренью — мило, но не ново...

— Переученный философией инженер, неужели ты не понимаешь, что каждая человеческая судьба — уже произведение искусства, что из бытовых повторов и рождается жизнь?..

— Традиция продуктивна, но надо идти вперед, создавать новые миры...

— Чтобы открывать новое, не надо много думать, надо просто родиться Толстым, Чеховым или Платоновым...

Чем больше они спорили, тем радикальней расходились их взгляды на творчество и тем сильнее крепла их дружба. Разругавшись в пух и прах, наутро они жалели о ссоре и одновременно хватались за телефон. Линия была занята — именно в этот миг они звонили друг другу! Так бывало не раз, трогательные совпадения душевных движений примиряли их лучше всяких слов. Их отношения были наполнены иронией, рыцарством и братской любовью. Это была настоящая мужская дружба, та самая, что прежде описывали в героических романах и ставшая ныне исключительной редкостью.

Повести Белоглазова не пользовались успехом. Он сдавал оставшуюся от родителей «однушку» и жил на средства от аренды. Раз в год, скопив денег, Костя издавал толстый том новых произведений, раздаривал сборник друзьям. В магазинах книги покупали плохо. Белоглазов подсчитал, что продажи покрывают только треть расходов. Публикации в периодике тоже случались, но они лишь тешили самолюбие — о гонорах речи не было.

Любарев, наблюдая за мытарствами Кости, высказал идею, что печататься надо в коммерческих издательствах, что нужно «пробиваться в нишу».

— Дурачок, зачем тебе это? — остужал его пыл приятель. — Я пишу, что хочу, без указок безграмотных менеджеров по продажам. Тебе случалось видеть самонадеянных девочек с купленными дипломами, изображающих из себя бизнес-леди?!

— Мы, Костя, не гении, — спорил Любарев, — а в коммерческом формате есть преимущества. Продавцы книг лучше, чем философы, понимают потребности масс, они — диагносты. А писатели — это врачи, которые выписывают рецепты.

— Ага, в виде постельных сцен и мордобоя, — ушучивал его Костя. — Плевать мне на этих «диагностов» — им надо людям втюхать то, что самим досталось по дешёвке, — писания литнегров. Нет, брат, по буржуинским торжищам я не ходок.

Всё также зелёной свечой горел над Сапёрной улицей пирамидальный тополь, невысокий штакетник у двора выцвел и приуныл, калитку перекосили дожди и ветры. Во дворе пахло виноградом, несобранные гроздья сохли на лозе, опавшие листья устилали дворик, придавая ему сиротливый и брошенный вид.

Лишь отважная одинокая роза, символ любви, призывно цвела у порога, как напоминание о навсегда ушедших временах. «Неужели и моя жизнь прошла?» — мысленно ахнул Любарев.

Вечером он жарил во дворе на самодельном мангальчике мясо, пил терпкое красное вино прямо из бутылки, смотрел на близкий ковш Большой Медведицы и беззвучно плакал, радуясь и этим слезам, и своему одиночеству, и вину, и мясу, и тому, что мать умерла тихо, без мучений и тяжких страданий, что она прожила большую и красивую жизнь, и что он, как мог, ограждал её от горя и бед. Любарев, чутко уловив, что матери не легла на сердце его жена, приезжал домой один или с Борькой, а когда сын заболел — только один. Он никогда не жаловался, не рассказывал о бедах, не хвалился успехами, но свою первую книгу он, конечно, матери привёз.

Любарев дарил сборник, стесняясь и терзаясь. Так, наверное, переживают грешники, идущие к первой исповеди, — было что-то мучительно-стыдное в его прозе. Но мать не осудила его, не посмеялась, не упрекнула, она смотрела на него с уважительным удивлением и, пожалуй, с сочувствием. Она жалела его!

Здесь, в маленьком уютном домике на Сапёрной улице, его всегда ждали, так, как не ждали нигде, никогда — и Любареву было стыдно, что в своей душе он не вырастил такую же розу, что цвела у его родного порога, — отчаянно-красивую, беззащитную, стойкую. Да, он любил эту каменистую жёлтую землю, любил грозное синее море, любил зелёную свечу тополя у ворот, любил жизнь, но ему не хватало трудолюбивой самоотверженности в этой любви, такой, какая была у его матери.

Борис Жуковский поселился в крошечном одноместном номере в центре города. Из экономии он взял поздний рейс, самолёт вылетал из Москвы ночью. Теперь его голова гудела от бессонницы и смены часовых поясов. Он наспех принял душ, сбросил с постели покрывало и с наслаждением вытянулся на чистой простыне. «Такое чувство, что я сам отмахал крылами от Москвы до Улан-Удэ», — усмехнулся Боря. Он завернулся в плотный накрахмаленный пододеяльник, солнце заглядывало в отверстие между шторами, но встать и задёрнуть их у него не было сил. Через секунду он провалился в глубокий и тёмный сон.

Его разбудил мобильник — он громко пел «Ledi in red», извещая о полученном сообщении.

— У-у-у! — взвыл Жуковский и, не открывая глаз, нашарил на полу телефон. Он поднёс его к лицу, нажал на нужную кнопку. Экран вспыхнул. «Сегодня в 11 часов дня в онкоцентре на Каширке после тяжелой болезни скончался Юрий Любарев. Похороны состоятся завтра».

Боря вытаращил глаза и резко сел на кровати. Он прочёл полученное сообщение ещё пару раз. Что бы это значило?! Ну да, вчера он купил книжку некоего Любарева

на развале «Всё по сорок». И что? Почему Любарев умер? Почему именно Боре пришло это зловещее сообщение? Бред! Мистика какая-то.

Боря, сварливо ворча: «А сообщение о смерти Путина вы мне не пришлётё?», выключил телефон и «вырубился», заснув здоровым и крепким сном молодого человека с чистой совестью.

Между тем в доставке этой скорбной вести не было ничего мистического — жена Любарева сделала массовую рассылку по всем номерам, оказавшимся в телефоне умершего. (Так о смерти писателя узнали и стоматолог Бойков, и глава жилищного кооператива Уразова, и таксист Григорий, и ещё множество совершенно постороннего литературе люда.)

В том, что в списке оказался Боря, не было случайности — Любарев сразу отметил новое лицо среди критиков — лихого филолога-недоучку Жуковского, смело крушащего дутые авторитеты. Если бы не болезнь, Любарев обязательно бы встретился с Борей, он уже и телефон его добыл...

«А был ли в моей жизни замысел, смысл? И как его угадать?»

С обречённым бесстрашием Любарев вспоминал прошлое. Почему-то в памяти настойчиво всплывало не хорошее, а стыдное. Оно обрастало всё новыми подробностями, и Любарев уже не знал, как от него избавиться.

Жена горестно прибиралась в больничной тумбочке, её красивые длинные пальцы подрагивали. Он вдруг вспомнил (без прежней ненависти, почти спокойно), как узнал о её измене — «добрые люди» сказали. Все, оказывается, кроме него, давно были в курсе, что он — «рогатый». Любарева тогда захватила волна беспредельного бешенства, и он рывком распахнул балконную дверь, чтобы разбежаться и выброситься, к черту, с девятого этажа!

И в этот отчаянный миг позвонил Костя — он просто медиум, его чуткий друг! Белоглазов с первой секунды понял: что-то случилось, всё вытащил из него и висел на трубке до тех пор, пока не сгладил у Любарева самоубийственный порыв. Но Жанна нанесла ему нокаутующий удар, что называется, «под дых». Туда, где впоследствии развилась у него раковая опухоль.

Он давно её простил и разлюбил, совершенно к ней оравнодушился, и, видя сейчас её виноватое лицо, ему стало жаль эту несчастную, блудливую женщину, прожившую ещё более никчемную жизнь, чем его собственная.

Жанна, тревожась и сбиваясь, говорила, что добилась направления, что его отсюда переведут, что профессор завтра посмотрит и будет консилиум...

Он почувствовал, что это — настоящие хлопоты, что она бьётся за его жизнь, и в лице её, которое со времени измены словно было задёрнуто лживой и глупой маской, вдруг проступило что-то страдающее и милосердное. Новое выражение — суеверного страха — мелькало в её потускневших от бессонницы глазах. «Да ей ведь ещё лучше, если я умру, — отстранённо подумал Любарев. — Свободней будет». По-житейски это было правильно, логично, но он чувствовал, что не прав, — Жанна поняла что-то такое, чего он ещё не понял, что-то она пережила... И он застонал — от душевной боли: как же всё-таки глупо, изломанно и неправильно они прожили!

— Больно? — она встревожилась, на лице обозначилось участливое страдание.

— Нет, ничего.

«Лучше бы я тогда в окно выбросился, — вдруг подумал он с отчаянием. — Зря ты, Костя, меня вытащил!»

И всё-таки он пытался быть мужественным перед лицом смерти: «Жанна, видишь ли, нанесла удар под дых, раковая опухоль... Бред. А Борис в кого уродился сумасшедшим?! В меня?»

Мысли о сыне изводили его, забирали последние силы. Он отвернулся к стене, зарылся лицом в одеяло, чтобы не видно было его слёз.

Жанна тихо ушла. Медсестра вколола обезболивающее.

«Если бы я правильно жил, мне не страшно было бы умирать, — ниточка сознания пробивалась сквозь наркотический полумрак. — Чего мне не хватило? Воли? Ума? Мужества? Таланта? Доброты? Веры?»

Через год в книжном магазине «Москва» Боря увидел новую книжку Любарева. «Пёстренько, живенько!» — он повертел сборник в руках. На последней обложке красовались фразы из Бориной статьи.

Жуковский стал листать книжку. Наследники не особо церемонились с волей покойного — он увидел переименованную повесть, ещё у одной вещи безжалостно обрублен финал. «Автор с того света редактирует, что ли?!» — ухмыльнулся Боря.

И всё же главные слова, строй мысли, пусть и в куцем виде, уцелели в сборнике, вышедшем, наконец-то, как и мечтал Любарев, в коммерческом издательстве.

Боря невольно задержался на одной из страниц, погружаясь в любаревскую прозу, где страдали, любили, изменяли и каялись маленькие люди, изо всех сил стремящиеся стать большими. Боря видел, как цветёт в приморском дворике одинокая роза на высокой ножке, как плывёт в синем небе зелёная мачта пирамидального тополя, как игриво плещет лазурная волна, ударяясь о неласковые лобастые камни, похожие на голову Зевса...

Увлечённый, он простоял с книгой больше часа, не замечая редких покупателей (утро трудового понедельника — время неторговое). Наконец, он дошёл финала повести и, вздохнув, поставил книгу на полку.

— Нравится? — решила пококетничать с ним Люсенька. У юной продавщицы — тонкий стан, русалочьи волосы пепельного цвета и прописка в Ростове-на-Дону — она приехала покорять Москву.

Книг Люсенька по своей воле никогда не читала и к библиофилам относилась с презрением, как к людям, больным на голову. Но импозантный Боря заинтриговал её своей серьёзностью.

— Можно перечитывать, — Жуковского расслабила, размягчила любаревская проза, и он снизошёл до ответа. (Женщин он презирал, считая их существами неразвитыми и ограниченными от природы.)

Боря удостоил Люсеньку вежливого взгляда, и это была ужасная ошибка!

Началась новая полоса его жизни, в которой, если честно, книги не помогали, а только мешали...



Сопричастный всему живому



Чем дольше живу, тем меньше доверяю всяческим мемуарам. И всё больше удивляюсь тому, что на них любят ссылаться вполне серьёзные люди, даже учёные, как на солидный источник. Кому, мол, ещё верить, если не самим свидетелям событий? Однако не зря же заметил один остроумец, что никто так не врёт, как очевидец. Тем паче, ежели берутся вспоминать дела минувших дней на склоне лет своих, когда во всей красе раскрывается лучшее свойство нашей памяти — забывать...

В чём лишний раз убеждаюсь сегодня на собственном опыте, выводя эти вот «мемуарные» строки. Предложили верные поклонники Виктора Астафьева, литературоведы и музейщики, собирающие очередную книгу о нём, «повспоминать», как и что певал покойный писатель в дружеском застолье. По слабости характера я, грешный, согласился. Поразмыслил: мол, действительно же приходилось когда-то видеть и слышать Астафьева поющего, сохранились в памяти какие-то впечатления — почему б не рассказать о них, коль искренне просят добрые люди?

Но вот дошло дело до конкретных воспоминаний о событиях и лицах, сел за чистый лист — и мурашки побежали по спине: зачем брался? Ибо достоверных-то «знаний предмета», кои в писательстве особо ценил сам Астафьев, у меня обнаружилось куда меньше, чем представлял ранее... Если по-честному, я даже не помню точно, когда и где впервые услышал его пение и присоединился к нему. Скорее всего это случилось во время совместной поездки в Овсянку. В каком году — определенно не скажу, но где-то, должно быть, в начале или середине восьмидесятых. И, кажется, осенью...

А было так. Не помню уж по какому случаю, но к нам в Красноярск прибыл выдающийся поэт фронтового поколения Леонид Решетников, тогдашний руководитель Новосибирской писательской организации, один из секретарей Союза писателей России. Наверное, приехал специально к Астафьеву, потому как именно он привёл его к нам в писательский дом, где проходило какое-то собрание. Мы ведь раньше часто сходились по разным поводам. Ну, а в завершение того собрания, как водилось, устроили скромное чаепитие. Больше всех за столом говорил, по обычаю, Астафьев. Он любил «солировать», а мы не возражали, ибо понимали, что само имя давало ему на это бесспорное право, да и слушать его, превосходного рассказчика, было всегда интересно. В ходе беседы Астафьев обронил, между прочим, что завтра свозит гостя, Леонида Васильевича, в свою Овсянку. А когда уже все стали прощаться, он вдруг подошёл ко мне и полушёпотом попросил, чтобы я к десяти утра подтянулся к гостинице «Красноярск».

— Съездишь вместе с нами, — сказал он твёрдо, как о решённом.



Я невольно сделал удивлённые глаза (за что, мол, такая честь?), а Виктор Петрович добавил:

— Леонид предложил: возьми, говорит, моего крестника...

Мне пришлось удивиться ещё больше. Дело было в том, что где-то в конце 1978 года я послал несколько стихотворений Леониду Решетникову, на писательскую организацию в Новосибирске. Послал письмом, хотя сам жил тогда в этом городе. Зайти в Дом писателей не напустился. Решетников в те годы был если не

«литературным генералом», то вполне тянул на «полковника», много издавался, печатался в периодике, к нему благоволила критика. Мне тоже очень нравились его точные строки, полные любви к родине, людям труда, к русскому слову... И вот я решился таким заочным путём обратиться к «единомышленнику». Леонид Васильевич вскоре сообщил мне в доброжелательном послании, что «благословил» мои стихотворения в московский журнал «Советский воин». И вскоре они там действительно появились. С напутствием «самого» Решетникова. Я, конечно, от души поблагодарил его, но больше не писал ему, никогда не встречал его «живьём» и потому весьма удивился теперь, что он ещё помнит меня.

Утром, когда я подошёл к гостинице, Астафьев уже был там, возле крайкомовского «пазика», на котором нам предстояло ехать. Подав мне руку, он сказал, что Решетников сейчас спустится из своего номера, и двинемся в путь. Я непроизвольно взглянул на подъезд гостиницы и вдруг увидел топтавшегося возле парадного крыльца местного писателя М., сгорбленного, в сером пальтеце, с непокрытой седой головой. Перехватив мой взгляд, Астафьев как-то горько усмехнулся:

— Пришёл сам. Видно, «после вчерашнего», в расчёте на поправу... — Помолчал, потом вздохнул: — И знаешь, Саша, в каждой организации писательской таких бывших немало... Жил я в Перми, в Вологде — картина одна. Когда-то написал человек нечто удачное, заметное, а дальше — не пошло. Заклинило! С тоски, понятно, потянулся к горькой. И вот так — до седин: где сена клок, где вилы в бок. Коварное, брат, наше ремесло, не дай бог...

В эту минуту из дверей гостиницы бодрой «полковничьей» походкой вышел Решетников. К нему тотчас подбежал, семеня, Бывший, и Леонид Васильевич на ходу подал ему руку, как старому знакомому. Да, видимо, так оно и было. Ведь он когда-то возглавлял в соседней области отделение Союза писателей и даже «попал в литературную энциклопедию», чем любил прихвастнуть среди нашего брата. Они вместе подошли к нам. Здраваясь со мной, Решетников подмигнул по-свойски и даже вдруг припомнил строку из одного моего «воинского» стиха. Виктор Петрович понимающе кивнул. Все мы быстро сели в «пазик» — Астафьев и Решетников на первое сиденье слева, я справа, а Бывший за спинами «классиков» — и покатали в Овсянку.

Многое из того, о чём шёл разговор в дороге, я уже, конечно, подзабыл. Помню только, что говорил в основном Виктор Петрович, на правах хозяина. Как уже замечено, он всегда был склонен к «соло», в любом окружении. Ну, а по пути в Овсянку его первенство в беседе было естественным. Тем более что Решетников проявлял живой интерес к тому, что мелькало за окнами, а у Астафьева, пребывавшего в добром настроении, эта «родовая» дорога овсянковских «гробовозов» (таково старинное прозвище его односельчан) и знакомые картины пробуждали бесконечные воспоминания, рождали меткие замечания и пояснения.



Запомнилось, что останавливались мы у смотровой площадки и ходили любоваться с крутобережья открытыми енисейскими далями и Дивными горами. Астафьев привычно поворчал на «кретинизм» властей, которые ради расширения той площадки распорядились снести голову каменному быку-красавцу. А потом, где-то в районе «Тёщиного языка», либо «Зятева хомута», он заговорил на «вечную» тещинскую тему с той прямоотой, которая многим казалась странноватой в устах прослав-

ленного автора лирической прозы... Вот и Леонид Решетников смущённо качал головой, слушая его. А пройдёт время — и смутятся многие...

Ну, это к слову. У нас же сегодня разговор об Астафьеве поющем.

По прибытии в Овсянку Виктор Петрович прежде всего повёл нас в свой домик. Показал все его достопримечательности — от высокой печки, рабочего стола, картин и фотографий по стенам до черневшей на вешалке кавказской бурки, подаренной ему Расулом Гамзатовым. Потом он сводил нас в сельскую библиотеку, тогда ещё деревянную, познакомил с её солидными фондами-запасами и «полкой гостей», где на корешках значилось немало известных литературных имён, а главное — с хозяйками, к которым он относился с подчёркнутой теплотой и любовью. Недаром они по сию пору платят ему тем же. А когда мы вышли из библиотеки, провёл нас крутым переулочком на берег Енисея и подробно рассказал, как и где именно когда-то опрокинулась роковая лодка и утонула его молодая мать. И предложил сходить на её могилу. Мы, конечно, согласились, и Виктор Петрович сопровождал нас на старое кладбище, расположенное неподалёку, почти в черте посёлка, и мы молча постояли, сняв кепки, у печальных могил его родительницы и других сородичей, нашедших здесь последнее пристанище.

Ну а потом, поскольку время уже приблизилось к обеду, пригласил нас к одной из здравствовавших родственниц, кажется, к тётке, имя которой я, к сожалению, забывал. Она была вроде постарше Виктора Петровича, но выглядела ещё довольно молодо, её простое лицо с мягкими чертами светилось добротой и приветливостью.

— Не прогонишь незваных гостей? — едва переступив порог избы, выкрикнул Астафьев вместо приветствия.

— Как же можно! Да нас хлебом не корми — дай встретить-проводить. Милости просим! Хорошие гости — всегда к обеду, — неподдельно радуясь, по крайней мере, одному среди нас, неожиданных-негаданных, всплеснула руками хозяйка.

Она тотчас пригласила всех раздеться, провела в большую комнату, усадила на стулья, на табуретки и, попросив «погодить немножко», исчезла на кухне. Вскоре на столе, как на скатерти-самобранке, появились и дымящаяся картошечка, и огурчики, и грибы, и отварное мясо. Похоже, здесь впрямь привечали гостей. К предложенным аппетитным яствам Виктор Петрович вынул откуда-то из-за пазухи некоторый запасец горячительного, притом марки, достойной уважаемого дальнего гостя-поэта. Все мы, не мешкая, подвинулись к столу.

Пошли тосты и разговоры, воспоминания о «старинке» и обсуждения последних новостей — в Москве, в Новосибирске и Овсянке. Правда, вскоре компания наша уменьшилась. Бывшего писателя, который неосторожно переусердствовал и заговорил, было, о своём неоконченном романе «Конь ломает прясло», несколько повело, и его пришлось уложить в соседней комнате на койку поверх одеяла. Но, как говорит-



ся, отряд не заметил потери бойца. Беседа наша, тон которой задавал, конечно же, Астафьев, становилась всё оживленней и раскованней. Боевая тётка «классика», тоже понемногу пригублявшая с нами, уже не впервой предлагала спеть добрую песню, но Виктор Петрович каждый раз отмахивался — «погоди» да «потом» — и продолжал бесконечный разговор. Наконец, тётка не выдер-

жала и, дождавшись первого зазора в плотных речах своего знаменитого племянника, затынула удивительно молодым и сильным голосом: «Э-это было давно-о, много лет уж прошло-о...»

После первой строки сделала небольшую паузу, окинула гостей вопросительным взглядом, словно проверяя нашу реакцию на её почин и одновременно приглашая нас к песне, и затем — «Вёз я девицу трактором почтовым» — уже продолжила вместе с Виктором Петровичем, охотно поддерживавшим её точно в тон мягким, но звучным баритоном. Ну, а далее — «Круглолица была, словно тополь, стройна» — подхватил я своим «вольным драматическим тенором», по шутливому определению знакомого солиста оперы, а на последней строке куплета — «И накрыта платочком шелковым» — довольно уверенно подтянул и Леонид Васильевич.

Второй куплет мы пели уже вполне ладным квартетом и закончили его с таким накалом, что на словах про коней, мчавшихся «стрелой», «как несла их нечистая сила», даже стало позванивать в раме стекло, слабо прижатое гвоздиком к пазу. А когда дважды, по канону, повторили концовку о девице, которая спит «под этим холмом», «унеся нашу песню с собою», то в наступившей тишине, какая обычно венчает сердечное пение, я заметил шутя, что, мол, зря Виктор Петрович пытался сдерживать созревшую песню: «постой-погоди» — она сама прорвалась. И рассказал один «аналогичный случай». Байка пришлась к месту и была отмечена одобрительным смехом литературных корифеев. Расскажу её и тебе, читатель.

Как-то будучи в посёлке Шира, что в соседней Хакасии, в гостях у свояка Анатолия Алиферова, механизатора, моряка по срочной службе, любившего попеть в застолье, услышал я, что любовь эту он воспринял от отца Никифора Алексеевича, изрядного певуна и настоящего знатока русских народных песен, живущего ныне в Новосибирске. Мой интерес к нему подогрело и то, что он был братом первого председателя нашего таскинского колхоза Александра Алиферова, любимца моих односельчан, погибшего на фронте. И вот, оказавшись в Новосибирске, у приятеля Сашки Галагана, бывшего соседа по дому в Канске и тоже любителя народной песни, я за столом рассказал ему об этом «самородке» Никифоре. Приятель мой, скорый на решения (не зря когда-то ходил в комсомольских жожаках), тут же спросил:

— Адрес знаешь?

— Где-то в блокноте есть.

— Тогда — поехали!

И мы действительно, прихватив «положенное» для такой встречи, тотчас направились к Никифору Алексеевичу. Быстро отыскивали типовую квартиру в типовой многоэтажке на берегу Оби, позвонили. Дверь открыл сухопарый старик, седой, как лунь, но глаза живые, с хитринкой:

— Кого Бог дал?

Я начал сбивчиво объяснять, кто мы такие и зачем пожаловали, но дед оборвал меня на полуслове:

— Проходите! А там разберёмся, может, и до песен дойдём.



Мы вошли. Дед предложил нам раздеться, а рыхловатой старухе, в тёмном платке, выглянувшей из кухни, дал команду:

— Сгоноши закусить, Дарья! Это гости из нашенских мест, посланцы от сына Анатолия.

Хозяин усадил нас в светлой комнате, которую назвал «горницей», видно, по старой деревенской привычке, сам сел рядом. Он оказался довольно словоохотливым человеком, и разговор потёк сам собой — о дорогих ему подсянских краях, каратузских и ширинских, о родне, о «нонешном» житье да бытье... А жена Дарья Тимофеевна между тем молча поставила на стол довольно щедрую закуску — огурцы и помидоры, сало, колбасу и пирожки с капустой, и даже горячую картошку, томлённую с мясом... Сашка

достал из портфеля «положенное». Хозяин, не прерывая очередного повествования из «старины», наполнил четыре рюмки и пригласил жену. Она присела с краешку стола и, когда был объявлен тост «за знакомство», тоже приняла немножко. Закусили. Подняли по второй. Разговор пошёл веселее. Дарья Тимофеевна, естественно, стала выпрашивать подробности о жизни сына, невестки и внуков в «кулортном» посёлке. Мне пришлось вкратце повторить примерно то, что я уже поведал Никифору. Но дед теперь ширинские новости слушал рассеяннo и кивал жене, чтоб не уводила лишними вопросами от основной линии беседы, которую он развивал, всё с большим вдохновением выдавая одну за другой истории из бывшей жизни. Оказалось, Никифор Алексеевич в молодости, как и его брат, председательствовал в колхозе, притом — в соседнем селе Уджей, часто бывал в нашем Таскине и даже знал моего отца. Так что темы для общего разговора у нас множились на глазах.

Когда первая ёмкость была на исходе, чуток заскучавший приятель мой, готовя следующую, как бы мимоходом предложил:

— А, может, песню споём?

На что дед Никифор, помахав отрицательно рукой, заметил:

— погоди! Она сама скажет! — и стал продолжать свои житейские истории.

Налили ещё по «граммульке», потом — ещё. Теперь это делали уже мы с Сашкой, чтобы не прерывать увлекательных былей разогретого хозяина. Несмотря на почтенный возраст и углублённость в далекие воспоминания, дед Никифор в «граммульках» держался наравне с нами. А на наши всё более прозрачные намёки, что пора бы, мол, и о песне вспомнить, неизменно отвечал: «Погоди! Она сама скажет». Или ещё короче и строже: «Не гони — сама скажет!» И только когда уже и во второй посуде осталось всего ничего и мы загрустили было, что вообще не слышать нам заветных песен, Никифор Алексеевич вдруг оборвал свой монолог на полуслове, откинулся на спинку стула, посмотрел на нас испытующе, словно прикидывая наши возможности, потом снова склонился к столу и, подперев кулаком белую голову, затянул неожиданно громко и молодецкато: «При лужке, лужке, лужке, при знакомом по-о-ле...» Мы обрадованно подхватили, довольно бойко подтянула бабка Дарья, и у нас с первого захода получился приличный вокальный ансамбль.

Вёл дед Никифор. Одна песня кончалась — он тут же запевал другую, а мы, если знали её, подпевали с умеренной силою, давая возможность ярче проявить себя нашему солисту, а если не знали, что бывало чаще, то просто тихонько подвывали, подму-



мыкивали. Но в таком случае активней начинала действовать Дарья Тимофеевна, чтобы не оставлять своего певуна в одиночестве. У неё тоже был неплохой голос, низковатый, грудной, но довольно приятный и выразительный. И она явно «от и до» знала репертуар благоверного. Там не было ни единой современной песни. Самые «молодые», наподобие — «За лесом солнце воссияло...» или «Отец мой был природный пахарь...», относились к эпохе Гражданской войны, но и то выдавали принадлежность к ней лишь отдельными строками про «шашку-лиходейку»

да про «злых чехов», напавших на нас. Остальные сплошь были такие старинные, такие глубинные, каких не слыхивал и я, земляк седого певца, выросший в соседней деревне. Или помнил лишь начальные строчки: «Поводьями ли да он правит, как ровно по струне...», «В островах охотник круглый год гуляет...», «У родимой мамоньки доченька была...», «По-за лугом зелененьким, по-за лугом...»

Наконец, после одной из самых тягучих песен Никифор Алексеевич смолк, посидел в раздумии, давая нам возможность глубже пережить изложенную в песне боль и боль, а потом подмигнул и тихо, даже с какой-то виноватой улыбкой выдохнул:

Ну вот, она сама сказала...

Приятель мой это понял по-своему и тотчас потянулся к «злодейке с наклейкой», излишне бодро воскликнув:

— Пусть она ещё скажет!

— Да не, парни, я не про то, я про песню... А на этой «горючке» далеко не уедешь, после неё чаще — ни песен, ни басен, — сказал дед устало.

И сказал вовремя, ибо близилась полночь. Мы поднялись из-за стола, обнялись с Никифором Алексеевичем как родные (песня ведь всегда роднит людей) и стали прощаться...

— «Сама скажет»... Это замечательно! — подытожил Виктор Петрович обсуждение моей байки. — Ну а песня «При лужке, лужке...» из запасов деда Никифора и нам уже вроде шепчет, — добавил он и кивнул тётке.

Ту не надо было долго упрашивать. Она тотчас, привстав и поводя рукой, как заправский дирижёр, запела чисто и задорно, так что мы, заслушавшись невольно, подхватили за ней только с третьей строки зачинного куплета: «А при знакомом табуне Конь гулял по воле...» Песня вышла куда с добром. За нею последовали другие подобные. Кажется, «Скакал казак через долины...», «По деревне ходила со стадом овец...», неперенный «Ой, мороз, мороз...». Виктор Петрович разошёлся, разогрелся, пел мощно, на всю катушку и с удовольствием, то опускал, то запрокидывал поседелую голову, и тогда совсем закрывался его пораненный, полуприщуренный глаз, что придавало лицу сосредоточенное и в то же время хитроватое выражение: ну-ну, мол, сейчас мы проверим вас на знание песен русской деревни и вообще — на наличие духа народного... И мы с Леонидом Васильевичем старались, как могли, не отставать от ведущих.

Особенно дружно и, если можно так сказать, ударно спели, помнится, «Отец мой был природный пахарь...». Тут довелось запевать мне и вести, по пути подсказывая не всеми твёрдо знаемые слова, ибо в моём селе Таскино, помнившем и красных партизан-щетинкинцев, и колчаковский разбой, эта песня была в большом ходу, её знал назубок, как говорится, и стар и мал. «Поводырь» тут нужен был ещё и потому,

что песня имела много вариаций — по отдельным строкам и по целым куплетам или очередности их. Особенно, помню, понравилась Виктору Петровичу наша таскинская концовка, когда в венчающем песню куплете «Зайду я на гору крутую, / Село родное погляжу: / Горит, горит село родное, / Горит отцовский дом родной...», при повторном исполнении двух последних строк, заключительная звучит уже чуть иначе: «Горит, горит село родное, / Горит вся родина моя!» Это «чуть» восхитило Астафьева, и он долго качал головой, приговаривая: «Ох, как это здорово! Какое мощное обобщение: от «горит село родное» через «горит отцовский дом родной» — к «горит вся родина моя». Вот она, народная-то мудрость: так просто и так значительно! Наш брат тут бы пять страниц измарал, а такой выразительности не добился бы...» И строгий к слову поэт Леонид Решетников разделял его восхищения.

Как это обычно бывает в подобных случаях, после общих песен, словно бы разом пришедших на ум, «хористы» начинают предлагать какие-то менее знакомые, так сказать, из личного репертуара, и тогда один за другим они невольно превращаются в «солистов», лишь слабо поддерживаемых остальными. Наша хозяйка, к примеру, начала было «А где мне взять такую песню / И о любви, и о судьбе...», восприняв эту «из радива», но больше никто среди нас слов толком не знал, и песня быстро увяла. Виктор Петрович, кажется, запевал «Не вейтесь, чайки, над морем...», но она тоже не пошла дальше первого-второго куплета. Довелось и мне «показать» несколько «своих» песен, застрявших в памяти со времен деревенского детства: «Течёт речка по песочку...», «А в Минусинске тюрьма большая...», «По Сибири долго шлялся...», «Прощайте, аленькие губки, прощай, брунэточка моя...». Но они также не были поддержаны за малоизвестностью, хотя вызвали большой интерес своим сюжетным строем, содержанием и необычными мелодиями, и я частью спел, а частью просто продекламировал их взыскательным слушателям.

— Да-а, забывается ныне такая вот красотишша и душевность такая, — вздохнул Астафьев. — Теперь ведь про любовь как поют? «И лишь тебя не хватает чуть-чуть...», а то и похлеще: «Приезжай ко мне на БАМ, я тебе на рельсах...», — и он захохотал раскатисто, озорно и заразительно.

Показывая нашенские песни, я ещё хотел сравнить слова со здешними и проверить, насколько широко было их хождение по краю. Но оказалось, что многие таскинские песни не долетали до Овсянки, как, наверно, и овсянковские до нас. Меня, допустим, удивило, что старинная песня «Ходят пароходы, огоньки горят...», которую часто певали в нашем абсолютно сухопутном селе, была неизвестна овсянковцам, живущим на самом берегу великой реки, где под окнами действительно день и ночь и «ходят пароходы» и «огоньки горят». Так что песня эта, наверно, была не красноярской, не енисейской, а скорее всего залетела к нам с волжских берегов, ибо в нашем Таскине осело когда-то немало саратовских переселенцев. Недаром до сих пор один край села называют Саратовским.

Загадочны и удивительны судьбы песен, в особенности — народных, которые передавались буквально из уст в уста и так разносились по всей Руси-матушке. А то и по границам — по чужим царствам-государствам. К примеру, когда я в молодости попал впервые за кордон, в народно-демократическую Венгрию, то был крайне удивлён, что в ресторанчике под окнами моей гостиницы чаще всего звучала до боли знакомая разбитная песенка, которую затевали мои сибирские земляки в весёлом застолье: «Пусть говорят, что я ведра починаю, / Пусть говорят, что я дорого беру...» Кстати, в Овсянке мы тоже спели эту песню, притом с подачи боевой, неунывающей хозяйки. Она вообще старалась грустные, тягучие мелодии, которые выводили мы одну за одной, перемежать бодрыми и искромётными. И эти весёлые «вставки» первым охотно подхватывал Виктор Петрович, легко переходя от минорного настроения к бравурному и жизнерадостному.

Хочу заметить, что, несмотря на возраставший сердитый и раздражительный тон его речей и писаний в последние годы, мне думается, Астафьев всё же был скорее весёлым, чем угрюмым человеком. По крайней мере, таким он помнится мне в «дореформенные» времена, в иные же я с ним почти не встречался, а уж в застольях — тем более.

...Много песен перепели мы в тот осенний день, незаметно перетекший в «синие сумерки». Однако же всех, что хотелось, спеть не успели. И, наверное, потому те овсянковские «спевки» имели позднее неоднократное продолжение. Притом инициатива всегда исходила от Виктора Петровича. Я никогда бы не посмел напроситься уже в силу своего «бирючьего» характера. Но он не забывал моих «природных» познаний в старинных деревенских песнях. А вот когда именно мне довелось попеть с ним в следующий раз — точно сказать затрудняюсь.

В своих заметках «Хождение за «Царь-рыбой» я уже упоминал, что был среди приглашённых на дружеский ужин в честь его 60-летнего юбилея, отмечаемого в «Огнях Енисея». Но там песен не пели. Там произносили по кругу за здравные тосты и даже целые литературные речи, смахивавшие на импровизированные эссе. В большинстве — весьма любопытные, ибо среди выступавших были Валентин Распутин, Владимир Крупин, кажется, Валентин Курбатов, другие известные писатели и критики, а также велеречивые редакторы (в основном — «редакторши») из многочисленных московских изданий и издательств, но песен, повторяю, не пели. Чего не было, того не было.

Точно звучали песни на 50-летию автора сих строк, когда почётными гостями в его доме были Виктор Петрович с Марьей Семёновной. Но они, помнится, в пении не участвовали. Думаю, из деликатности. Дело в том, что большинство из моих гостей им было незнакомо. Среди них не было ни писателей, ни издателей, ибо я никогда не ходил в «свободных художниках», всегда работал где-нибудь, и мой приятельский круг составляли в основном сослуживцы, соседи и вузовские однокашники. У нас была довольно тесная, спаянная (в меру «споенная») компания, и смолodu мы пели в застолье песни. В основном — народные, общеизвестные: «По Муромской дорожке...», «Из-за острова на стрежень...», «Меж высоких хлебов затерялся...», но певали и редкую старинку — «Сронила колечко со правой руке...», «Отец мой был природный пахарь...», «Ой да ты, калинушка...» Особенно же любили есенинские песни — «Отговорила роща золотая...», «Ты жива ещё, моя старушка...», «За окошком месяц...» и старинные классические романсы: «Утро туманное, утро седое...», «Как поздней осени порою...», «Глядя на луч пурпурного заката...», «Пара гнедых, запряженных зарёю...». Запевали их обычно Людмила и Владимир Денисовы, а мы с женой Надеждой, чета Прилепских, Николай и Светлана, Владислав Брюханов, кто-то ещё подхватывали и старательно вели сообща...

Так было и в тот раз. Выпив одну-другую и шумно пообщавшись, в том числе с Астафьевыми, мы запели «свои» песни. Однако ни Виктор Петрович, ни Марья Семёновна в наш хор не включились. Они просто сидели и с интересом слушали. В паузах между песнями и романсами Виктор Петрович хвалил нас за «спетость» и вообще за то, что мы поём в компании, сохраняя добрую русскую традицию, и сожалел, что она в последнее время заметно утрачивается.

— Теперь ведь в лучшем случае врубают для гостей магнитофон или «чёрный ящик», а в худшем — до посинения спорят о политике да травят пошлые анекдоты, — говорил он с грустью и раздражением. — А вы молодцы, вы ещё поёте за столом как нормальные русские люди.

В овсянковском домике Астафьева, где мне доводилось бывать и с женой, и с приятелями, и одному (разумеется, только по приглашению хозяина), мы не пели ни разу. Обычно сидели за чаем и говорили «за жизнь». Не помню, чтобы Астафьев пел и в импровизированных застольях в Союзе писателей, которыми нередко заканчива-

лись наши собрания и сходки. Бывало, что-нибудь запевал любитель этого дела Иван Уразов, мы ему пытались подтянуть, но Астафьев не поддерживал нас. Всегда первенствуя в разговоре, он просто замолкал, терпеливо переживал наше пение и затем продолжал свой монолог. Однако именно после таких посиделок в писательском доме он, выходя навстречу прибывшей за ним машине, иногда говорил мне:

— Саша, поехали ко мне, попоём немного?

Разумеется, я не отказывался от таких приглашений. Тем более что они не были частыми. Ну, может, раза три или четыре приезжал я вот так к нему «за песнями» в Академгородок, в его обычную трёхкомнатную, а потом и расширенную квартиру. Впрочем, комнат мне считать не приходилось. Мы обычно сразу из коридора следовали на кухню, Марья Семёновна собирала на стол. Появлялся ещё кто-нибудь из астафьевских друзей и знакомых, иногда — приезжих. И вот после рюмки-другой русской горькой начиналась («она сама скажет!») песня. Запевал или «заказывал» очередную, как правило, Виктор Петрович. Но порою «под занавес», уже «подготовленный» воспоминаниями и песнями, я «сам» заводил свои «коронные» из старинки — «Сронила колечко», «Чёрный ворон», «Ехал Ваня с базару» — в собственной, так сказать, интерпретации. И тут уж он прощал мне инициативу, соглашался на роль ведомого и охотно поддерживал меня, а то и просто слушал. Песни эти ему явно нравились и, кажись, против моей «обработки» их он тоже ничего не имел. Подпевала и Марья Семёновна.

Раза два-три мы наезжали к нему в Академгородок соборовским «десантом». Со многими корреспондентами центральных газет он поддерживал приятельские и деловые отношения, частенько выступал — в «Совраске», в «Комсомолке», «Правде», в «моих» «Известиях». Но с одним собором, привезённым нами в гости к мэтру, однажды вышел прокол. Он напросился именно как певун, и действительно был таковым. Прихватил даже гитару с собой. И поначалу всё шло как по писаному. Были общие песни, было соло певца-гитариста, одобряемое всеми, включая хозяина. Но, разгорячившись, незадачливый гость опрометчиво затеял с ним спор о каком-то пустяке. А «классик» не любил, когда ему противоречат. Он был огорчён и раздосадован дерзостью молодого газетного шелкопёра. Пришлось мне взять в охапку подопечного коллегу и унести в машину. Тоже — под общее одобрение, в том числе — хозяина.

Но это был случай исключительный. И, на моих глазах, единственный, когда гость Астафьева перебрал. Обычно же у него больше говорили и пели, нежели пили. По крайней мере, при мне, зная, что хозяин любит и ценит хорошую русскую песню, такую протяжную и такую сердечную...

Не знаю, пел ли песни «поздний» Астафьев в товарищеском кругу. И если пел, то какие? Впрочем, песня ведь «она сама скажет», как мудро заметил когда-то другой мой земляк, Никифор Алексеевич, простой русский старик.

*Александр ЩЕРБАКОВ,
член Союза писателей России*



ИГОРЬ МИХАЙЛОВ



Прилезь!

РАССКАЗ

Только я было собрался написать о сибирском холоде, как в доме отключили отопление. За окном — минус двадцать. Из рта идёт пар. И тут я понимаю, что ничего выдумывать не надо. Всё напишется само собой. Всё, что необходимо, это быстрее двигать пальцами по клавишам, пока они не начали мёрзнуть. Всё же минус двадцать — это не минус сорок. Тем более, не минус шестьдесят...

Облака, снизу подпалённые солнцем, кочуют на Север. Белоснежная лавина завтра рухнет на Ноябрьск или Пяко-Пур. И заметёт землю и реки с головы до ног. А потом вслед за облаками на Север полечу я. Наверное, для того, чтобы понять, что он такое, чтобы ощутить его горячее дыхание, жгучий до озноба, до мурашек поцелуй в губы. Иначе круг не замкнётся, и я не узнаю, о чём воеет пурга с ненашенским раскосым лицом долгими зимними вечерами и какого цвета глаза у ночных огней, поволчьи блуждающих в приполярной тьме. Тьме, кочующей ко мне навстречу, чтобы рассказать о том, что я совсем ничего не знаю о том, что такое Север, если не был здесь зимой. Сибирской, студёной...

МИХАЙЛОВ Игорь Михайлович родился в 1963 г. в Ленинграде. Трудился журналистом в местной газете «Современник», в подмосковной газете «Домашнее чтение», год работал в «Московской правде», в журнале «Литературная учёба» — заместителем главного редактора. Далее — заместитель главного редактора журнала «Юность». Лауреат премии журнала «Литературная учёба» в номинации «Проза» за 2002 г. и премии Валентина Катаева в номинации «Проза» за 2006 г. Публиковался в газетах «Комсомольская правда», «Общая газета», «Алфавит», «Московская правда», «Книжное обозрение», «Москва», «Независимая», «Нева», «Литературная учёба», «Коростель», «Собрание», «Человек на земле». Автор книг «ЗАО Вражье» (М., 2003), «Письма из недалека» (М., 2011); выступил в роли литературного редактора книги Корrado Ауджаса «Модильяни» (М., 2007. Сер. ЖЗЛ).

Солнце, словно яичный желток в мучной пудре, поднимается ранним утром над тайгой, чтобы часа через четыре, пробежав украдкой мелкими перебежками метров триста вдоль линии горизонта, исчезнуть во тьме, кажется, навсегда. Небо прокалённое, прожаренное на морозе с голубоватым отливом. По крышам гуляет ветер, ошпаривая лица прохожих, после него лицо приобретает какой-то свекольный оттенок. Лицо — пунцовый синяк, на котором застыли две вздыбившиеся линии бровей в инее. Глаза на мокром месте. Если они потекут, то во впадинах вместо глаз будет два стальных озера ледникового происхождения.

Я приехал, чтобы кожей понять, что такое холод. Приехал, чтобы специально продрогнуть!

Поутру направился завтракать в кафе «Прелесть», которое на местном наречии звучит так: «Прилезь»!

До кафе добрался нормально, а по возвращении посмотрел в зеркало.

Такое ощущение, что лицо становится резиновым или пластилиновым. Во всяком случае, оно уже не твоё, а чьё-то.

С обратной стороны потустороннего мира, словно со дна промозглого колодца, смотрят на тебя враждебные ко всему живому, пылающие ненавистью глаза, кажется, хотя, может быть, уже и один. Глаз. Глаз мудрости.

Лицо какое-то сморщенное, как сухофрукт. А руки синие, скрюченные, с негнущимися пальцами, явно чужие. Не мои.

И вообще, кажется, что меня немного подменили. Или сделали небольшую пластическую операцию. Пересадили чей-то, явно несколько удлинённый, малиновый нос, добавили сухую ниточку губ, чуть скошенный подбородок, маленькие злые, обесцвеченные, глазки, явно сощуренные.

На улице первые минут пять ты просто радуешься хорошему зимнему утру, солнцу, но потом вдруг, пронизанный порывом ветра до костей, растерянно озираешься по сторонам. Организм, ни очно, ни заочно не знакомый с такими температурами, начинает паниковать. Ноги убыстряют шаг, шаги сворачивают в сторону сарая, трансформаторной будки, словом, какого-нибудь жилья или укрытия. В этот момент, подвернись она под ноги, подошла бы даже и собачья конура. Или даже дупло. Любой забор, ограждение, только чтобы больше не было этого обжигающего дыхания, этого, даже не пощипывания, а состояния, похожего на то, когда с тебя вот-вот сдерут кожу.

Ледяное дыхание Севера. Старый образ из доброй детской сказки дедушки с седой бородой исчезает. И его место занимает узколикий прищур. Резкие черты. Хмельной насмешливый всплеск зрачков. Порывистые движения. Улыбка, режущая белое полотно дня надвое, как ножницы. Белые зубы, вонзающиеся в плоть. В слабую, податливую мякоть тела, привыкшего к теплу.

Тело — *тепло*, почти омонимы. Почти одно и то же. А тут тело с мясом отделяют от костей. И теперь всё во мне по отдельности. Пальцы ног сами по себе, пальцы рук — сами по себе. И будто бы твоя, а на самом деле вовсе не твоя, а Олоферна голова на серебряном ледяном блюде.

Голова говорит не своим, а чужим голосом, что, наконец, осознала, что слишком ничтожна, слишком мала, слишком никчемна перед величием вечного холода, вечной мерзлоты.

Хорошо храбриться километров за тысячу от минус сорока. Но когда ты сходишь, словно с ума, с трапа самолёта, то шутки остаются позади.

Впрочем, если передвигаться короткими перебежками от машины до гостиницы или жилья, то холод просто не успеваешь ощутить. Просто что-то прокалывает тебя иголочками, пробуя на язык. Но все это забава, до того момента, когда он тебя не начинает лизать шершавыми, как у напильника, насечками.

Ещё есть время. Вовремя одуматься, вернуться в самолёт и улететь восвояси. Но тебе всё ещё смешны эти детские страхи. Подумаешь, минус сорок! Даже цифра минус шестьдесят — не таит в себе никаких особых страхов.

Да и с чего бы волноваться? Минус сорок всё же вообразить можно. Минус шестьдесят, если ты живёшь в Москве, не очень.

Я еду, благодушно поглядывая на весёлые белые ёлки и заиндеветую тундру. Правда, веселье немного убавляет трагическая история.

...Семейство поехало по трассе на машине. За окном минус шестьдесят. В такую погоду машины даже не заводятся. А они поехали. Где-то посреди глухой тундры машина стала. И... всё!

— А что делать, если машина станет? — голосом, в котором уже предательски сами по себе, без посторонней помощи, вплетаются сомнения и страх, спрашиваю у водителя.

— Жечь машину!

— ?

— Сначала шины, а потом облить бензином и поджечь. Ни в коем случае не ждать, пока кончится топливо. Кончится топливо, можно прощаться с жизнью. А тут есть небольшая, но надежда на то, что увидят огонёк и приедут на помощь...

Первый день жизни при минус сорока окончен. Какая ерунда, думаю я, ворочаясь в уютном тёплом номере, чувствуя себя при этом, по меньшей мере, героем-полярником. Можно жить и при минус сорока!

Но на следующий день мой путь лежит на буровую. Короткие перебежки от гостиницы до кафе «Прилечь» с блинчиками и обратно — не в счёт. Теперь мороз обязательно должен поквитаться со мной. Только я об этом ещё не знаю. Я надеваю пуховик, флисовые перчатки, нахлобучиваю на брови шерстяную шапку и — опять тёплая машина. На обочине белые коралловые ветви деревьев. Облака пара, вырывающегося из всех щелей, словно жилец из горящего дома. Закутанные по самые брови лица. И повизгивающие шаги.

Видали мы эти минус сорок!

Буровая, вернее, смёрзшаяся махина, напоминающая штопор, воткнувшийся в шершавый пробковый бок, покрытая наледью, промёрзшая до корней, гулко притихшая, но скребущая своим чёрным жалом вечную мерзлоту. Мы поднимаемся по трапу наверх, как космонавты. Сейчас нас запустят в космос. В это холодное, белесое, блеклое, вымороженное, вымороженное, выдуманное небо. Неправдоподобное и стылое, как кусок льда.

Ступеньки оледенели. Мир осиротел, осовел. Свинцовые поручни прожигают перчатки. Мы идём по трапу, по трубам, сквозь трубы, как фуга Баха по водосточку стонущего органа.

Куда и зачем?

Теперь уже поздно задумываться над этим. Надо просто передвигать чужие отмороженные ноги с тем, чтобы потом вернуться на них обратно. К самому себе.

Маленькая железная дверь в стене открывается. И мы входим вовнутрь, туда, где побуревший снег гирляндами свисает с металлических конструкций, как ёлочные украшения.

Посредине шевелящийся бур, медленно вонзающийся в чёрную пасть.

Всё это слегка напоминает стоматологический кабинет и бормашину. Но только с поправкой на то, что заморозка с пациента перекинулась на окружающие предметы. И я медленно погружаюсь в этот зимний, летаргический сон, в забытьё.

Буровой мастер в оранжевой каске с мохнатыми косами ушанки. Ватные штаны. Валенки. На лице — упрямая улыбка. Пунцовый буровик, застывший у пульта, словно командир межпланетного корабля.

Бурый буровой мастер поднимает руки, его варежка с кусочками льда устремлена куда-то вверх, туда, где сквозь сумрачное переплетенье труб и льда мелькает небо. Он что-то объясняет рядом стоящему старичку с бородой. Старичок, Дед Мороз, известный московский критик, трясёт седой бородой.

...Буровая не прекращает работу ни на минуту. Она работает и при минус шестидесяти. Если она остановится, то будет прихватка.

Я смотрю в чёрную пасть, куда вонзился безжалостный бур и ничего не вижу кроме пара и копоты. Кроме пропасти и тяжёлой отдышки. Так, наверное, стонет земля. Или великан, пронзённый копьём. Чьи-то чужие ноги несут меня обратно к машине. Пальцы заледенели. Лицо скукожилось. Температура тела стремительно приближается к нулю. И если я не дойду до машины, то, миновав рубеж, она устремится дальше вниз. И так до минус сорока. Пока мы не сравняемся с Севером в градусе...

Вот, наконец, и номер в гостинице. Всё кончено. Я продрог. Вернее, я всё ощутил кожей, которую с меня по пути от буровой до машины кто-то содрал.

Теперь я пью водку большими жадными глотками. И чувствую, как тепло возвращается. Сорокаградусная отвоёвывает меня у минус сорока. Я постепенно прихожу в себя. Возвращаюсь к себе. Душа возвращается в своё тело. В тепло. В самое себя и меня.

Ноги, руки — мои? Вроде бы мои.

Голова?

Тоже.

Итого: что же такое холод?

Холод — это когда внутри всё прокалено и выморожено, а там, где было сердце, бьётся и нервно пульсирует Север, и температура тела минус сорок.

Холод — это прихватка вечной мерзлоты. Прививка игольчатым, струящимся откуда-то со дна самого нижнего круга ада, страхом и трепетом. Это бьющаяся в жилах, словно газовый факел на ветру, слепая полярная ночь.

Вместо крови, вместо сердца — один сплошной Север, шепчущий обмороженными губами: «А ну-ка, сволочь, прилезь!»



АЛЕКСАНДР ДУЛОВ

Лютеранское кладбище XVIII века

К 250-летию образования Иркутской губернии

В центре Иркутска, при повороте трамвая с улицы Ленина на улицу Тимирязева, перед 130-м кварталом расположен скверик, на территории которого в 1730-х гг. было основано Лютеранское кладбище; его часто называли немецким.

В 1730-х гг. этот холм находился далеко за городской чертой, по линии нынешней улицы К. Маркса проходил городской ров и вал, а в месте пересечения улиц К. Маркса и Ленина стояли ворота. На бугорке, находившемся тогда за городом, и решили устроить Лютеранское кладбище. Мимо него шла дорога на Байкал. «Иркутская летопись» сообщает, что в 1736 г. здесь был похоронен обер-комендант, бригадир И.А. фон Линеман. Но сведений о нём очень мало.

Позже на кладбище нашли своё последнее пристанище два крупных администратора. Первый из них, Лоренц Ланг, управлял огромной Иркутской провинцией, образованной в 1721 г., которая с 1736 г. стала подчиняться не Тобольску, а московскому Сибирскому приказу.

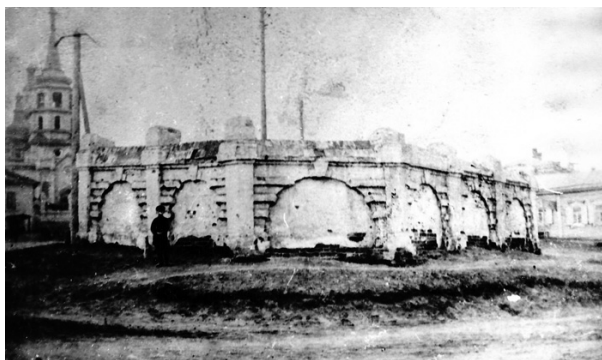
Судьба этого замечательного человека необычна. Родился он в 1684 г. в Стокгольме, получил отличное образование, став инженером (имел чин инженер-лейтенанта). В Россию он попал, скорее всего, через Финляндию, где жила его сестра. По другой версии, менее вероятной, он попал в плен в 1709 г. под Полтавой. Тысяча пленных шведов была отправлена в Тобольск, где Л. Ланг (Ланге), возможно, и вступил в русскую службу. Русским офицером он стал в 1712–1715 гг.

Известный исследователь записок иностранцев XVIII в. о Сибири Э.П. Зиннер даёт ему такую характеристику: «Лоренц Ланге — фигура во всех отношениях колоритная, человек недюжинного ума и большой предприимчивости. Он сыграл немалую роль в установлении дипломатических и торговых связей России с Китаем»¹.

В 1715 г. Л. Ланг по поручению Петра I сопровождает английского хирурга ко двору китайского императора, в 1716 г. в Селенгинске он присоединяется к каравану М. Гусятникова и появляется с ним в Пекине. В 1720 г. Л. Ланг в качестве секретаря чрезвычайного посольства капитана Л. Измайлова прибывает в Пекин и остаётся там в чине агента российского. В 1727 г. Ланг, будучи секретарём посольства Саввы Рагузинского, приезжает в Пекин, возвращается на границу и участвует в заключении Буринского договора с Китаем. В 1730 г. он представляет в Сенат доклад о проекте организации русско-китайской торговли, а в 1730-х гг. дважды возглавляет торговые караваны, направляющиеся в Китай.

Русское правительство высоко оценило деятельность Ланга, и 25 июня 1739 г. он был назначен вице-губернатором (правителем) Иркутской провинции, включавшей в себя территорию от границ нынешних Иркутской области и Якутии до Тихого океана. В Иркутск Ланг приехал 26 июня 1740 г.

ДУЛОВ Александр Всеволодович, доктор исторических наук, профессор (родился в 1938 г. в Иркутске). В 1961 г. окончил ИГУ по специальности «История». Действительный член РАЕ. Автор более 300 научных работ. Председатель Совета по городской топонимике и увековечиванию иркутян при администрации г. Иркутска.



Ограда Лютеранского кладбища. Начало XX в.

«Иркутская летопись...» сообщает, что первоначально Ланг «усердно занимался делами управления, был снисходителен и добр ко всякому искавшему у него покровительства и защиты», а потом «предался бездействию»² (может быть, из-за болезни), в результате чего в провинции стали процветать взяточничество и казнокрадство, воровство и грабежи, казна терпела убытки.

Далее летопись говорит, что в мае 1752 г. вице-губернатор «занемог ногами, стал пухнуть» и 6 октября перестал из-за болезни управлять провинцией. Умер он 26 декабря 1752 г., в возрасте 68 лет, и летопись приводит описание его похорон: «...означенного же вице-губернатора тело из вице-губернаторских покоев вынесли, положили на роспуски и повезли за палисад хоронить в провождении имевшихся тогда в Иркутске офицеров и солдат, и служилых строем, а канцеляристы и подканцеляристы шли при гробе со свечами, за служивыми же ехали сёстры того Ланга, также и граждане мужского и женского полу, и по привозе и по отпетии по своему закону, погребли близ бывшей часовни» (Там же, с. 395).

Спустя 12 лет Екатерина II превращает Иркутск в столицу самой обширной Иркутской губернии, границы которой совпадали с прежней Иркутской провинцией.

Губернатором назначается генерал-майор Карл Львович фон Фрауендорф³.

Будущий иркутский губернатор родился в Германии, в Бранденбурге (так назывался и город, и немецкое герцогство). В 1731 г. шляхтич поступает на русскую службу. С.А. Гурулёв установил, что уже в 1730-х гг. он серьёзно занимался картографией. В 1738 г. в Академии наук были напечатаны две карты, составленные Ф.К. Фрауендорфом, в том числе карта Крыма и европейского театра военных действий 1737 г. Вскоре обе карты были переизданы в Голландии на четырёх европейских языках.

Долгое время Фрауендорф служил в Европейской России. Например, в 1744 г., будучи в чине полковника, он проверял итоги ревизии в Нижегородской губернии. В 1750-х гг. он комендант города Кизляр, воюет с непокорными чеченцами. Вместе с тем он участвует в переводе с арабского книги «Известия о построении Дербента», высылает в Академию карту Кавказа. В 1750-х гг. Фрауендорф отправляет письма к другому выходцу из Германии, Г.Ф. Миллеру, ставшему уже широко известным своими работами в Российской академии наук. Он просит Г.Ф. Миллера выслать ему за плату его труды на немецком языке о России, Сибири, истории Калмыкии и Татарии. Во втором письме он благодарит академика за высланную книгу, просит прислать дополнительную литературу, предлагает отправить Миллеру материалы о крае, в котором он служит.

В 1757 г. Фрауендорф в чине бригадира был назначен начальником Колыванской укрепленной линии, комендантом г. Омска, командующим войсками всех Сибирских укрепленных линий. На этих должностях он сделал очень многое для охраны сибирской южной границы, усиления крепостей, предотвращения набегов киргизских отрядов. Фрауендорф распорядился селить вдоль границы казаков с семьями, что послужило началом образования вдоль крепостной линии постоянных земледельческих поселений.

При активном участии К.Л. Фрауендорфа укрепляется Ново-Ишимская линия, формируется Колывано-Кузнецкая (в дальнейшем — Бийская), а юго-восточнее — Бухтарминская. В 1850-х гг. комплекс оборонительных линий Западной Сибири состоял из 58 населённых пунктов. Одновременно составлялись планы укрепленных поселений, а также общие карты региона. Бригадир Фрауендорф вместе с одним-двумя другими начальниками подписывал эти карты. Кроме того, он рассматривал проблемы связей с Джунгарским

ханством, Монголией и Китаем, сообщал губернатору Сибири Ф.И. Соймонову о приграничной обстановке, излагал свои предложения о ведении приграничных дел сибирскому губернатору и в центральные органы власти.

19 октября 1764 г. — 250 лет назад — законом № 12269 была учреждена Иркутская губерния. Приехав в Иркутск 10 марта 1765 г., Фрауендорф 15 марта открыл губернские учреждения. В помощь губернатору были назначены два товарища (заместителя), секретарь, воевода с товарищем. Осмотрев город, губернатор сразу же принялся за его благоустройство. До Фрауендорфа Иркутск строился без плана, улицы были кривыми, дома и заборы нередко выходили на дорогу. Губернатор стремился их спрямить, руководил также чертёжной частью, был инициатором составления первого плана Иркутска, выполненного на математической основе в 1768 г. Помощники губернатора планировали прямолинейные улицы и кварталы. В городе впервые появились доски с указанием названий улиц.

Иркутский летописец говорит: «Он крепкою рукою принялся за устройство города, что жителям поначалу было в тягость, а после сами признали всё это за полезное». На плане города 1768 г., составленного по распоряжению и под наблюдением губернатора, впервые появилось изображение герба Иркутска, правда, ещё несколько примитивное. Официально герб был утверждён Екатериной II в 1790 г., а первый вариант его был, вероятно, составлен под руководством Фрауендорфа, который мог предварительно обсудить его с кем-то из столичных администраторов, возможно, даже только в устной форме.

Высоко оценивает деятельность Фрауендорфа его современник — замечательный иркутский архитектор, геодезист, краевед А.И. Лосев⁴. Он отмечает, что губернатор занимался с учениками Иркутской навигацкой школы, прекрасно знал математику, вёл занятия по картографии, фортификации, архитектуре. За короткий срок своей деятельности в Иркутске он добился многого: укрепил границу с Китаем, создавая постоянные казачьи поселения, стремился приобщить бурят к земледелию, уравнивал подати, взымавшиеся с коренного населения. Меньше стало при нём грабежей и разбоев. Умер Фрауендорф 2 января 1767 г., а 16 января был похоронен.

Необходимо отметить, что императоры не доверяли сибирякам высших постов. Ни один из иркутских губернаторов не был сибиряком. Практически все они, выйдя в отставку, возвращались в столицу или губернии Европейской России, доживая там последние годы чаще всего в качестве сенаторов. К.Л. фон Фрауендорф — единственный иркутский губернатор, который похоронен в нашем городе и которому необходимо поставить памятник. Из дореволюционных губернаторов ещё один, М.М. Арсеньев (1786–1791), погребён в Иркутске, в ограде Тихвинской церкви, но он ничем особым себя не проявил, да и могилу его найти сложно...

На плане города XVIII в. немецкое кладбище изображено в виде квадрата со стороною примерно в 40–50 м. Западная сторона его стены идёт почти параллельно стене Крестовской церкви и отстоит от нее на 30 м. В центре кладбища видно какое-то строение; очевидно, это и есть располагавшаяся на нём часовня. Немецкое кладбище зафиксировано и на планах города 1829, 1868 гг.



Улица Ленина. 60-е гг. XX в.

Имеются фотографии начала XX в., на которых видна каменная стена, окружавшая кладбище. Судя по фотографии, кладбище тогда было совсем небольшим. Оно вряд ли имело площадь более 15–20 кв. м. В 1908 г. находилось в ограде, высота которой составляла 2,5 м.

В справочнике об Иркутске 1909 г. об этом кладбище сказано: «В ограде находятся семь могил, из которых одна не имеет надгробной плиты; три могилы имеют кирпичные каменные надстройки. Одна

могильная доска гласит, что под ней похоронен бригадир фон Линеман, умерший в 1736 г. На другой могиле памятник из камня песчаника со стёртой временем надписью, видно лишь число — 1741 г. На третьей доске хорошо сохранившаяся надпись: «1767 году иен-варя 2 пополудни 12 часу представился Господин Генерал-майор Иркутской Губернии Карл Лебано(онъ) Фраоаудендорф. Урождение Брадебуской нации с тамошнего шляхетства Ре-форматорского Закона. Который находился на Российской службе с 731 году с 15 дня...» дальше надпись неразборчива. Все могилы головами обращены на запад⁵.

С конца XVIII в. захоронения на кладбище были прекращены, лютеран стали хоронить на специальном участке открытого на горе Иерусалимского кладбища. В 1910 г., когда на старом кладбище ещё сохранялось 7 могил, иркутский губернатор П.К. Гран распорядился сломать его каменную ограду. В результате город лишился важного мемориального места, на котором ещё сохранялись надмогильные памятники 30–50-х гг. XVIII в. В 1931 г. кладбище было разорено, а на его месте разбили сквер.

В 1970-х гг. советские руководители решили, что в этом сквере следует поставить нечто монументальное. Там появился камень с надписью, что здесь будет воздвигнут памятник всем, кто завоевал, отстоял и укрепил советскую власть. Но тогда уже действовало отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, членам которого «дозволялось» иногда делать и критические замечания по поводу памятников. Автор этой статьи на одном из собраний заявил, что идея памятника слишком абстрактна, памятники принято посвящать конкретным событиям или личностям.

Прошло ещё время, и на том же месте возникла надпись о будущем памятнике декабристам. Одновременно «отцы города» сделали заказ московским скульпторам, и те спешно изготовили проект очередного «шедевра». Он почему-то представлял собой колокол, вокруг которого были расставлены фигуры сосланных декабристов. Однако на дворе стоял уже 1986 г., началась перестройка, и когда фотографии макета памятника опубликовали в местной газете, читатели были поражены. Участники научной конференции 1986 г. по истории Иркутска дружно обрушились на этот проект. Руководящие лица из Министерства культуры и местные начальники вынуждены были согласиться на проведение открытого конкурса на памятник, в результате чего первоначальный проект был забракован и памятник декабристам решили поставить около дома Волконского по проекту других авторов.

Незадолго до юбилея Иркутска (2011 г.) при участии автора статьи был подготовлен проект установки памятников города, в том числе и памятного знака на месте Лютеранского кладбища, с упоминанием на нём Л. Ланга и Ф.К. Фрауендорфа. Комиссия по городской топонимике и увековечению известных иркутян даже рассматривала эскиз этого памятного знака. Однако тогдашний председатель городской Думы А.Н. Лабыгин решил установить на этом месте скульптурное изображение бабра, хотя должен был бы знать, что на месте Лютеранского кладбища планируется постройка памятного знака, и что в уставе г. Иркутска не было указаний о том, что герб города может быть выполнен в трёхмерном варианте.

А.Н. Лабыгин распорядился установить эту скульптуру, несмотря на возражения многих специалистов. Против постройки «бабра» на этом месте высказалась комиссия по городской топонимике и увековечению известных иркутян при администрации Иркутска, областной министр культуры В.В. Барышников, президиум регионального отделения ВООПИК. Тем не менее скульптура была установлена в начале октября 2012 г. на территории бывшего кладбища.

10 октября 2012 г. несколько представителей общественности, в том числе религиозные деятели, обратились с открытым письмом к губернатору области, председателю Общественной палаты Иркутской области, мэру города с просьбой убрать «бабра» с места Лютеранского кладбища, но ответа не получили. Кстати, возмущение многих иркутян связано и с тем, что чрезмерно детально выполненная задняя часть чудовища обращена в сторону расположенной чуть выше Крестовоздвиженской церкви, церкви, которая упоминается даже в учебниках по истории архитектуры.

В июне 2013 г. автор данной статьи отправил запрос на имя председателя Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации с просьбой «дать оценку ге-

ральдической ситуации, сложившейся в г. Иркутске». 16 сентября 2013 г. был подписан ответ Государственного герольдмейстера Г.В. Виленбахова на моё обращение. В нём, в частности, сказано: «Другое дело, что памятник установлен на территории бывшего кладбища — это (безотносительно к сути данного конкретного памятника) факт глубоко при- скорбный и печальный. К сожалению, презрительное отношение к кладбищам, их безоб- разное содержание, уничтожение с последней застройкой (в том числе и оскверняющей память похороненных), унаследованное нами из советской традиции, является сегодня болезнью, широко распространённой по всей России».

Таким образом, Государственный герольдмейстер осуждает факт установки «бабра» на месте кладбища. Поэтому следовало бы убрать эту скульптуру за счёт бывшего пред- седателя городской Думы, привести это место в порядок и поставить там памятный знак, обязательно отметив в тексте его Л. Ланга и Ф. Фрауендорфа.

Если на этот вариант нынешнее руководство области и города не пойдёт, то остаётся тот вариант, который предлагает Г.В. Виленбахов: «Сопроводить «бабра» памятными зна- ками в честь погребённых». Думаю, что эти два памятных знака не должны находиться рядом с «бабром», а стоять ниже этой скульптуры, по углам сквера, и по объёмам не долж- ны быть мелкими, но сопоставимыми с «бабром».

¹Зиннер Э.П. *Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и учёных XVIII века. Иркутск, 1968. С. 5.*

²*Иркутская летопись (Летописи П.И. Пежемского и В.А. Кротова). Иркутск, 1911. С. 54.*

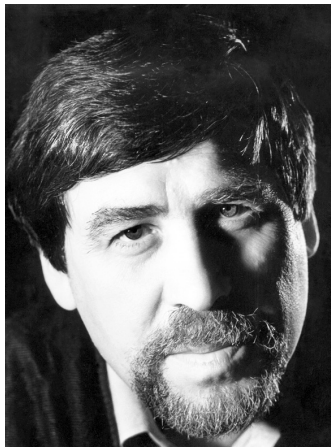
³О нём имеется обстоятельная статья С.А. Гурулёва «Первый иркутский губернатор» в жур- нале «Сибирь», 2010 г., № 3, с. 185–195.

⁴Лосев А.И. *Обозрение разных происшествий, до истории и древностей касающихся, в Иркут- ской губернии и в сопредельных странах бывших... // Летопись города Иркутска XVII–XIX вв. Ир- кутск, 1996. С. 197–199.*

⁵Чирков С.Н. *Иркутск в кармане : справочник 1908/09 г. Иркутск, 1908. С. 18.*



ВЛАДИМИР СКИФ



Байкальское Переделкино

Главы из книги

Александр Москвитин

В те давние времена, когда на байкальской даче жил Валентин Распутин, его часто навещали иркутские художники: Владимир Кузьмин, Анатолий Костовский, Владимир Тетенькин, Александр Москвитин. И рисовали этот исторический дом тоже очень многие живописцы: Анатолий Аносов, Лев Гимов, Сергей Прокопчук, Александр Чегодаев, геолог и художник Юра Беляев, мой сын Игорь Смирнов.

Саша Москвитин дом не рисовал, но дружил с Валентином Григорьевичем и приезжал к нему на дачу. Писал этюды, путешествовал по Кругобайкалке. Искал себя, манеру своего письма, собственную художественную стилистику. Наверно, не только Саша искал себя. Все мы были тогда молодые, подающие надежды, у каждого впереди была целая жизнь, а в начале — метания, эксперименты, творческие поиски. И все мы жили тогда верой в какое-то мистическое светлое будущее, хотя мы, собственно, уже были полны светом, ясным и неизбывным, — светом творчества и дружбы. Ничего удивительного не было в том, что общались и сердечно говорили друг с другом художники и писатели, артисты и музыканты, маститые и начинающие. Это были лучшие годы нашей жизни.

СКИФ Владимир (Смирнов Владимир Петрович), поэт (род. в 1945 г. в пос. Куйтун Иркутской обл.). Автор 22 книг: *«Зимняя мозаика»* (Иркутск, 1970); *«Журавлиная азбука»* (Иркутск, 1979); *«Живу печалью и надеждой»* (Иркутск, 1989); *«Копьё Пересвета»* (Иркутск, 1995); *«Над русским перепутьем»* (Иркутск, 1996); *«Золотая пора листопада»* (Иркутск, 2005); *«Письма современникам»* (Иркутск, 2005); *«Русский крест»* (М., 2008); *«Молчаливая воля небес»* (Иркутск, 2012); *«Все боли века я в себе ношу»* (Иркутск, 2013); перевод *«Слова о полку Игореве»* (М., 2014) и др. Член Союза писателей России. Секретарь Правления Союза писателей России. Член Приёмной коллегии Союза писателей России. Член редколлегии журнала «Подъём» (Воронеж). Зав. отделом поэзии журнала «Сибирь». Лауреат Международных премий им. П.П. Ершова (2009), «Имперская культура» им. Э.Ф. Володина (2014). Лауреат Всероссийских литературных премий «Белуха» им. Г.Д. Гребенщикова (2013), им. Николая Клюева (2014), премии «Российский писатель – 2014» за перевод «Слова о полку Игореве». Дважды лауреат Губернаторской премии (2010, 2011).



Александр Москвитин

Валентин Распутин, как и Саша Вампилов, вместе с другими, действительно, очень молодыми, талантливыми ровесниками уже получили первое признание на знаменитом Читинском семинаре в 1965 году. О Распутине заговорили в печати, на радио и телевидении, в нём увидели будущего выдающегося писателя. А пока он ещё только подходил к своим главным книгам. Валя купил дачу на Байкале, бродил по его берегам, собирал ягоды, грибы и золотил своим великим даром и необыкновенным чутьём писателя выверенные, глубокие, поразительные по внутренней чистоте и силе строки.

Тогда-то и появился в Порту Байкал Саша Москвитин и точно так же, как и Распутин, осенял байкальским светом и осеннею листвою свою кисть. Он очаровывался трепетом Байкала, наполнялся его животворной силой, размышлял на своих полотнах

сердцем, разумом и кистью, превращаясь в художника-философа, художника-целителя душ человеческих.

В 1978 году, когда Валентин Григорьевич подарил нам байкальский дом, и мы всей семьёй приехали на Байкал, к нам заглянул совсем юный, стройный художник. Познакомились. Это оказался Саша Москвитин. Мы долго сумерничали. Потом спустились к Байкалу. Саша говорил о себе, о своих мечтах и задумках:

— Хочу писать Байкал, а он меня спрашивает: «Ты кто такой? Я тебя не знаю». Как так сделать, чтобы Байкал тебя узнавал? — задумчиво спросил меня Саша.

— Наверно, с ним надо подружиться, — улыбаюсь я.

— Я и пытаюсь подружиться, беседую с ним, а он очень холоден со мной.

— Саша, я испытываю то же самое. Мы недавно здесь поселились. Вот учусь у Байкала размышлять и трудиться. Привыкаю к его размеренному ритму, чтобы выработать свой.

— Но у него всякий ритм бывает. Он ведь бывает и бешеным!

— Саша, тихо! Услышит.

Саша прижимает палец к губам и продолжает:

— Я хочу однажды написать такой Байкал, каким его видел протопоп Аввакум. Наверно, батюшка-Байкал был другим в то время. Его тогда меньше обижали.

— Кто его знает? Хочется думать, что Байкал не изменился, хотя меняются и природа, и человек. Но Байкалу-то двадцать с лишним миллионов лет! А нам отпущено так мизерно мало по сравнению с ним. И надо прожить это «мизерно мало» так, — я улыбнулся и продолжил совершенно серьёзно цитатой из Николая Островского: — «чтобы не было мучительно больно...»

— «...за бесцельно прожитые годы», — подхватил Москвитин. — А ведь хорошо сказал Павка Корчагин! — Саша повернулся к Байкалу, поклонился ему: — Прости, старик, за всё! Всех прости и нас — тоже!..

На другой день мы уехали с нашими гостями из Магнитогорска в Лимнологический институт, а Сашу оставили домовничать.

— Если я уйду на этюды, ключ положу в условленном месте, — сказал Саша и достал этюдник.

— Смотри, как тебе будет удобно, — и мы пошли на «Бабушкин».

Саша в этот день, видно, много рисовал, вернулся пообедать, потом оставил нам записку и ушёл на 102-й километр Кругобайкалки. В записке читаем:

«Володя и Женя! Вы очень славные ребята. С вами спокойно и радостно. Володя, пиши побольше стихов о Байкале, у тебя они получаются яркие, душевные, настоящие. Спасибо за всё: за ночлег (койко-место), за угощение, за радость общения. Сильно меня не ругайте! Я убегаю на 102-й писать мой Байкал. Я его люблю, он тоже поймёт меня и полюбит.

*Ваш Саша Москвитин
12 июля 1978 года»*

И ещё Саша любит байкальскую осень. Ему очень нравится наш дом, который находится в окружении берёз, тополей и лиственниц. Саша, бывало, стоит во дворе среди жёлтых деревьев, как будто внутри золотого колодца, смотрит вверх на янтарные листья берёз и тополей, на платиновую хвою лиственниц и кричит:

— Снова знойный листопад, я тебе безмерно рад!

И вот сегодня, 23 августа 2012 года, через 35 лет, прошедших с тех памятных времён нашей молодости, мы с женой оказались на Сашиной, естественно, не первой и не последней выставке. Я много знаю Сашиних работ и выставок, но эта выставка поразительна. Москвитин нашёл свой Байкал и, конечно же, он давно нашёл себя. Обрёл свою манеру, обрёл свой великолепный, достигающий до космических глубин голос. Байкал его слышит, Байкал его любит. Они подружились давно, да так, что стали родными друг другу.

И не только Байкал. Его любит и Волга, и Камчатка, и вся Россия. Москвитин — выдающийся художник, мистический, пронзительный, откровенный. Его слушают Байкал и космос, глубины и расстояния, ему внимают рыбы и звери, цветы и деревья, его видят краски и люди, с ним разговаривают волны и ветры. И он отвечает всем своими чувствами, своей сыновней любовью, потому что он живёт в своей великой стране и остаётся верным сыном своего Отечества.

Александр Москвитину

*На Байкале живу. Зреет жимолость,
И в жарках бродит жаркая кровь.
Я ценю твою жгучую живопись,
Твою жадную к жизни любовь.*

*Не тобой правят страсти жеманные,
Не с тобой — живописный плакат.
Жгут тебя твои краски желанные,
И жаровней пылает закат.*

*Жизнь гудит, как железное вариво,
Жутким пологом — времени высь.
А в тебе животворное зарево
Вместе с жертвенной кровью слились.*

*Твоя живопись жёстко-суровая,
Разжимает суставы широт,
Страждет веры, житейная, новая,
И обжугить себя не даёт.*

*Твоя живопись жадно-фартовая
В жерло космоса плещет огнём.
Из меня тянет жилы, и снова я
Чую в ней себя красным конём.*

*...А в лесах осыпается жимолость,
Жнёт Байкал золотые ветра.
Эй, Москвитин! Я жду твою живопись
В жёлтом, ярком колодце двора!*

2012

Галина Новикова

Дом Галины Новиковой расположился в пади Щёлка, самой узкой и самой экзотической. По осени, когда начинают золотиться берёзы и осины, а черёмуха и рябина багрянеть, падь Щёлка превращается в яркий, полыхающий кострами деревьев ковчег. Не отрываясь, смотришь на этот ковчег, и вдруг покажется, что он начинает всплывать в Байкал. Трепещут берёзы и осины, надуваются багряные шары черёмух и рябин, и ты вместе с ними под напором порывистого ветра сходишь со стапелей, как большой корабль. Но это только видение. Через минуту ветер прекращается, и снова падь Щёлка тебя манит в зенит своим сияющим верхотурьем.

Не зря, совсем не зря здесь поселилась Галя Новикова, одна из лучших, выдающихся художников Сибири. Таинственная, непостижимая на холстах, подвластная только её величеству кисти, неподдельно-искренняя в своих разных человеческих проявлениях, получающая что-то необъяснимо-вещное, тонкое от Божьей благодати и вживляющая эту



Галина Новикова. Автопортрет

благодать в полотна, она выбрала это место, как единственное на земле, так или иначе отвечающее её душе, духу её загадочной живописи, оставляющей в нашей памяти глубокие порезы.

В её домике всегда было и уютно, и тревожно. Уютно, потому что везде чувствовалась рука женщины, рука художника, умеющего поставить тот или этот предмет в нужное место, высветить тот или иной угол. И тревожно оттого, что здесь прятались сюжеты будущих картин, и они, будто бы призраки, маячили здесь и там, шептались между собой, а о чём? — не было слышно. Галя отмахивалась от них и вела нас в маленький пристрой, который она совсем недавно обиходила на деревенский лад, и там мы чаёвничали и говорили о мироздании и о Байкале, о творчестве и величии небес, о цветах и жестах души, о любви и поэзии.

Я показывал свой венок сонетов «Родина», написанный недавно на Байкале и принятый к печати в краснодарском журнале «Кубань». Галя меня

поздравляла и просила прочесть венок сонетов. Я читал венок, и мы потом долго молчали, размышляя о том, что с нами произошло на крутом повороте истории. Шёл испепеляющий страну 1992 год. Все мы ещё не представляли, что произойдёт с нами и со страной в ближайшем будущем.

Будущее неотвратимо приближалось, и оно готовилось нас раздавить — и художников, и писателей. А Байкал молчал. Он думал и молчал. Он уже знал о многом. Ведь его начали убивать ещё раньше. Уже не единожды над ним заносился дамоклов меч, ещё не один раз разнужданные властители будут вновь и вновь терзать его живое существо и забавляться смертельной игрой с ним.

Новиковой нравились мои стихи о Байкале, и особенно стихи 1983 года, которые я привожу ниже. Галя тоже не один раз бывала на БАМе, у неё есть цикл портретов строителей БАМа. Это живые слепки наших современников, много отдававших сил и молодых жизней, как тогда говорилось, «стройке века». Вековой стройки не получилось, но БАМ живёт, и его необходимость для северян очевидна.

Хотя в то переполненное эмоциями и страдающее бесконечными перегибами время я жёстко оценивал происходящее, и, несомненно, мои оценки были оправданными, поскольку за ними стояла битва за Байкал. Это было время борьбы, а какая борьба обходится без публицистики и прямого обращения к виновникам многих наших бед и поражений? Истинная, кровоточащая публицистика, как говорил Валентин Распутин, — «это душевная работа каждого, болеющего за свою Родину, писателя».

*Мне этот мир земной завещан
И этот воздух золотой.
Как чайка, вновь душа трепещет
Над зыбкой, зябкою водой.*

*Над лесом, над скалой отвесной,
Где ходит длинная волна,
Над голубой хрустальной бездной,
Она, действительно, — без дна!*

*Байкалу — двадцать миллионов
Крутых, покатых, звёздных лет...
Мы — дети стали и бетона,
Мы на его напали след.*

*Мы, словно гончие собаки,
Его зажали здесь и там:
На юге — трубы, яды, шлаки,
На севере — жестокий БАМ.*

*Байкал взывает, негодует,
Поцуды просит у земли,
Стеклянным смерчем протестует
И топит наши корабли.*

*Потом, расслабленный, в печали,
В упор разглядывает нас,
Моей тайги — глазной хрусталик,
Планеты совестливый глаз.*

У Гали на полотнах есть Байкал, есть незабудки Байкала. Такой удивительной, естественной красоты байкальских цветов, как на её полотнах, я не видел ни у кого. Галя будто бы перенесла кусочек живого неба на холст. Такими поразительными были её незабудки! Я видел это, я чувствовал их небесное происхождение. Да и не только я, а многие иркутяне, кто видел на Галиной выставке эти бессмертные незабудки.

В 1998 году после одной из моих встреч с незабываемыми незабудками я пришёл домой и написал стихи:

Незабудки

*Над Байкалом цветут незабудки
Отражением чистых небес,
Голубыми накрапами буйно
Расцвели мой утренний лес.*

*И Байкал, и гористое всполье
Оживают в объятьях весны.
Посреди голубого раздолья
Вижу я незабудкины сны.*

*Петухи мне сыграют побудку
В деревенской сырой тишине,
И пойду я искать незабудку,
Ту, которая снилась во сне.*

*Как она в поднебесье ныряла,
Указуя неведомый путь.
«Этот путь разыщи, — повторяла, —
И меня отыщи — не забудь!»*

*Будь летучим, бегучим, отважным,
И у мира на самом краю
Через годы увидишь однажды
Наяву незабудку свою».*

*Мне лететь над планетой жутко,
Открывая неведомый путь,
Но я слышу — кричит незабудка:
«Не забудь! Не забудь! Не забудь!»*

1998

При случае прочитал их Гале и сказал, что мои незабудки — ничто в сравнении с её незабудками. А она мне в ответ:

— Твои незабудки — это цветы любви. А мои незабудки — это незабудки печали. Они кричат о разлуке с небом. Потому что они вышли из неба.

— А ведь я так и думал. В них больше небесного, чем земного.

Галя часто ходила в окрестностях Порта Байкал и писала этюды. Ходила и на байкальские туннели и однажды пришла на 80-й километр Кругобайкалки, где на бывшей станции ещё живыми оставались старинные дома. Один из них, с **осенним иван-чаем**, она написала и подарила Валентину Распутину. А у меня в то время появилось грустное стихотворение, где я, бродя в окрестностях Порта Байкал, хрустел бело-пушистыми **лапками иван-чая**, уже свернувшимися в кучерявые скобки, такими же, как на Галиной картине:

*Иду по осенним последним цветам,
По лапкам сухим иван-чая,
По жухлой траве, по истекшим годам,
Потери свои различая.*

*За мной не одна продвигается тень.
Теней, как деревьев, — меньше...
И тени за мною следят целый день
Глазами покинутых женщин.*

*Они молчаливы. Я тоже молчу,
Ступаю, прощенья не чая,
Послушно тяжёлые тени влачу
По лапкам сухим иван-чая.*

*От них не избавиться, их не предать,
Я отдан им всем безраздельно,
Мне с ними, наверное, век коротать
И помнить о каждой отдельно...*

А потом я вычитал в стихах моего друга детства и юности Владислава Панкина удивительную строчку про **иван-чай**, очень близкую моему осеннему настроению и тому неповторимому пейзажу, увиденному мной на картине Галины: «**как подкосились лапки иван-чая**».

Тогда же я подумал: как в мире всё смыкается, как нанизывается одно на другое — и мысль, и поэтический образ, и живописное полотно. Владислав Панкин с несовершенными, но такими искренними стихами, его горькое безрадостное бытование, его странный,

неожиданный уход из жизни, Галина Новикова и её творчество — нерасторжимые части моего поэтического мира, где всё существует в неразрывной связи со мной и окружающим меня миром.

Галине Новиковой

*Кто ты, Галя? Ты — неба загадка
Или образ волнений земных?
Не твоя ли живая подглядка
Стала тайной полотен твоих?*

*Ты средь кружесв и раковин моря,
Посреди оживающих рыб
Создашь этот мир аллегорий,
Эту музыку облачных глыб.*

*Ты сама изошла из атлантов,
Постигая течение времён,
Где темнеют ларцы фолиантов
И сбывается бабушкин сон.*

*Твои тайны раскроют не скоро,
Не поймут твою жизнь до конца
Три идущих друг в друга актёра
Или три уходящих лица.*

*На Байкале у старого дома,
На высокой скалистой тоске
Ты являешься неким фантомом
С колонковой кистью в руке.*

*В пади Щёлка, твой след различая,
Ожидает тебя у ручья
Покосившийся свет иван-чая,
Как земная загадка твоя...*

1995, 2009

Анатолий Аносов

Мне посчастливилось много раз встречаться на Байкале с блистательным русским художником Анатолием Аносовым. Он живёт там же, в пади Щёлка, где жила Галя Новикова, его дом расположился почти в самом низу распадка, а двор всегда полон лесных цветов. Во дворе у Анатолия цветут таёжные жарки и живут колокольчики — огромный куст колокольчиков! И ещё живут маки. Все они счастливы, потому что их жизнь бесконечна, ведь они потом перемещаются на холсты.

Аносов часто приглашает нас на свои байкальские вернисажи и показывает работы, написанные минувшим летом. Я очень люблю его натюрморты. Это, например, букет созревших, уже собравших себя в прочные коробочки маков, это головки крупного репчатого лука и грибы, это плоские, широкие головы подсолнухов и молодые оковалки живой репы.

А какие он пишет натюрморты с цветами! Здесь и белая, махрово цветущая черёмуха, король-бадан и царевна-пижма. А сирень? Глядите, вот они, свисающие с холста, как фиолетовый пчелиный рой, кисти сирени! А вот, живущие высоко на скалах ярко-красные саранки. А багульник? Это чудо Байкала пишут многие художники. Но у Аносова какой-то особенный багульник, он не просто живой, он каждым своим лепестком ищет твоего взгляда и как будто говорит: «А художник-то молодец, посмотрите, как он меня любит!»

Не тогда ли, после первых встреч с Аносовым были написаны эти стихи:

*Саранки красной завиточки,
Как запятые в той строке,
Что не дописана до точки:
Оборвалась на завитке.*

*В печать поэт готовил гранки,
И вдруг в укромный кабинет
Из леса принесли саранки —
Природой созданный сонет.*

*Остановилась правка... Странно!
Вон там, где вынута строка,
Помещена теперь саранка!
И снова — целая река*

*Кроваво-красных, точно ранки,
Взамен стихов болят, горят...
И не стихи уже... саранки
Высоким слогом говорят.*



Анатолий Аносов

У Аносова мы часто бываем с детьми и внуками. Они радуются за цветы, которые продолжают свою короткую жизнь на холстах, они удивляются той волшебной красоте, перенесённой красками на картины. И эта красота, это очарование живописи после общения с художником и его живыми произведениями ещё долго-долго не уходят из нашей памяти.

Аносов — художник многогранный, он живописец и график, он делает удивительные экслибрисы для иркутян — художников и писателей. Он книжный иллюстратор, и я помню, как Восточно-Сибирское книжное издательство заказало ему оформление моей книги стихов «Живу печалью и надеждой», и Толя замечательно оформил эту книгу. А ещё он подарил мне великолепный экслибрис, где изображены древнерусский шлем и колчан, наполненный ромашками и гусиным пером вместо

боевых стрел, так точно отвечающий духу многих моих стихов о России, об исторической связи прошлого с настоящим, где уже высвечивался будущий перевод великого памятника русской словесности «Слово о полку Игореве», который ныне вышел в Москве отдельной книгой. Теперь этот экслибрис стоит на книгах моей большой библиотеки и, конечно же, на книге «Поэтическое переложение Слова о полку Игореве».

У Анатолия Аносова в Порту Байкал в той же знаменитой пади Щёлка имеется небольшой дачный двор, огород в несколько грядок, сараюшка с сеновалом и дом, в котором он живёт, начиная с весны до поздней осени. Однажды я пришёл к нему в гости без предупреждения. Толи дома не оказалось, и я залез на сеновал. На Байкале ещё было прохладно, но майское солнце уже прогревало дворы и крыши домов, тащило за вихры молодую травку и накаляло малиновым жаром багульник. Стоял конец мая, уже во всю свою цветочную силу полыхали жарки и гудели колокольчики, набирали цвет столбики бадана. Было тепло в закутках и на сеновале. Я прилёг на прогретое сено и задремал. Никогда подобной радости и такого наслаждения от нежного байкальского тепла я не испытывал, разве что в детстве на нашем деревенском сеновале, где ночью в щели крыши протекала яркая звезда, а утром сквозь острый холодок сочилось солнечное тепло и прямо над головой умиротворённо ворковали голуби.



Анатолий Аносов.
Экслибрис Владимира Скифа

Наше байкальское братство на одной из выставок Аносова решило подарить ему велосипед. Толя ездил в Порту Байкал в магазин и на рыбалку на стареньком, выдавшем виды велосипеде (который зимой, кстати, у него был украден). Мы привезли велосипед прямо в музей, где открывалась выставка его живописи, книжной графики и экслибриса. Выставка, да ещё юбилейная, — это, конечно же, огромное, значимое событие для каждого художника, и Аносов именно здесь показал свой воистину многогранный талант.

Мы, байкальчане, все те, кто представляет байкальское Переделкино, были в полном сборе и вышли поздравлять юбиляра вместе с приготовленным ему велосипедом:

*Спеши к невиданным победам,
Живи для истинных побед.
Всегда дружи с велосипедом —
И будет рыба на обед!*

Анатолий Иванович был рад подарку и даже примерил его под себя, сев на железного коня.

— Теперь я пол-Ангары проеду и добуду лучшего «марсовика», — сказал он, радостно, по-мальчишески улыбаясь.

Анатолию Ивановичу я посвятил стихотворение в давнем 1976 году.

Утро на Байкале

Анатолию Аносову

*Звенели малахитовые травы,
С корнями вместе в небеса рвались.
И насекомых тучные оравы
Порхали, стрекотали и дрались.*

*Среди цветов оранжевых и белых
Сновали сотни пчёл и мотыльков.
Ты из лучей и радуг переспелых
Ваял полотна будущих веков.*

*Бурундуки качались на качелях,
И фехтовали клювами грачи.*

*Висело небо на байкальских елях,
И сети игл сушили кедрачи.*

*Ты человечьи сбрасывал оковы,
Ты перевоплощался. Ты летал,
Как мотыльки, как ласточки и совы,
Жарками и багулом расцветал.*

*Всё это было ощущеньем лета
С дождинками и пулями в крыле,
И всем, что нам отмерено на этой,
На сладкой и отравленной земле.*

1976

Николай Житков

С художниками, живущими на Байкале, очень удобно было общаться. Мы все жили в соседях и использовали один и тот же транспорт, одни и те же плавательные средства. Это, конечно, прежде всего, иркутский рейсовый автобус, а на Байкале — трудяга-теплоход «Бабушкин». Изредка кто-то из нас в летние месяцы добирался до места на теплоходе «Восход». Но «Восход» только в редких случаях заходил в порт «Байкал», а чаще напрямую летел в Листвянку, а потом — в посёлок Большие Коты. И только по договорённости с капитаном можно было причалить в порт «Байкал».

К слову сказать, это получалось не у всех. Но у меня получалось. Я дружил со всеми капитанами «Восходов»: и 75-ки, и 8-ки, и, конечно же, с замечательным капитаном «Кометы-15» Владимиром Вальковским, ходившим в Северобайкальск, а с капитаном теплохода «Иркутск» Гошей Веялко мы несколько раз путешествовали в бухту Песчаную. На 75-м «Восходе» работал мой хороший друг Виктор Спартакович Кошкарёв. Это о нём мои стихи:

На «Восходе»

Капитану

Виктору Спартаковичу Кошкарёву

*Вздымая брызги мелкой пылью,
Закусит удила «Восход» —
Над скосами подводных крыльев
Живая радуга взойдёт.*

*И замелькают лес и доли,
И ухнет осень, как сова,*

*Взмахнёт оранжевым подолом
Вослед летящая листва.*

*Смотрю на горную вершину,
Где зреет облако-сырец...
Ведёт Спартакович машину,
Как царь-девицу под венец.*

*То мчит под пологом тумана,
То, опускаясь на волне,
У камня старого — Шамана —
Заглянет в порт «Байкал» ко мне.*

*Порой прилепится к причалу,
Порой к «Зайсану» — на лету,*

*И снова мчится по Байкалу
Не в даль, а как бы — в высоту.*

*Гуднёт сиреной на прощанье,
Растает в дымке голубой...
Мы с ним — природные славяне,
Мы — с одинаковой судьбой.*

1997



Николай Житков

В Листвянке нас встречал наш любимый «Бабушкин», потому что кто бы на чём ни приехал, он терпеливо всех собирал и спешил в родимый порт. Теплоход «Бабушкин» встречается в стихах и картинах у многих поэтов и художников.

В 1984 году я написал стихи, наблюдая, как неизвестно куда, — неужто на небо? — угоняет байкальский лёд невозмутимая, распорочная Сарма, этот индевеющий на лету, холодный ветер, который в суровое преддверье может так раздвигаться, что от него спасаются бегством моторные лодки и даже теплоходы. Я

наблюдал, как справляется со своей работой Сарма и как после исчезнувших в неведомом пространстве белых туманных льдин расстилает предо мной своё неизмеримо-широкое, глубинно-голубое сияние Байкал, как звенит и успокаивается волна, а Сарма уходит отдыхать в свои расколотые землетрясениями распадки.

Весна на Байкале

*Сухой пырей и жёсткий вереск
Освободил апрельский снег.
Уходит хариус на нерест,
Природа делает разбег.*

*Трава является помалу,
Чтоб на пригорках зеленеть.
Идти опасно по Байкалу,
Небезопасно льдом звенеть.*

*Сарма из тёмного распадка
Летит над зеркалом воды.*

*За три часа! Куда?
Загадка! Ушли таинственные льды.*

*Проснулось солнце рано-рано,
Блеснули стёклами дома.
Под мышкою Хамар-Дабана
Заснула дикая Сарма.*

*Легко пульсирует аорта
Кристально-чистой Ангары,
И вышел «Бабушкин» из порта,
И птички грянули пирры.*

1984

Я читал эти стихи Коле Житкову у себя на даче, и он, живо на них откликаясь, говорил:

— Вот ты написал эти стихи как художник, а мне всегда хочется осмыслить пейзаж и особенно Байкал поэтическим взглядом. Не всегда это удаётся, но я стремлюсь писать свои картины мыслящей кистью.

— Да, живописать стихи и поэтизировать картины, наверно, не просто, а хочется! Стремление написать увиденное таким, каким ты его схватил взглядом изначально, переместить в сознание и душу, облечь чувствами и мыслями, а потом доверить кисти или слову — вот задача художника, кто бы он ни был: поэт или живописец, — продолжаю я Колину мысль.

— Проще говоря, старайся найти и выразить себя. А свой стиль, свой голос, ой как



Николай Житков. «Женщины Байкала»

трудно отыскать! А вот кому легче в искусстве? Художнику или поэту? — вдруг озадачил меня Житков.

— Это вечный вопрос, — говорю я, — кому было легче писать музыку: Моцарту или Сальери?

— Конечно, Моцарту, — не задумываясь, отвечает Николай, — хотя и Сальери — тоже.

— Вот видишь! У каждого своя судьба, своя стезя. Есть мнение, что Моцарт писал легко, воздушно, без особых усилий. Отсюда пошло понятие о моцартианском стиле рабо-

ты. А в другом случае, когда художник пишет тяжело, изнурительно, беря и музу, и себя измором — этот стиль называют сальериевским. Вот Николай Гумилёв сочинял, как Моцарт, легко, молниеносно, на самой высокой точке вдохновения, а Валерий Брюсов писал трудно, «с одышкой», как будто шёл в гору. Даже Максим Горький сказал о нём, что Брюсов «вырыл свой талант тяжёлым заступом работы».

— Откуда ты всё знаешь! — удивился Житков. — Читаешь много, ты — молодец! А художники у нас малограмотные, мало читают. Я тоже, в этом смысле, не всегда бываю на высоте.

Мы с ним ещё долго философствуем обо всём на свете за бутылкой «Перцовки» и вечерним чаем. С Колей Житковым всегда спокойно и уютно говорить. Он любознателен, доверчив и, несомненно, талантлив. Он один из самых искренних и сердечных живописцев Иркутска.

Его дом расположился в самом конце посёлка Баранчик, справа через дорогу от местных жителей Каримовых.

Кстати, совсем недавно я познакомился с сыном Каримовых — Сашей или, если правильно, Шамилём. Нынче летом 2012 года умерла мать Шамиля, и он с сестрой Раем приехал в свой родительский дом на сороковины матери. На причале в порту «Байкал» мы и познакомились. Странно, что я с детьми Каримовых до сего дня не встречался, хотя со стариками был знаком и даже бывал у них в гостях. Дед Каримов водил меня по пышному огороду и с любовью говорил о каждом овоще, о каждой травинке, и чувствовалось, как он любит эту землю, этот распадок, Байкал, где проходила их не простая, но яркая, наполненная байкальским светом жизнь.

Шамиль трудится на авиационном заводе в Иркутске-II, и в последнее время не так часто срывается в родные пенаты. Он заядлый рыбак. Где он только не бывал, где он только не ловил сига, омуля и хариуса: на Ольхоне и в Давше, на Чивыркуе и ангарских плёсах, в Усть-Баргузине и Северобайкальске!

Его сестра Рая узнала меня на причале, сказав, что часто видела меня в телепередачах о писателях. Мы легко разговорились с ней и с Шамилём. Когда я понял, что они — те самые Каримовы, сразу стал вспоминать их стариков и Колю Житкова, потом достал книгу «Молчаливая воля небес» и прочитал стихи, которые я посвятил Житкову. Шамиль знал его и часто с ним общался. Он был настолько взволнован нашей встречей и стихами, что тут же бросился в свою машину и подарил мне великолепный охотничий нож. А я подписал две свои книги — ему и его сестре — в память нашей встречи и знакомства.

Житков умел мариновать грибы, причём делал всё это быстро, ловко, со знанием дела.

— Прежде всего, — говорил он мне, — надо набрать грибов. Потом очистить от мусора, помыть, отварить. Теперь мы готовим маринад.

Конечно, к этому времени, когда Житков начал преподавать мне свой «урок маринада», мы с ним уже набрали опять, пронесаясь, как ураган, по склону горы, упирающейся в небо прямо над его домом.

— Здесь и до Господа недалеко, — шучу я.

— А ты думаешь, почему я всегда с грибами? Боженька помогает.

И вправду, опять оказалось столько много, что можно было замариновать целую бочку. Мы набираем полные вёдра и садимся отдохнуть на перевале.

Осенний лес неповторим в своём последнем убранстве. Он ещё резво гудит и светится, но уже сквозь яркие краски проступает какая-то неистребимая печаль, от которой веет неясной тоской лесного одиночества. Берёзы ещё горят и соперничают с солнцем, черёмуха кровавится тёмно-багровой волной, и рябина ребрится узкими алыми листьями, но её полыхающая кровь как будто каменеет, ягоды уже сладки от мороза, и птицы всё чаще накатываются пернатым прибоем на её сизые стволы.

— Как я люблю такую осень! — грустно радуется Житков. — Она истинно байкальская, невыразимая. Подле неё надо молчать, сидеть и слушать падение листа.

Я некоторое время и вправду молчу, но тут же начинаю читать стихи:

*Байкальский склон ещё пылает,
Но между алым, золотым,
Сквозь угли листьев проступает
Безлистных веток сизый дым.*

*От красных скал, как из камина,
Последним жаром полыхнёт —
И зонт коричневого тмина,
Рассыпав семечки, уснёт.*

*В таёжном мареве бездонном
Опушки светится окно.*

*И пахнет вереском зелёным,
Дремотным, терпким, как вино.*

*Стоят дружиной досточтимой
В плащах багряных дерева...
И, всё ж, предзимье оцутимо,
Сгорает осень, как дрова.*

*Пустеют берега и доли,
В полёт готовится Сарма.
Из черноты её подола
Дохнула холодом зима.*

Житков с минуту молчит, потом просит читать ещё. И мне самому хочется наслаждаться осенью и музыкой слова, хочется читать, потому что меня слушают лес и художник. Они понимают стихи, они сливаются в единое целое, и мне это чувствовать необходимо.

*Ещё шиповника кусты
И зелены, и кучерявы,
Но еле теплятся цветы
И зори темные кровавы.*

*Ещё качает колыбель
Из паутинок ветер-странник,
Но стелет снежную постель
Октябрь на Хамар-Дабане.*

*Ещё является трава
И птица крылышком трепещет,
Но баргузина булава
По золотистым скалам хлещет.*

*Ещё черёмуховый лист
На сизой ветке багровеет,
А небосвод Господний чист
И с высоты предзимьем веет.*

— Боже мой! Как хорошо, что мы пошли с тобой за опятами. Нигде, наверно, так выразительно не звучат стихи, как здесь, — говорит Житков, и я ему согласно киваю.

*Пожелтели поля и пожухли,
В небе гуси построились в ряд,
Но берёзы ещё не потухли,
Словно белые свечи горят.*

*Стало сыро и голо, и пусто
Посреди обнажённых ветвей.
Осыпаются листья и чувства,
Запер лето на ключ муравей.*

*Грусть осенняя непостижима!
Скоро выстелет землю Покров.
Полетит белый веер снежинок
Из высоких Господних миров.*

*Улетают последние птицы,
Ты глядишь в опустевшую даль,
И в глазах у тебя золотится
Отгоревшего лета печаль.*

— Слушай! — восклицает Коля, говоря быстро, будто запыхавшись. — Это же чудо, а не стихи. Как это всё можно увидеть и написать? А про муравья? Это же здорово: «Запер лето на ключ муравей...» — волнуется Житков. — Ну-ка прочитай ещё раз!

И я повторяю стихи.

— Кстати, Коля, не один ты отметил муравья, — я вдруг вспоминаю ленинградского

поэта Николая Рачкова. — Твой тёзка, Николай Рачков, поэт из города Тосно, «звонкий жаворонок России», как назвал его русский поэт Виктор Боков, написал мне в письме: «Володя, какое это художественное чудо — «запер лето на ключ муравей!»

— Да, он прав. Давай ещё что-нибудь.

— Коля, хватит уже! Идём опять мариновать, — протестую я.

— Ещё одно! — голосит Житков.

И я снова читаю об осени:

*Стихи в старинную тетрадь
Записывать, как струйки мёда
Вкушать. Не тишится и не лгать,
И у скрипучего комода
Стоять и со стекла стирать
Пыльцу от бабочки умершей,
Твоё сознание сумевшей
К себе, умершей, приковать.
И самого себя позвать
Уйти в поля, уединиться,*

*Текучих мыслей не сбивать,
Летучих листьев не срывать
И горькой осенью упиться.
Поля пусты.
Кусты черёмух
В небесных видятся проёмах,
Их из пространства не убрать,
Не отпустить из глаз навеки,
И, как стихи, сырые ветки
Вписать в старинную тетрадь.*

Наконец, мы спускаемся с горы, и Коля ошарашивает меня магией маринада для опять:

— Так, слушай меня внимательно. Берём лавровый лист, гвоздику, душистый перец-горошек, струганую корицу, перец-горошек простой, соль, чуть-чуть сахара... А в конце варки — махонькая ложечка уксуса...

— Коля, стоп! Не тараторь. Это как и по сколько чего класть?

— А тут должна работать интуиция.

— Какая интуиция? Я первый раз маринад делаю.

— Хорошо! — смилостивился Житков. — Я тебе примерно всё распишу. — И он снова засуетился над электроплиткой, где уже в духмяном маринаде варились-томились желанные опять...

И вот стихи, которые я посвятил Николаю Житкову, вспоминая, как мы бродили с ним по байкальской осени, а теперь уже не побродим.

Николаю Житкову

*Порт Байкал. Житкова дача.
Дом. Поленица. Навес.
С ним сойдемся, посудачим
И пойдем в соседний лес.*

*Осень дивная такая,
У синиц свои пиры.
Куст боярки полыхает
И — черёмухи шары.*

*Пахнет вереском и мятой
У Житкова на яру.
Мы идём с ним по опять,
Разбегаемся в бору.*

*По горе снуём, как лоси,
В листьях с маковки до пят.*

*В наши вёдра краля-осень
Набросала нам опять.*

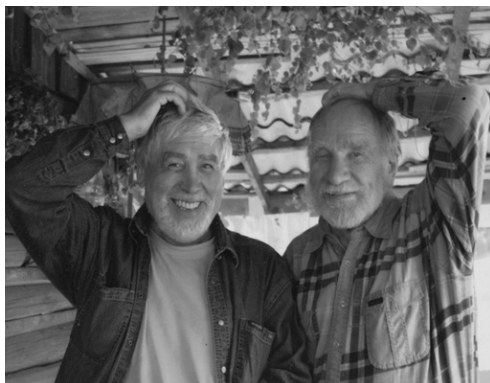
*Сядем выпить возле ёлки:
Объясняет мне Житков,
Как готовить для засолки
Чудо чудное грибков.*

*А потом идёт к картинам —
Тем, что летом написал.
Вот горшки висят над тыном.
Осень. Улица. Байкал.*

*Кружат чайки или утки...
И сидит средь мужиков
Шебутной, весёлый, чуткий
Дачный мой сосед Житков.*

2004

Лев Гимов



Владимир Скиф и Лев Гимов

С семьёй Лёвы Гимова мы дружны очень давно. Может быть, побывав у нас на даче, они загорелись идеей приобрести жилище на Байкале. И такая возможность представилась. Наш портовский знакомый Миша Зайцев поведал нам о том, что в пади Чайка будет продаваться дом, и Лена с Лёвой тут же примчались на Байкал и вскоре купили замечательный деревенский дом, где и поныне живут, радушно принимают многочисленных гостей, проводят Лёвины вернисажи и просто посиделки за чаем, булочками и пирогами. Лена — великая мастерица, кулинарка необыкновенная. И мы её изделий вкусили сполна.

Помню, как впервые пришли мы всей семьёй в гости к Гимовым, и Лена накрыла стол, где среди огурцов, помидоров, стряпни красовалась тёмная банка с потёртой этикеткой, на которой было написано «Клубничный конфитюр». Лёва взял банку и говорит:

— Смотри, Скиф, в каком году был сделан этот конфитюр!

Я осмотрел банку и увидел, как говорится, «год издания» этого джема, или конфитюра — 1956!

— Как! И с тех пор его не могли съесть? Это же стратегические запасы! Откуда взяли?

— В подполье у бабушки Нецветаевой, которая здесь жила.

— Ух, ты! Да ещё фамилия какая — Нецветаева!

— У вас, поэтов, есть Цветаева, а у нас — Нецветаева, — пошутила Лена.

— Ну, что, Скиф, открываем, — Лёва подаёт мне нож.

— А если мы все отравимся? Может быть, его уже нельзя есть, — резонно заметила моя жена.

— Ладно, вызываю огонь на себя! — я поддеваю крышку и открываю историческую банку с конфитюром. Беру чайную ложечку и буквально отламываю кусочек плотной клубничной массы. Пробую и кричу: — Великолепно! Ай да бабушка! Ай да Нецветаева! Да нет же! Она — Цветаева!

— А ты знаешь, Володя, сколько нам всяких любопытных вещей досталось в наследство, — говорит Лена. — Разные старинные безделушки, шкафы и стулья, уюги и даже дореволюционное издание Льва Толстого.

— Гвозди и инструменты: буровчики, ножовки, топоры, — подключается Лёва, — так что мы не только дом купили, но и приложение к нему.

Пока мы пили чай, вели разговоры о доме, наши юные создания Даша и Саша и гимовские мальчишки Юра и Серёжа уже были во дворе, а там всей командой взлетели на сарай, почти до отказа набитый душистым сеном. Мы вышли во двор. Над миром сияло ещё горячее осеннее солнце, справа видимым краешком голубел Байкал, а вокруг нас, почти смыкаясь своими краями в небесах, зияло золотое жерло распадка. Лес пламенел и, казалось, убегал к солнцу, становясь его лучами. Тогда же в 1996 году мною были написаны эти стихи:

*Мы на природе — первородней,
Мы даже видим, как с небес
На нас струится свет Господний
И на распадок, и на лес.*

*Нагрелись дачные оконца...
Вдоль по завалинке с утра*

*Топочет лучиками солнце,
Как будто наша детвора.*

*В клубочек скатываю лето,
Смотрю — у Гимовых в окне
Горят осенние букеты,
По сути — родственные мне.*

*Цветов изменчивые лица
Душа внимательная зрит.
Мне кажется — тысячелистник
Вот-вот со мной заговорит.*

*Черёмуха забьёт в ладоши,
И с нею — хрупкая сирень...*

*Но тут появится художник
И обомлеет у дверей.*

*Потом из красок солнце выжмет
И лёгкой кистью на холсте
Изобразит бадан и пижму
В живой и вечной красоте.*

Как-то Лев Гимов решил написать мой портрет. Я сел ему позировать на ближнем огороде, рядом с нашей баней. Оттуда открывался замечательный вид на Байкал — на 80-й километр и далее на Толстый мыс. Я надел обычную, уже выдавшую виды штормовку и сел в поворот к Байкалу. Лёва работал недолго, часа два. Это был первый подмалёвок, но схожесть с оригиналом была схвачена, и сырой этюд я повесил на стенку в кухне. День стоял пасмурный, и вид Байкала, да и мой вид оказались очень уж суровыми, таким Лёва Гимов и написал меня — довольно задумчивым, даже угрюмым.

Часто гости шутят надо мной:

— Да, Скиф, ты здесь какой-то мрачный. Видно, жизнь трудная. Лодка не смолёная, омуль ушёл на Чивыркуй.

— «Крокодил не ловится, не растёт кокос», — добавляет кто-то из гостей. — Какие тут стихи?

Почему-то к портрету мы с Лёвой больше не вернулись, и он висит у нас на даче уже семнадцать лет...

Хотя Лёва работает в летние месяцы особенно продуктивно. Бывает, мы приходим на очередной вернисаж и видим, что вся глухая стена дома сверху до низу завешана новыми картинами. Здесь и портреты, и натюрморты, и разного вида пейзажи. Вот только что пойманный омуль горкой, вот корзина с брусникой или грибами, здесь кусты оранжевой пижмы, курильского чая, а там сочно-зелёный бадан и белоснежная ромашка.

На Байкале к Лёве пришла идея написать триптих, то есть создать целую галерею портретов иркутских писателей. Центральная часть — это «иркутская стенка»: писатели, которые полным ходом вошли в русскую литературу, как корабли, идущие кильватером: Валентин Распутин, Александр Вампилов, Геннадий Машкин, Глеб Пакулов, Альберт Гурулёв, Вячеслав Шугаев, Владимир Жемчужников, Сергей Иоффе, Евгений Суворов и среди них наш бард Валерий Стуков, имя которому Аличек. Без Алика Стукова не обходилась ни одна компания. Его любили Распутин и Вампилов, с ним неразлучно дружил Геннадий Машкин — все те, кто создавал великую сибирскую литературу. Алик выступал наравне с писателями в разных аудиториях, ездил во всевозможные писательские командировки.

На левой части триптиха изображены: выдающийся писатель и главный редактор журнала «Москва» Леонид Бородин; автор замечательных военных повестей «Раны», «Выздоровление», «Гарусный платок», «Последняя огневая» Алексей Зверев; известный в стране писатель, лауреат Большой литературной премии Ким Балков; критик, острый полемист, бывший заведующий кафедрой отделения журналистики Иркутского госуниверситета Павел Забелин; писатель лирически-чистого, проникновенного слова Александр Семёнов; ныне известный всей России своим сибирским корневым языком, тоже лауреат Большой литературной премии Анатолий Байборodin; брат Байкала и летящих над ним кораблей, писатель и моряк Валерий Нефедьев; суровый прозаик со своей приключенческо-криминальной темой Владимир Карнаухов и художник Анатолий Костовский.

На правой части триптиха Лев Гимов собрал в одну компанию поэтов Иркутска. Здесь могучий талантом и ростом Ростислав Филиппов; пишущий прекрасные стихи и незаурядную прозу, этакий перебежчик из лагеря поэзии в лагерь прозы, блистательный поэт Анатолий Горбунов; сочинитель великолепных детских книг и особенно последней книги «Лесная азбука», выпущенной в свет издателем Аркадием Елфимовым, и автор удивительной поэмы «Мачеха» Михаил Трофимов; Народный поэт Бурятии Андрей Румянцев; поэты Владимир Скиф, Виктор Соколов, Василий Козлов, Борис Архипкин.

Лёва проявил себя и как писатель-мемуарист. В 2008 году он издал книгу «Записки

художника», в которой рассказал о своей жизни, о становлении живописца, о своих учителях и учениках, о съёмках в Иркутске и на Байкале кинофильма «Звезда пленительного счастья», в котором он принимал участие как статист, игравший одного из арестантов. Вот как вспоминает об этом сам Лев Борисович: «В конце 1981 года Иркутский областной художественный музей организовал очередную выставку «Декабристы в изобразительном искусстве». На ней я последний раз выставил свои офорты и начинал работать над темой декабристов в технике масляной живописи. Начал с того, что во время летней практики водил студентов на места, связанные с декабристами. До этого два моих воспитанника Осипов и Чутков делали дипломы тоже по теме декабристов. Позднее, в последнем моём выпуске Оля Кудинова тоже представила графические листы на эту тему. Я работал вместе со своими учениками. Начал разрабатывать эскизы картин «Жёны приехали», «Пётр Муханов». Эскиз «Жёны приехали» делал по материалам, которые собирал во время съёмок фильма «Звезда пленительного счастья». А дело было так.

Приходит в училище женищина — помощник режиссёра и вызывает меня (кто направил её ко мне, не знаю).

— Снимаем в Иркутске и на Байкале фильм о декабристах. Не хотели бы принять участие?

Поговорили накоротке. Вместе со мной ещё снимались из моей группы Виктор Петров и Саша Яковлев. Познакомился с художником-постановщиком Валерием Костриным. Оказывается, мы вместе с ним поступали в один и тот же год во ВГИК. Принёс и показал ему свои офорты. Один из них он использовал для съёмок сцены казни декабристов. Лист «Марсельеза» (правая часть триптиха «Декабристы») своеобразно использовалась режиссёром Мотылём в съёмках свадьбы Анненкова, где после свадьбы и драки Полина Гебль поёт «Марсельезу».

Мы трое пошли к стадиону «Труд» (я, Петров, Яковлев). Нас одели, заковали в кандалы. Потребовались возчики, и — меня послали переодеваться возчиком, но мне очень хотелось быть именно декабристом, и художник по костюмам выгнала меня из комнаты. Возчиком нарядили Сашу Яковлева. Повезли в автобусе на Байкал. Там в одной из падей сделали выгородку дома Волконской и часть Читинского острога, на фоне которого должны были сниматься мы.

— А можно рисовать всё это?

— Конечно, это никому не возбраняется.

Я рисовал и острог, и дом Волконской, и натурщиков в костюмах. Меня попросили переодеться «поцивильней». Там встретился с Ириной Купченко. Она ко мне проявила интерес, скромно, но заинтересованно: уж не я ли буду её партнёром? Мне было смешно, но я себя не выдал.

Приехал Мотыль. Выстроил всех нас, статистов:

— Вы — первая телега, вы, вы и вы — вторая. Вас трое и вы — третья телега, запомните!

На третью телегу к Волконскому попал Олег Стриженев. Ещё только начинали снимать фильм, Стриженев приболел, и его были вынуждены заменить Михаилом Казаковым. Казаков сделал что-то не то, и тогда снова вернулись к Стриженеву. Фильм был на грани срыва и чтобы он все-таки состоялся, главный акцент сделали не на Волконском, а на судьбе Анненкова, которого сыграл молодой Игорь Костолевский, а Полину Гебль — польская кинозвезда Эва Шиккульска.

Я попал на четвёртую телегу вместе с Кюхельбекером, которого играл племянник артиста Меркурьева (по профессии преподаватель детской музыкальной школы). Расселись по телегам (должны были быть сани, но саней столько не нашли и заменили телегами). Телеги тряслись, и нам было очень неудобно, но зато мы отвлекались от мысли, что нас снимают, и получилось всё естественно. Вите Петрову надели на палец кольцо из меди, которое он потом не отдал и оставил себе на память. К тому же его убрали с третьей телеги:

— Слишком похож на Стриженова в фильме «Овод»!

Мотыль показывает на меня:

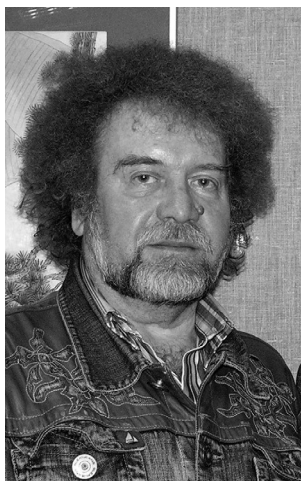
— Этого оденьте поцивильней.

Сняли шинель, дали какую-то накидку с длинным чёрным шарфом. Сам Мотыль заменил арестантский колпак на шапочку, отделанную мехом.

Петрова перевели на нашу телегу. Затем меня попросили сняться в фургоне. Сняли эпизод — и меня снова на телегу... Короче говоря, только на третий день снимали свадьбу Анненкова. Я в группе людей стоял на крыльце.

Вокруг нас крутилось много любопытных, особенно среди тех, кто красиво одет. У одного статиста в форме кавалергарда постоянно брали автографы. Конечно, в свободное время мы валяли дурака. Я, правда, кое-что рисовал...»

Александр Чегодаев



Александр Чегодаев

Знаю, что великолепный художник-портретист Саша Чегодаев не жил в Порту Байкал, но его мама Вера Андриановна проживала здесь до 12 лет, и поэтому для Саши этот живописный край тоже стал родным. Саша часто бывает в Порту Байкал один, но неоднократно бывал и со своей мамой. Нынче ей 91 год, и мы часто разговариваем с ней по телефону. Голос у неё молодой, прямо девический, и она рассказывает мне про Порт Байкал и про местных жителей, про домик Распутина и кому он раньше принадлежал. А Саша приезжает в Порт Байкал на этюды. А недавно он задумал снять фильм о Владимире Гуркине, известном драматурге, написавшем знаменитую теперь пьесу «Любовь и голуби», по которой был снят одноимённый фильм, вошедший в золотую сокровищницу русского кинематографа.

Мы с женой рассказывали Саше Чегодаеву, как Гуркин побывал у нас на даче с друзьями и маленькой дочерью Катей, часто вспоминал эту поездку на Байкал, удивительную, яркую осень, которая тогда случилась на его берегах, и всякий раз рвался приехать к нам в гости. Саша, снимая фильм, встречается с его друзьями, берёт интервью, рассказывает об Иркутске, где Гуркин учился в театральном училище, и о городе Черемхово, где будущий драматург жил и босым мальчишкой бегал по черемховским улицам.

Мне всегда кажется удивительным тот факт, что небольшой провинциальный шахтёрский городок стал городом трёх драматургов. В Черемховском роддоме учительница из Аларского района Иркутской области, из деревни Кутулик, Анастасия Прокопьевна Копылова, родила будущего великого драматурга Александра Вампилова. Саша рос в Кутулике, начинал со стихов, а в 1958 году опубликовал в студенческой газете рассказ «Стечение обстоятельств» под псевдонимом *А. Санин*. Точно так же была названа и первая книга Вампилова и тоже под псевдонимом с предисловием иркутского поэта Петра Реутского. Первая большая пьеса «Прощание в июне» была написана в 1964 году, а уже к 1970 году она шла в восьми советских театрах. В 1965 году Вампилов пишет комедию «Старший сын», в 1968-м — «Утиную охоту», в 1971-м завершает драму «Прошлым летом в Чулимске». Кроме пьес, Вампилов написал около 70 рассказов, очерков, статей и фельетонов. Произведения автора выходили в свет более чем на двадцати иностранных языках.

В Черемхово в 1947 году родился и жил ещё один выдающийся драматург Михаил Ворфоломеев, который написал пьесы «Лето красное», «Святой и грешный», «Деревенская комедия», «Я подарю тебе любовь», «Приговор», «Солдаты», «Безумие» и другие, по семи пьесам поставлены кинофильмы. Михаил Ворфоломеев награжден Знаком Почета,

отмечен как лауреат премий Ивана Бунина и Михаила Булгакова и премии «Хрустальная Роза» имени драматурга Виктора Розова. Ворфоломеев умер в 2001 году.

Третий драматург, актёр и сценарист Владимир Гуркин родился в 1951 году в селе Васильево Пермской области. В Черемхово он жил с семилетнего возраста, поэтому этот город называл своей малой родиной. Владимир Павлович написал восемь пьес, это «Прибайкальская кадрили», «Плач в пригоршню», «Веселая вода печали», «Золотой человек» и другие. По-настоящему широкую известность Гуркину принесла пьеса «Любовь и голуби». К сожалению, Гуркина не стало в 2010 году, и он похоронен на Черемховском кладбище.

Нынче в Черемхово, теперь известном на всю России городе, во дворе местного драмтеатра благодарные черемховцы поставили памятник трём своим великим землякам, как это сделали москвичи во дворе так называемой «Табакерки» — театра, созданного актёром Олегом Табаковым. Только там Вампилов стоит с двумя другими драматургами — Виктором Розовым и Александром Володиным.

Не знаю, каким получится у Саши Чегодаева фильм, но то, что он прекрасный художник-портретист, это известно многим. Помню, как 17 января 2001 года в день рождения своей дочери Саши я пришёл к нему в мастерскую и он сказал мне, что хочет написать мой портрет. Я с радостью согласился, а потом написал об этом стихи:

*Года не надо укорачивать,
Чтоб жизнь тебя не обошла.
Стоит январь. Зима горячая
Метелью город обожгла.*

*Моя эпоха-бесприданница
Уже уходит на покой.
Метель пылает и глотается
Незамёрзающей рекой.*

*Лет новых будет череда ещё —
Всё ближе к Страшному Суду.
Но нынче к Саше Чегодаеву,
Забыв печали, я иду.*

*В искусстве — люди заполошные.
Таких, как Саша, — меньшинство.*

*Какой-то мудростью волошинской,
Покою веет от него.*

*В нём ровный свет и тайна в голосе:
Вот-вот раздастся птичья трель.
И вместо шапки реют волосы,
Хотя Сибирь — не Коктебель.*

*Я свет искусства зрел воочию,
То Сашин свет меня объял.
Он в День рожденья моей дочери
Прескромный образ мой ваял.*

*Здесь надо ставить многоточие...
Смотрите: дышит чистый лист.
Вставайте срочно к Саше в очередь —
Он самый лучший портретист!*

Александр Шелтунов

Впервые Александр Шелтунов появился у нас на даче в один из лучезарных летних дней вместе с другими иркутскими художниками — Львом Гимовым, Сашей Шипициным и Анатолием Аносовым. Весёлой, экзотической компанией они ввалились к нам во двор с этюдниками, рюкзаками и зонтами, а кое-кто ещё и с удочками. Художники в этот день договорились с капитаном частного катера, который собирался их увезти на 80-й километр Кругобайкалки на пленэр. Гости были шустрые, неожиданные, и, тем не менее, моя жена как будто вправду их ждала: у неё был приготовлен медовый торт и круглый свежий хлеб, который она научилась печь по рецептам знаменитого русского кулинара Вильяма Васильевича Похлёбкина.

Водку художники при себе имели, а к водке я достал омуль собственного посола, который я сам очень люблю и умею солить. В невысокий деревянный ящик я насыпаю крупную соль и туда рядами укладываю непотрошённый омуль. Он лежит три дня, впитывает в



Александр Шелтунов

себя столько соли, сколько ему надо, как говорят байкальцы, — томится в собственном соку. Такой посол называется «культурка».

Достал я омуль-культурку, почистил его, нарезал крупными, смачными, тающими от жира кусками, да со свежим домашним хлебом, да под водочку — это было что-то необыкновенное! А когда завершили трапезу и решили перейти к чаю, гости вдруг решили покурить, а Саша Шелтунов не курил и с удовольствием принялся за торт. Он ему так понравился, что когда остальные вернулись с улицы, на тарелке сиротливо ютился маленький кусочек.

— Саша, ты же такой худой, — сказал Аносов, — как в тебя столько входит?

— А я вас догоняю, — не смутился Саша, — художник должен выглядеть достойно, полновесно. А потом, я совершенно не заметил, как торт

растаял на тарелке. Женечка, ты так вкусно готовишь, что остановиться не было сил, — обратился Саша к моей жене. — Божественный торт!

— Да на здоровье! — ответила Евгения Ивановна. — Когда будете в Порту, обязательно заглядывайте к нам.

В этот день я со своими детьми отправился с художниками на прогулку. На 80-м мы осмотрели старинный дом, который рисовала Галя Новикова, на берегу сварили уху из нескольких хороших хайрюзков, которых успел поймать Толя Аносов, и к вечеру на этом же катере вернулись к себе на дачу, а художники остались жить на 80-м и рисовать Байкал.

Александр Шелтунову

*Меня твои сразили акварели,
Была в них грусть невысказанных снов.
Я повторял: « Неужто в самом деле
Вдыхал в них чудо Саша Шелтунов?!»*

*Меня твои омыли акварели,
Как свет любви, как вещая купель.
Хотелось жадно пребывать в купели,
Переходящей в тихую капель.*

*А эти всплески буйного Байкала
И эти пляски лодок! рыбаков!
Хотелось ткать из счастья покрывало,
Из синих волн и белых гребешков.*

*Оранжевых полотен многоцветье,
Стремленье красок выбиться из сил
Запечатлели целое столетье,
Которое — ты — в сердце пронесил.*

*Холсты, духовным смыслом наполняя,
Творил, как Бог свой глиняный замес,
Всего себя работой загоняя
До судорог, до лопнувших небес.*

*Твои старанья и распыл в работе
Нас многих потрясали до основ...
Ты у картин упал на полном взлёте
И в них остался, Саша Шелтунов.*

Год культуры. «Сияние России» - 2014



Жив дух, жива культура — выстоит держава

Гости праздника:

Николай Петрович Алешков — главный редактор журнала «Аргатак. Татарстан», поэт, автор десяти стихотворных сборников. Лауреат республиканской литературной премии им. Г.Р. Державина, Всероссийской литературной премии «Ладога» им. А. Прокофьева. Член Союза российских писателей (Набережные Челны).

Владимир Григорьевич Бондаренко — литературный критик, публицист, главный редактор газеты «День литературы». Автор книг «Непричёсанные мысли», «Пламенные революционеры. Три лика русского патриотизма», «Живи опасно», «Подлинная история лунного зайца», «Лермонтов» и др. Лауреат Большой литературной премии России (2004). Автор более десяти книг критики и публицистики. Член Союза писателей России (Москва).

Виктор Васильевич Буланичев — главный редактор журнала «Бийский вестник», исполнительный директор Демидовского фонда, музыкант, филолог, журналист, историк искусств, издатель, общественный деятель. Лауреат нескольких литературных премий. Член Союза писателей России (Бийск).

Сергей Николаевич Дмитриев — главный редактор издательства «Вече», автор идеи издания книг сибирских писателей; поэт, историк, фотохудожник. Автор книг «По свету с камерой и рифмой», «Лирика любви», «На Святом Афоне. Стихи русского паломника». Кандидат исторических наук, член Союза журналистов России и секретарь Союза писателей России (Москва).

Игорь Николаевич Тюленев — поэт, секретарь правления Союза писателей России. Автор книг «В родительском доме», «Огненная птица», «Небесная Россия», «Засекреченный рай» и др., всего — семнадцати сборников стихов. Лауреат многих литературных премий, в т. ч. Всесоюзного литературного конкурса им. Н. Островского, премии Союза писателей России «Традиция», Всероссийской литературной премии им. Л.К. Татьяничевой (Пермь).

Андрей Юрьевич Убогий — прозаик, эссеист, литературовед. Сын писателя Юрия Убогого. Практикующий врач. Автор книг прозы «Горькая радость», «Река, по которой плывём», «Общага», «Ковчег» и др., нескольких пьес. Автор путевых очерков, сочетающих живописность и философичность. Лауреат всероссийских и областных литературных премий, в т. ч. премии им. Л. Леонова, им. В. Кожина, им. братьев Кириевских. Член Союза писателей России (Калуга).

Зоран Костич — поэт, драматург, переводчик, председатель Союза писателей Республики Сербской.

Елена Трепетова-Костич — актриса, профессор театральной академии г. Баня Лука (Республика Сербская).

Николай Капитонович Зарубин — прозаик, поэт. Автор книг «Сторона родная» (стихи), «Послужи земле» (проза и публицистика), «Надсада» (роман) и др. Член Союза писателей России (г. Тулун Иркутской области).

Александр Георгиевич Никифоров — поэт, прозаик. Автор книг «Подснежные ягоды» (стихи), «Крылатый пахарь» (стихи), «Таёжный хлеб» (проза) и др. Член Союза писателей России (пос. Верхоленск Иркутской области).

Государственная академическая певческая капелла Санкт-Петербурга под руководством народного артиста СССР, лауреата Государственной премии **Владислава Чернушенко**.

Встречая в двадцать первый раз Дни русской духовности и культуры, мы вновь возвращаемся в 1990-е годы, когда в годину новых испытаний заявил о себе этот праздник. Именно здесь, в Иркутске, он укрепился, развился и превратился в ежегодный смотр созидательных культурных сил, и не только стороны прибывающей, но и стороны принимающей.

По традиции начавшись с праздничного богослужения в соборе Богоявления, крестного хода и молебна на площади у Спасской церкви, благословения митрополита Иркутского и Ангарского Вадима, «Сияние России» переместилось в стены областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского, где состоялась первая встреча гостей с читателями. В приветственном слове министр культуры и архивов Иркутской области Виталий Барышников справедливо заметил, что эти дни стали не просто литературным праздником, но многоставным событием, включающим в себя и фестивали, и конкурсы, и введение новых объектов культуры. Директор библиотеки Ольга Стасюлевич предложила сосредоточиться на важной в наши дни теме — «Роль современной русской литературы в воспитании патриотизма». Председатель Иркутского регионального отделения Союза писателей России поэт Владимир Скиф представлял гостей и вёл встречу.



*Медаль в честь 85-летия Василия Шукшина:
Виктор Буланicheв — Анатолию Байбородину*

В нынешнем году «Сияние» проходило под знаком двух юбилейных дат: 200-летия со дня рождения великого русского поэта М.Ю. Лермонтова и 85-летия со дня рождения выдающегося русского писателя, актёра и кинорежиссёра В.М. Шукшина.

Известный российский критик и публицист Владимир Бондаренко, автор недавно вышедшей в малой серии ЖЗЛ книги «Лермонтов», привёз её в подарок иркутянам и почти все выступления посвятил поэту. Поскольку в наш город поступило всего несколько экземпляров издания, обратимся к передаче на областном радио, где

в программе Т. Сазоновой «О времени и о себе» критик рассказал о своей новой книге.

Короткая жизнь гения, казалось бы, хорошо известна, однако в двадцать первом веке важнейшие факты его биографии обрастают новыми версиями, и всё больше говорится о таинственной судьбе автора «Бородино» и «Героя нашего времени». Современные скандальные литераторы, пренебрегая трудами известных лермонтоведов, не стесняются выдвигать версии о рождении Лермонтова то ли от крепостного кучера, то ли от чеченского разбойника, чему нет и малейших оснований, если знать уклад жизни родовитых дворян, к которым принадлежала мать поэта Мария Арсеньева. В. Бондаренко категорически опровергает такие «открытия». В своей книге особое внимание он уделяет именно роду Лермонтовых.

Для этой цели автор объехал Шотландию, не пропустив ни одного места, связанного с историей предков поэта по отцовской линии. В результате собраны более подробные сведения и о поэте-прорицателе XII в. Томасе Лермонте, предсказавшем своё возвращение через столетия в образе поэта, и об основателе российского рода Лермонтовых Юрии (Георге) Лермонте, который в XVII в. поступил на военную службу к русскому царю, за что получил в подарок от него восемь деревень в Костромской губернии.

Размышляя о характере Лермонтова, Бондаренко находит в нём влияние независимого духа горцев-шотландцев, склонность к мистицизму Томаса Лермонта в соединении с ду-



Подарки от гостей принимает заведом художественной литературы библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского Мира Попова

хом русской глубинки. Автор уходит от некоторых хрестоматийных оценок. Бунт Лермонтова против великосветской знати определялся, по его мнению, не только острым видением пороков современной поэту действительности, но и драматизмом отношений в семье и обществе. С одной стороны, влиятельная и богатая бабушка Е. Арсеньева, давшая внуку блестящее воспитание, но отказавшаяся при жизни благословить его на брак (а значит, и выделить наследство — вот отчего Лермонтов сам обрывал отношения с любимыми), с другой — изгнанный ею после ранней смерти матери отец, неродовитый, обедневший дворянин. Страдание

юноши с тонкой натурой выразилось в стихах: «Ужасная судьба отца и сына // Жить розно и в разлуке умереть...» С одной стороны, огромный поэтический дар, открывавший двери прапорщику Лермонтову на придворные балы, куда не приглашались даже значительно выше его чины по службе, с другой — зависть и презрение со стороны великосветской знати, не понимавшей этого дара. Вот почему личность Лермонтова вызывала у одних восхищение, у других резкое неприятие. Мало кто знает, что особенно ценили и уважали поручика Лермонтова товарищи по службе. Он был командиром сотни, состоявшей из добровольцев и выполнявшей опасные задания в тылу противника (нынешний спецназ).

В творческом пути поэта В. Бондаренко делает акцент на то, что ярчайший романтик, поклонник Байрона, М. Лермонтов в то же время становится одним из наиболее глубоких национальных поэтов: «Прекрасно зная мировую литературу, он преобразовывал её идеи на русский лад и шёл наперекор даже своим кумирам. «Нет, я не Байрон, я другой, // Ещё неведомый избранник, // Как он, гонимый миром странник, // Но только с русской душой...» — скажет он о себе».

Касаясь духовных исканий Лермонтова, автор книги обращается к его «Демону». Поэма, считает критик, бесспорно, посвящена силам тьмы. Однако от варианта к варианту (их было восемь) менялось осмысление образа — от Демона-победителя к Демону-побеждённому. Вообще поэту удалось написать самые чистые православные стихи. Приведено такое свидетельство. Книгиня Мария Щербатова однажды удивилась, что Лермонтов, будучи православным верующим, хотя и не воцерковлённым, совсем не знает молитв. В ответ появляется шедевр, поэтический и духовный — «Молитва» («В минуту жизни трудную...»).

Ему было дано какое-то небесное видение, считает автор книги. «Выхожу один я на дорогу» — это что-то запредельное. Поражает простая, но необыкновенная строчка: «Спит земля в сиянье голубом» — такой увидели землю только космонавты. Поэт-провидец, он многое предсказал, в том числе и революцию 1917 года: «Настанет год, России чёрный год, // Когда царей корона упадёт...»

Не обходит В. Бондаренко и споров — например, вокруг стихотворения «Прощай, немытая Россия...». Он на стороне тех, кто считает, что принадлежит оно не Лермонтову. И дело не в том, говорит критик, что Лермонтов не мог написать такие резкие строки о России — в порыве гнева мог, и есть примеры подобных выпадов у других поэтов — Пушкина, Маяковского. Важнее другие доводы: стихотворение появилось неожиданно, спустя тридцать лет после смерти поэта, и нет ни одного подлинника, нет рукописи, не обнаружен текст ни в полиции, ни в Третьем отделении, куда обязательно попадали радикальные стихи (как «Смерть поэта»). Зато стихотворение напоминает пародии Дм. Минаева. Известны таковые на пушкинское «Прощай, свободная стихия!..», а также на лермонтовского «Демона», где есть слова: «Бес мчит... на голубом его мундире сверкают звёзды рангов всех». Выражение «голубые мундиры» в политическом смысле появилось как раз в 1880-е гг., во времена Лермонтова его ещё не было.

Нет полной ясности и с гибелью поэта — ни одного точного свидетельства, как происходила дуэль. По выявленным позже деталям, считает автор, она всё-таки больше походила на убийство.

Книга о Лермонтове — это взгляд нашего современника на судьбу великого поэта XIX века, и отрадно, что иркутянам довелось услышать о ней из первых уст. Желаящие прочитать её могут обратиться в областную библиотеку им. И.И. Молчанова-Сибирского.

Иркутские писатели хорошо знают журнал «Бийский вестник». Во-первых, редакция часто отправляет в наш Дом литераторов новые выпуски журнала, во-вторых, писатели-иркутяне не однажды публиковались на страницах этого солидного регионального издания.

Главный редактор «Бийского вестника» Виктор Буланичев приехал в Иркутск прежде всего с шукшинской темой.

— Мы, естественно, гордимся своим земляком Василием Шукшиным, — начал своё выступление в библиотеке Виктор Васильевич. — Можно сказать, это наше всё. Трудно подыскать определение шукшинской боли за народ. Писатель не мог успокоиться ни на минуту. Он — русский крестьянин, русский рабочий, русский интеллигент — вобрал в себя всё. Точно заметил Валентин Распутин: если бы искали человека, по которому можно судить о народе, то это Шукшин. У меня была командировка по регионам России, я объехал двенадцать областей от Вологды до Кубани, и везде очень хорошо относятся к Шукшину и его книгам. Радует, что это имя нас объединяет...

Слово о Шукшине прозвучит ещё не раз, и посланец Алтая расскажет о том, как слушают, погружаются в творчество писателя на его родине, сверяют свои мысли с тем, что он выразил в литературе и кино; как проводят Шукшинские дни, на которые собираются от пятнадцати до пятидесяти тысяч человек. Вспоминают его слова: «Угнетай себя до гения» и то, что сам он и дня не жил расслабленно, потому и успел за свою недлинную жизнь сделать так много. Шукшин был связан и с Иркутском — на Байкале снимался в фильме «У озера», а после фильма участвовал в акциях в защиту Байкала.



Критик Владимир Бондаренко и поэт Игорь Тюленев в библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского

В честь юбилея В.М. Шукшина в Бийске были выпущены памятные медали. Достались они и иркутянам — целая группа писателей-сибиряков была их удостоена. В этот же праздничный день И. Тюленев от имени правления Союза писателей России вручил гостю «Сияния России» В. Бондаренко орден Достоевского.

К образу Лермонтова обратился и поэт, драматург, переводчик из Республики Сербской Зоран Костич. Он рассказал о том, как переводил стихотворение «Выхожу один я на дорогу» и на себе ощутил силу духовного воздействия поэта.

— Я неделю бился над первой строкой, стараясь сохранить размер стиха, чтобы и на сербском можно было петь этот известный во всём мире романс. С язвой, в тяжёлом состоянии, попал в больницу, но, несмотря на это, всё продолжал искать соответствие двух языков. Во сне разговаривал с Лермонтовым, задавал ему вопросы. На самый главный получил ответ: пока не найдёшь сербский эквивалент, не выйдешь из комы. Так и получилось — вскоре я нашёл, и вот я перед вами...

З. Костич спел первые строки знаменитого романса, а его жена актриса Елена Треплетова-Костич прочитала стихи мужа в русском переводе.

Литература нерасторжимо связана с потрясениями века, и то, что именно Зоран Костич сразу же заговорил о событиях на Украине, вполне закономерно — всё начиналось с Югославии.

— В 1990-е годы, — продолжил сербский поэт, — я печатал у Александра Проханова

свою поэму о неонацизме в Югославии. Он говорил, что публикует её только из-за художественных достоинств: в неонацизм в моей стране он тогда не верил. Мы всегда не ожидаем худшего. Теперь у нас великая забота: что будет с Россией? Эта атака не на Украину — на Россию. На нашем празднике писатели должны влиять на то, что происходит там, — влиять словом. Если не устоит Россия — падёт весь славянский мир...

Украинская тема прозвучала и в выступлениях В. Бондаренко. Он читал мало кому известное стихотворение поэта Иосифа Бродского, с которым критик был дружен, написанное в 1991 году, — «На независимость Украины». Резкое, непримиримое по отношению к народу, который считали связанным с русским неразрывными узами, оно, по словам Бондаренко, тогда даже у патриотически настроенных писателей вызвало осуждение. Сегодня его можно назвать стихотворением года — строки звучат, как будто написаны только что. Наши либералы, поклонники Бродского, почему-то «На независимость Украины» не цитируют, как и другие имперские стихи поэта.

Участие в «Сиянии России» руководителей периодических изданий стало традицией праздника, и в этом году вместе с В. Буланичевым Иркутск посетили Н. Алешков и С. Дмитриев.



Николай Алешков знакомит иркутян с выпусками журнала «Аргмак. Татарстан»

Николай Алешков, поэт и главный редактор журнала «Аргмак. Татарстан», рассказал о становлении русского издания, причём всероссийского масштаба, в Республике Татарстан. Это пример содружества культур в многонациональной России.

— Мы, русские писатели, обратились к первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, высказав желание издавать журнал, который бы отражал состояние русской литературы в республике, и рады тому, что были поняты и поддержаны. Журнал выходит регулярно, в нём печатаются произведения и тех, для кого русский язык родной, и тех, кто предлагает их в переводе с татарского, — таким образом, отражается весь спектр творческих сил республики. Всего же в Татарстане проживает более восьмидесяти национально-

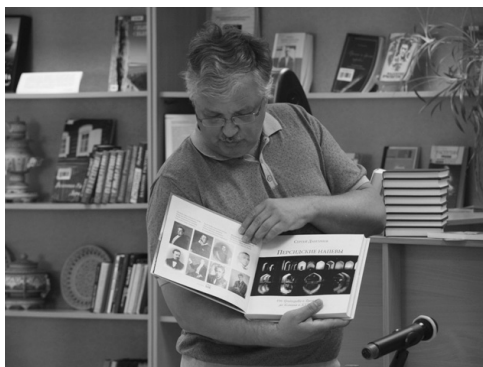
стей. С удовольствием предоставляем страницы гостям из других регионов, в том числе и сибирякам.

Н. Алешков читал также и свои стихи. По отзывам слушателей, они с удовольствием открыли для себя творчество поэта из Набережных Челнов.

Устойчивое положение толстых литературных журналов на Алтае и в Татарстане не могло не порадовать, и, конечно же, иркутянам хотелось бы надеяться, что и «Сибирь», основанная при горячем участии М. Горького в 1930 году под названием «Будущая Сибирь», восстановила, наконец, свою двухмесячную периодичность (ныне выходит в свет только четыре номера вместо шести).

Сергей Дмитриев, главный редактор одного из крупнейших издательств России, ввёл иркутских любителей чтения в мир литературы, выпускаемой «Вече». Особый интерес к издательству у иркутских писателей — их книги одна за другой выходят в серии «Сибиряда», и это означает, что с творчеством сибиряков знакомится всероссийский читатель.

— Мы издали за годы работы 100 миллионов книг, в год выходит 1000 названий, из них половина — новинки. Круг тем обширен. Преобладает историческая литература: варяжская история, русские князья, династия Романовых, воинские походы разных веков. 150 наименований вышло к 65-летию Великой Победы, 25 книг этого года посвящены 100-летию Первой мировой войны... Должен сказать, что «Сибиряда» имеет большой успех — книги не залеживаются на прилавках. Это «Даурия» Конст. Седых, «Не родит сокола сова» и «Озёрное чудо» А. Байбородина, «Гарь» Г. Пакулова, «Надсада» Н. Зарубина,



*Сергей Дмитриев представляет свою книгу
«Персидские напевы»*

сотой книгой этого года стало «Прощание с Матёрой» В. Распутина. Готовятся книги Ст. Китайского, А. Гурулёва, запланированы издания А. Горбунова, В. Сидоренко. Я уверен, что список продолжится...

Добавим, что в этом году В. Скиф издал в «Вече» своё поэтическое переложение памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Презентация книги состоялась в эти же дни, в этом же зале областной библиотеки и стала не только представлением нового детища поэта, но и представлением переложений других авторов, создаваемых на протяжении веков. Автор

сделал внушительный обзор источников, касающихся обращений поэтов и учёных к национальному сокровищу Руси, а библиотека подготовила выставку изданий «Слова о полку Игореве», выпущенных в разные годы в разных издательствах страны, что внесло в мероприятие заметную культурно-просветительную струю.

Вечером первого дня состоялось ещё одно, традиционное городское открытие праздника — в Иркутском театре народной драмы. Надо заметить: это по инициативе руководителя театра Михаила Корнева на «Сияние России» были приглашены из Республики Сербской Зоран Костич и Елена Трепетова-Костич.

З. Костич своё выступление начал словами: «Я все годы нахожусь под «Сиянием России» и поблагодарил артистов театра за то, что в трагические для Сербии 1990-е годы они приезжали туда «и несли луч света в тьму тех лет». Затем состоялся премьерный концерт театра «Взвейтесь, соколы, орлами», посвящённый 100-летию Первой мировой войны 1914 года. Программа содержала песни ушедшей эпохи, позволив слушателям прикоснуться к истории, малоизвестной до сей поры. Прозвучали: «Марш сибирских стрелков», казачья думка «Когда мы были на войне», «Милосердная сестра», «Раскинулся солдат с палаткой», «Братья, все в одном моленье...» и др.



Сербский поэт и переводчик Зоран Костич

Через день здесь же прошёл творческий вечер сербских гостей с чтением стихов З. Костича и отрывком из его пьесы «Тринадцатый день» в исполнении артистов театра народной драмы.

Каждое выступление супругов Костич — пример горячей преданности русской культуре, и потому участие их в нынешнем празднике, безусловно, стало его украшением.

Встречи с гостями «Сияния России» продолжались до конца недели и с успехом прошли в Университете путей сообщения, Байкальском университете экономики и права, Культурном центре А. Вампилова, в Иркутском филиале ВГИКа, театральном училище, нескольких библиотеках, а также в Ангарске, Анге, Усть-Уде. Ответственные и ведущие — В. Скиф, Ю. Баранов, В. Семёнова, С. Шегебаева, С. Зубакова.

В НИ ИрГТУ выступили Н. Алешков и А. Убогий. Н. Алешков привлёк внимание молодых слушателей циклом своих стихотворений из любовной лирики. Постепенно беседа перешла на другие темы, например, о том, насколько сфера деятельности совпадает с духовными устремлениями личности. Естественно, возник разговор о роли национальной культуры в характере человека, в связи с чем не был обойдён конфликт на Украине. Вывод не вызвал разногласий: человек духовный не будет размениваться на политические спекуляции.



*Андрей Убогий в Центре-библиотеке
им. семьи Полевых*

Прозаик и автор увлекательных путевых очерков, врач по своей первой профессии, которой он верен и доныне, Андрей Убогий рассказал о том, как работал над романом «Ковчег». Любая больница, по его наблюдениям, это «обитель спасения», где идёт постоянная борьба за жизнь человека, своего рода Ноев ковчег, внутри которого складывается свой мир. Пациент прикован к больничной койке, но медперсонал в постоянном движении, чтобы помочь преодолеть болезнь. Здесь хорошо видны труд, судьбы, характеры врачей и медсестёр, и всё это на-

водит на философские размышления о «Ковчеге» как о предложенной прозаиком некой модели мироустройства.

Среди гостей «Сияния» были также писатели из глубинки Иркутской области. Выступления Николая Зарубина и Александра Никифорова показали: им есть что сказать и касательно собственного творчества, и острых проблем современности, волнующих всех.

Стихи, прочитанные А. Никифоровым, размышления о судьбах ленской земли и её жителей, были проникнуты тревогой, которая прозвучала в строке: «До заимки добрался огонь мирового пожара...» Н. Зарубин приводил страницы из своего романа «Надсада», посвящённые состоянию сибирских лесов. Их просто выкашивают, убеждён писатель, хотя считается, что вырубают только возле дорог. На самом деле техника добирается до любой глуши, пригоняются краны, которые выстилают болотину плитами, и тайга уничтожается. Это варварство необходимо остановить.

С такой же искренностью Н. Зарубин читал свои стихи и исполнял под гитару песни собственного сочинения на стихи иркутских поэтов. Молодёжь особенно аплодировала, послушав «Безотцовщину» (Г. Вихров), «Лапти» (М. Трофимов), «Спасибо, музыка, за то» (В. Соколов), романс «Осень — пора прощаний» (Н. Зарубин).

В Ангарске гостей принимал литературный клуб при ДК «Нефтехимик», устроивший презентацию сборника ангарских поэтов «Я говорю на русском языке» (издатель — Фонд поддержки социальных и благотворительных программ, редактор В. Сазонов). Ангарчане читали свои стихи, поэт И. Тюленев из Перми — свои, посвящённые России, радостям и бедам времени, образу матери, вызывая сопереживание зала. Выступили также А. Никифоров и Н. Зарубин, а гость из Калуги А. Убогий прочитал отрывок из своего романа о часах, чем вызвал большой интерес сотрудников Ангарского музея часов, получивших в конце встречи от писателя книгу с автографом.

В Анге 2 октября состоялось открытие духовно-просветительного центра им. Святителя Иннокентия (Вениаминова). Напомним, год назад, после обращения иркутского духовенства и участников «Сияния России»-2013 к губернатору С.В. Ерошенко с просьбой оказать содействие в создании такого центра, областной властью было принято положительное решение, и начавшаяся безотлагательно работа увенчалась результатом: в этом году открыт центр, открыт после реставрации дом-музей святителя. В торжестве приняли участие руководители Качугского района, реставраторы, фольклорные коллективы из сёл района и города Иркутска, писатели — гости нынешнего «Сияния». Праздничный молебен отслужил о. Алексей, много ратовавший за создание нового очага православной духовности.

В этот же день в Доме культуры пос. Усть-Уда прошёл литературно-музыкальный вечер с участием В. Бондаренко, А. Никифорова, М. Трофимова и артистов Иркутской областной филармонии: солистки, исполнительницы русских романсов Е. Переверзевай и дипломантки международных конкурсов Ю. Цогла (партия фортепиано).

Музыкальным венцом праздника «Сияние России» стал концерт Государственной академической певческой капеллы Санкт-Петербурга в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Иркутск — один из семи городов Сибири, Дальнего Востока,



*Непростые вопросы из зала Центра-библиотеки
им. семьи Полевых*

Камчатки, Крайнего Севера, охваченных в Год культуры грандиозным гастрольным турне капеллы. В «Сиянии России» капелла участвует второй раз.

Руководитель и главный дирижёр В. Чернушенко обратился к иркутянам с короткой, но тёплой речью. Он сказал, что для их коллектива большая радость и ответственность выступать перед слушателями-соотечественниками. Кажется, пережит тот период, когда на эстраде глумились над старыми песнями, когда капелле было легче попасть в Амстердам, чем в Якутск и Благовещенск: «Се-

годня в Министерстве культуры России есть люди, которые хотят, чтобы русская песня вернулась к людям». Поделится своими воспоминаниями о том, как принимали капеллу в Сербии в конце 1990-х, во времена бомбёжки НАТО. «Вы явились, как белые ангелы» — такими словами встречали артистов в Белграде, где концерт прошёл под названием «Молитва о мире».

Выдающийся музыкант привёл слова А. Островского: «Песня — душа народа. Убьёшь песню — загубишь душу» и выразил уверенность: встанет наша держава! Не убит народ, не убита песня.

На концерте присутствовал вдохновитель «Сияния России» В. Распутин и из зала приветствовал В. Чернушенко и его коллектив.

Программа состояла из двух частей. Первое отделение — духовные произведения Д. Бортнянского «Господи, силою Твоею...», Г. Свиридова «Любовь святая», А. Архангельского «Верую», П. Чеснокова «Да исправится молитва моя» и др. Второе — русские народные песни и романсы: «В тёмном лесу», «Эй, ухнем!..», «Калитка», «Двенадцать разбойников», «Вечерний звон» и др. Сердечная взволнованность, исходящая от сцены в зал и от зала на сцену, объединяла исполнителей и слушателей в прикосновении к высокому песенному искусству.

Как всегда, эта осенняя неделя вобрала в себя много культурных событий — их простое перечисление заняло бы ещё столько же места. Мы остановились, в основном, на областной программе, но была ещё и городская, весьма обширная. Так, в иркутских школах прошёл единый классный час, посвящённый «Сиянию России»; состоялась костюмированная экскурсия в Музей города Иркутска им. А.М. Сибирякова, устроены выставки творческих работ студентов — будущих дизайнеров, архитекторов, мастеров монументально-декоративной живописи в НИ ИрГТУ, там же открыты выставка и лекторий, посвящённые 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского, на разных площадках города организованы выступления фольклорных ансамблей, в Октябрьском округе Иркутска прошёл фестиваль художественного творчества самодеятельных коллективов «Поёт душа в «Сиянии России», офицерский бал в микрорайоне Зелёный. Отмечены юбилеи известных писателей-сибиряков: в Иркутском Доме литераторов им. П.П. Петрова — 80-летие А. Гурулёва, в библиотеке № 10 — 70-летие В. Хайрюзова, в библиотеке № 14 — 60-летие А. Семёнова.

В рамках Дней русской духовности и культуры 27 сентября был проведён День Иркутской области «Сияй, Земля Иркутская!»; 10 октября состоялась церемония присвоения библиотеке № 4 имени известного иркутского издателя Геннадия Сапронова.

В завершение обзора хотелось бы выразить несколько попутных мыслей.

Масштабное культурное действо под названием «Сияние России» и ответственное отношение к нему областной и городской власти, Иркутского регионального отделения СП России на протяжении уже двух десятилетий вполне очевидны, но, тем не менее, кое о чём стоит задуматься. Например, о глубине проникновения русской духовности и культуры в

сознание нашей молодёжи, ради которой, в основном, всё и проводится. Обращаются ли, к примеру, студенты гуманитарных факультетов иркутских вузов к творчеству талантливых современных поэтов, прозаиков, публицистов после живого общения с ними? Ведь «Сияние России» — это настоящий семинар по отечественной культуре, ежегодный и многоплановый, но в полной ли мере используются его возможности для просвещения и необходимого, как это выяснилось в последнее время, патриотического воспитания?

Красноречивый факт: в нынешнем году Иркутский классический, притом государственный (не частный!) университет не нашёл времени для встречи студентов и преподавателей факультета филологии и журналистики с одним из самых заметных представителей современной критики и литературоведения В. Бондаренко. Принять его отказались. И это не первый случай прохладного, мягко говоря, отношения ИГУ к Дням русской духовности и культуры, но до отказов доходило, помнится, только в 90-е годы.

От чего оберегают студентов, непонятно. Зато понятно: продолжается недооценка корневых национальных ценностей. События сначала в Югославии, а теперь на Украине ещё раз подтвердили, что способность народа отстаивать свои интересы держится не только на силе оружия, но и на силе духа, умении хранить свои традиции, язык, культуру, убеждённости в своём праве оставаться самим собой. Эти принципы и заложены в «Сиянии России» изначально.

К сожалению, наш праздник уже много лет остаётся только с нами — он так и не вышел из региональных границ, не стал примером для подобных акций в других городах России. Его игнорируют центральные СМИ. Никто не попытался распространить подобное начинание, к примеру, на страны ближнего зарубежья, где после перестройки не живут, а выживают наши недавние соотечественники, говорящие на русском языке. Мы не поддерживали их духовно, и в том, что они стали жертвами жестоких по отношению к ним режимов, наверное, есть и наше упущение — и власти и общества.

Но почву помогает обрести сама почва.

На обратном пути из Усть-Уды писатели оказались на пароме вместе с одной жизне-радостной компанией. Что-то мешало принять её за свадебную или юбилейную — скорее, она напоминала команду, и от неё исходил не просто весёлый, но какой-то приподнятый, победный дух. Из короткого разговора выяснилось, что это фермеры, и у них тоже мероприятие — выездной семинар, организованный Иркутской сельхозакадемией. Радость от общения, обмена опытом, задумок о кооперации возрастала от надежд на санкции, объявленные России Западом из-за Украины. Увеличение господдержки ещё только замышлялось, а сколько уже было энтузиазма и веры в то, что теперь-то чиновники по-настоящему повернутся лицом к крестьянину! А уж они, фермеры, сумеют накормить нашу область — даже и не сомневайтесь!

Что ж, порадуемся и мы. Возделывание поля, хлебного ли, культурного, — никогда не бывает напрасным.

*Валентина СЕМЁНОВА,
член Союза писателей России,
литературный критик*

Поздравления

За большой вклад в развитие отечественной литературы юбилейной медалью Василия Шукшина отмечены иркутские литераторы:

Альберт ГУРУЛЁВ, Валентина СЕМЁНОВА, Валентина СИДОРЕНКО,
Анатолий БАЙБОРОДИН, Василий ГИНКУЛОВ, Николай ЗАРУБИН,
Иван КОЗЛОВ, Александр ЛАПТЕВ, Александр НИКИФОРОВ,
Семён УСТИНОВ, Михаил ТРОФИМОВ

За большой вклад в развитие литературы и культуры Всероссийской литературной премией имени Н.А. Клюева, Всероссийской литературной премией «Белуха» имени Г.Д. Гребенщикова, годовой премией журнала «Наш современник» отмечены:

Владимир СКИФ, Валентина СИДОРЕНКО

В 2014 году членами Союза писателей России стали поэты

Юлия ОЛЬХОВСКАЯ, Елизавета ФОМИНА, Елена АНОХИНА,
Карлос БАЛЯН, Михаил ЗАРУБИН, Александр ФЕДЮКОВИЧ

Наши сердечные поздравления всем вышеперечисленным коллегам по литературному цеху! Дальнейших вам успехов!

85-летие отметил известный сибирский писатель

Василий ГИНКУЛОВ

80-летие отметил известный сибирский писатель

Альберт ГУРУЛЁВ

80-летие отметила сибирская поэтесса

Надежда КУДАШКИНА

70-летие отметил известный сибирский писатель

Валерий ХАЙРЮЗОВ

70-летие отметил поэт и прозаик

Александр НИКИФОРОВ

65-летие отметил замечательный поэт

Владимир СКУРИХИН

свой юбилей отметила известный критик

Валентина СЕМЁНОВА

60-летие отметил известный сибирский писатель

Александр СЕМЁНОВ

**Желаем нашим коллегам крепкого здоровья,
новых творческих замыслов и свершений!**

Редакция журнала «Сибирь»

Иркутский областной Дом литератора им. П.П. Петрова

Правление Иркутского регионального отделения Союза писателей России

